

ГРАНИ

13

1951

Год издания VI

Выходит 4 раза в год

ГРАНИ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

№ 13

1951

«ПОСЕВ»

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Л. Ржевский	
Между двух звезд (роман).	3
Н. Соколов	
Пути-дороги (роман)	49
Г. Андреев	
При взятии Берлина (рассказ).	97
Стихи эмигрантского рассеяния	102
В. Мартов	
Угасшие звезды (роман)	108

КРИТИКА

Б. Вышеславцев	
Вольность Пушкина	150
В. Марков	
Творческий облик А. Жида.	158

НАУКА

Н. Рутыч	
Декабристы	169

ПУБЛИЦИСТИКА

Н. Тарасова	
Поединок генералиссимусов.	178

БИБЛИОГРАФИЯ

Л. Осипова	
Стахановский миф	185
Отдел пародий	189

Обложка Н. Нико

МЕЖДУ ДВУХ ЗВЕЗД

Часть 1-ая

ДНЕВНИК ВОЛОДИ ЗАБОТИНА*)

1 января 1945 г. Лагерь в Е., Германия.

Новый Год!! Целых два месяца отворачивался от своей тетрадки, а сегодня вдруг потянуло писать, писать, писать ...

Хочется продумать эти прошедшие 366 дней. Сколько же горя оставили они в сердцах людей! Сколько слез!..

Мне лично принесли они много тяжелого. Полгода назад на улицах пылающего Минска я простился с Т. и, наверно, потерял ее навсегда. Как раз, когда мы почувствовали, что так дороги друг другу. Навсегда ... Слово-то какое! А день спустя осталась позади наша граница — я потерял Родину, родных — всё, чем дорожил больше жизни ...

За окном — черепичные крыши. Чешуйчатые, мокрые... Словно красные рыбины, вытасщенные из воды. Над ними ползает грязный дым. Слизко, слякотно ...

В это время ровно год тому назад мы жили в К., под Борисовым. После обеда переспали как следует, потому что от новогодней встречи шумело в голове, а с сумерками пошли компанией кататься с горы на санках. А

снегу-то! за валенки черпали. А простор-то! Помню, выбрались за околицу, и я оглянулся на нашу деревушку. Как уютно задремывала она в сугробах, под нахлобученными торбатыми крышами. Всё бело ... только низкие простенки чернеют и щурятся окнами, как кот на лежанке. А небо чуть фиштакное, и прямо, как по линейке вычерчены, висят над трубами-кисейные дымки — знак мороза! Всё это прошлое ... Грустно.

Но нельзя быть неблагодарным. Кое-что доброе было и в минувшем году. Господь хранил меня от смерти и несчастий; Он помог мне за это время «найти самого себя», созреть духовно, избавиться от «мальчишеского». Вот уж теперь А. И. Ромм не назвал бы меня «блаженным». Оформилось (или почти оформилось) мое общее политическое мировоззрение. Я понял, что не время теперь мечтать об артистической карьере (я и псевдоним свой — Ленский — оставил и взял фамилию матери — Заботин). И стишки высиживать не время. Моя задача: все силы, все способности и, если надо, жизнь отдать моему народу, моему отечеству и великому делу их освобождения.

Теперь я не одинок. Нас много, молодых патриотов, горящих идеями освободительной борьбы! За этот год окончательно сложились и окрепли силы, которые обеспечат успех нашего дела ...

*) «Дневник Володи Заботина» (продолжение романа «Девушка из бункера», печатавшегося в №№ 8, 9 и 11 «Граней») построен автором на основе документальных записей и материалов.

«Обеспечат успех»... — вышло по-газетному. Нет, это не из передовицы, не пустые слова. Нет, для меня не пустые!..

С молитвой Всевышнему, с верой, любовью и надеждой, под священным Андреевским флагом входим мы в Новый Год. Помоги нам, Боже, и да будет воля Твоя...

*

Свою сознательную жизнь (с тех пор, как начал вести дневник) я делю на звенья. Первое звено — это еще Москва, девятый класс, два моих участия в «Бронепоезде» (да, да — на той сцене, где царил Станиславский, где выступали Качалов и Тарасова! Подумать только! Какими мальчишескими надеждами я тогда захлебывался!) Потом — начало войны и мобилизация всех нас, старшеклассников, на окопы, — конец звена. Звено второе — самое страшное — плен. Третье — самое долгое и значительное: работа в «Карусели», Тася и дальше вплоть до выезда в Германию.

4-ое я переживаю сейчас. Переход от одного звена к другому всегда связывался с каким-нибудь решающим событием. Удержится ли в Новом году теперешнее звено моей жизни? Сменится другим? Каким?

Об этом я думал и об этом молился, когда за окном башенные часы с вековой хрипотцой начали отбивать двенадцать, и все замолчали...

Потом началось веселье. От католического рождества осталось немножко рому для встречи... Подвинулись. Получилось даже что-то вроде художественной самодеятельности. Юрка К., надузив щеки, играл на гребенке так ловко, что если закрыть глаза, не отличишь от скрипки (вот бы его к Вахтангову, на «Турандот»). Я тоже выступал со стихотворением «Новый год», в котором мне особенно нравятся последние восемь строк:

«Быть может, вправду нам случится
Услышать, как пробьет отбой,
Знакомый кров, родные лица
Увидеть вновь перед собой.

В родных глазах печаль ненастья,
Тоску разлуки потушить,
И смыть навек слезами счастья
Боль пережитого с души»...

Это стихотворение я слышал еще прошлой зимой от А. Ф. Заряжского или Наташи (где они теперь?). Но вчера я сказал, что это — моё, и сейчас злюсь на себя. Как много еще во мне недостатков и пороков! Как основательно еще надо поработать над собой! Твердо решаю не выпускать в этом году из глаз и этой задачи: совершенствовать свое образование, свои способности, а главное — заниматься самовоспитанием, развить в себе высокие моральные качества.

*

Утром состоялся новогодний митинг, а после, в 9.30, — рота, к которой меня причислили, участвовала в параде национальностей лагеря: русские, латыши, эстонцы, голландцы и венгры. Прошли под музыку церемониальным маршем. Получилось очень торжественно, но всё это напомнило мне почему-то Москву, и стало немножко грустно. Потом был очень хороший обед. Потом писал дневник и играл в «66».

Вторник, 2.1.45 г.

Погода — как у нас в октябре: ветрено, липкая сырость. Целый день работали в команде: рыли в горе бомбоубежище. Господи, сколько у них здесь камня! Искр сыплется больше, чем земли... Очень устал, т. к. нужно все время — киркой и ломом. Думаю, что простудился, потому что потного несколько раз прохватывало сквозняком до костей...

После обеда пошел в отпуск в город, был в кино, смотрел фильм «Die Frau meiner Träume». Краски хороши, но в Марике Рокк есть что-то чересчур развязное. Наверно, это — модно для западной женщины, но я такого не люблю...

Всё еще не научился понимать речь из микрофона. Живую — да, если чисто говорят. Единственное мое достижение — что стал читать сво-

бодно немецкую литературу. Чтение спасает от тоски, но, кажется, способствует обособлению от товарищей. Вот уже полтора месяца, как я каким-то фуксом залетел сюда из Восточной Пруссии, а ни с кем еще не сдружился.

3 января 45 г.

День начался воздушной тревогой. В 7 утра налетело с десятков штурмовиков, но ничего не сбрасывали: покружились, поурчали, надъехали и ушли. Вставши, почувствовал колотье в боку. Пересилил себя и пошел со всеми копать бункер. К немецкому нашему врачу итти бесполезно: он даже и не осматривает, а прямо заносит в кранкенбух «gesund» и передает после по начальству для взыскания за симуляцию. К этому свинству мы уже давно привыкли, что ж: мы для многих из них всё еще «унтерменши»...

Вспоминаю случай в прошлом году. Ехал из Восточной Пруссии с одной девушкой - остовкой. Немцы вывели ее из-под Ленинграда, а родные, все до одного, умерли с голоду. Славная такая была девушка, очень робкая. Прижалась в уголок и рассказывала мне про блокаду. Шопотом, чтобы не раздражать немцев русской речью. Напротив в купе сидела немка с крашеными волосами и хлородонтовой улыбкой — и вдруг заявила, что не желает ехать «в одном отделении с русской», что русская должна сейчас же убраться вон. Стала кричать, грубо, пронзительно...

По-моему, такие обиды гораздо горше, чем даже побои (если за дело) и никогда не забываются...

Скверно, что мы не числимся еще в РОА, а висим в воздухе. Все надеются, что в подчинении русского руководства жизнь совершенно изменится.

Суббота, 6.1.45 г.

Православный сочельник. Украшали зал и елку. Я делал из цветной бумаги маленькие фонарики — гармошкой. Научился этому еще в пятом классе: после смерти папы нам приходилось подрабатывать немного такими изделиями. Дома мы вставляли

в них свечки, а здесь — электролампочки. В горящих фонариках прячется какое-то волшебство. Для меня, по крайней мере. Гляжу — и не могу оторваться, не знаю, почему...

Прибежал К. и сообщил счастливую новость: в середине месяца нас, старших кадет, переведут в РОА, в Берлин, в группу охраны штаба В.С.Н.Р.*) Ура!!

*

Уточняю: известие о нашем переводе привез фельдфебель С. Он лично разговаривал с генералами Власовым и Трухиным, полковником Кромияди и другими.

*

Рождество Христово! И мороз, и снежку напорошило, так что и на Россию чуть похоже. В девять утра все должны были ехать в Ф., в русскую церковь, но нас с Юрой вызвал унтер - офицер и приказал собираться с ним в Карлсбад, за какой-то литературой. Мы сначала озлились, тем более, что наш праздник и воскресенье вдобавок, а потом подумали, что оно и не плохо съездить: по крайней мере мировой курорт поглядим; другой раз, может, — и не случится.

Ехали часа три, потому что перед самым городом держали поезд из-за тревоги. Карлсбад сейчас — лазаретный город, весь искрещен крестами: и в профиль, и по фасадам, и сверху, по крышам — огромными. Блестящие отели глядят слепо, на улицах пусто, метет позёмка.

Шли бульваром и вспоминали, в каком это романе описывается Карлсбад. Мне кажется — у Тургенева, в «Дыме». Юрка спорил.

Выяснилось, что литературу можно получить только в обед, и еще — что в Карлсбаде есть прекрасная православная церковь. Пошли туда. Унтер-офицер увязался с нами (недоверие, что ли?).

Больше десяти лет не бывал в настоящей церкви (все в полуразрушенных или самодельных). Эта — очень

*) Штаба Вооруженных Сил Народов России, точнее — В. С. КОНР'а (Комитета Освобождения Народов России).

уютная и богата внутри. Захватили только кончик службы и поразились: как много в Карлсбаде русских! Всё, должно быть, старые эмигранты. С одним, каким-то дрожащим старичком, познакомились, и он показывал нам разные иконы и, между прочим, одну, которую подарил церкви последний русский император, Николай П. Старичок, узнав, что я московский, задрожал еще сильнее и принялся расспрашивать про советское жите — бытие... Унтер-офицер вдруг забеспокоился и велел уходить. Мы запротестовали, но он даже крикнул по-командному. Шли назад, и я вспомнил Заряжского, который говорил как-то: «В какую бы форму немцы нас ни одели, как бы ни называли, — всё равно мы для них пленные и прав у нас мало. Самообольщаться не следует».

Да, это верно!

По возвращении нашел для себя письмо от Бориса Гавриловича Богского. Он все еще в Вост. Пруссии, в Мазурах, где и А. Ф. Заряжский и многие другие знакомые еще по Старгороду. Очень обрадовался, но письмо тревожное. Привожу выдержку:

«Сидим в лесных землянках с удобствами и голыми бабами на стенках. Спим, играем в карты и ждем с часу на час прорыва с севера или южнее, на Алленштайн. Удержать никто не надеется»...

Иными словами, Богский уверен, что выйдет мешок, т. е. — гибель для него и всех наших ...

*

Вечером в зале наша рота устраивала концерт. Во втором отделении хотел выступить и я со стихами Блока «Рождённые в года глухие», но концерт прервала тревога.

В потемках, в убежище, где мы вчера работали, вдруг одолела тоска. Вспомнил окопы, которые копали под Можайском... Было это в конце июля, а всего недели три перед тем Кирочка К., моя первая мальчишеская любовь, держала экзамен в МХАТ, и я подыгрывал ей в сцене Снегурочки с Мизгирем. Вот у кого был настоящий

артистический талант! Ее приняли чуть ли не одну из сотни девушек, участвовавших в конкурсе. На другой день мы праздновали ее успех и заодно окончание экзаменов. Собрались вчетвером у нас, в нашем булыжном переулке — тишайшем из всех приарбатских. Потом — полезли на крышу по пожарной лестнице. В мансарде нашего дома жил когда-то знаменитый Ш. и построил себе ателье: стеклянная пирамида выступала над крышей, и вокруг было плоско, удобно ходить и сесть. Роспили бутылку наливки. Кирочка, держась за дымоходную трубу, читала стихи Ахматовой...

Как сейчас стоит у меня перед глазами этот уголок заветеревшей Москвы, видный с нашей верхотурки. С одной стороны — милая наша «Успенье на Могильцах», куда водили меня еще ребенком. Оранжевая в вечернем освещении, а днем бледнозеленая. Про эту церковь ходил анекдот: немец перевел название так: «Schnurrbart Singen an den Gräbchen». Потом из нее сделали склад. Под другим бортом крыши лежал наш дворик, весь в зелени, настоящий московский, поленовский...

Да! А немного спустя я отправился навстречу... плену!

Кирочке сразу же после зачисления в состав труппы пообещали роль Натальи Николаевны в постановке «Пушкин». Теперь она, верно, выступает вместе с Тарасовой. А я?..

До самого отбоя читал, чтобы отвлечься от мыслей, немецкий криминальный роман.

*

После обеда были свободны! Выиграл у Юрки пари «на что попросишь» и попросил свой портрет. Позировал часа два. У него хорошо получаются портреты угольным карандашом, но своим я не очень остался доволен. Спору нет, похоже, и даже веснушки изобразил, которые у меня и зимой сидят, не по сезону; но шея тонка, лицо слишком узкое, и какое-то в нем нето задорное, нето восторженное выражение. «Дон Кихот в ран-

ней молодости», — сказал В., мой сосед по комнате. Верно!..

14 января 45 г. Лагерь Е.

Вот и 14-ое прошло, а про отъезд в Берлин ничего не слышно. Жизнь течет однообразно ... Тревоги ...

Только вчера ответил Б. Г. Богскому. Еще раз просил узнать: неужели никто там ничего не слышал о судьбе наших девушек из «Карусели»? Ведь если Тася с Ниной остались тогда в Минске — это для обеих наверняка шахты, т. е. позор и медленная гибель. Не простят, что выступали также и для немцев и получали немецкий паек.

А если их вывезли, то, может, они где-нибудь в лагере сейчас. В каком? Может, недалеко от меня. И не знать, где!..

16 января

Всё еще никаких известий о переезде.

Снился сон: будто я в Берлине или еще в каком-то немецком городе, где по окраинам — остовские лагеря. Жара, как в крематории.

Я едва держусь на ногах от усталости, но все хожу от одного лагеря к другому. Ищу Тасю. За проволокой много женщин, я им кричу, они подбегают к загородке, но немцы — часовые стреляют в них и гонят прочь. И вдруг я вижу, что не они, женщины, а я сам за проволокой, заперт кругом. Бросаюсь в ворота, часовой загораживает дорогу, и я замечаю, что это не немец, а советский, с малиновыми петлицами и красной звездой на шапке. ... Пытаюсь выбежать, но он бьет меня сразмаху прикладом по голове. — Хруп!..

18 января

После обеда ходил в отпуск. Зашел в музей. Вот старина-то!.. Пристроился к какой-то экскурсии, и осматривали комнату, где убили Валленштейна. Со стыдом подумал о том, что еще не читал Шиллера. Кроме, правда, «Орлеанской девы» в переводе Жуковского.

«Ах, почто за меч воинственный
Я свой посох отдала
И тобою, друг таинственный,
Очарована была?» —

— Этот весь монолог Жанны д'Арк почему-то запомнился. Трогательный!

Смотрел еще средневековые орудия пыток: барабан с гвоздями, клещи, чтобы рвать тело и т. д. Между прочим, и железный футляр, в который замыкали неверных жен за измену. Вспомнил «Петра 1-го». Там изображается такая казнь: женщину за убийство мужа зарыли в землю по горло. Иностранцы, окружавшие Петра, ужасаются варварству. Чего же им-то ужасаться? Может быть, вот теперь большевики обогнали Европу в мастерстве пытать, а в прошлом на Западе техника по этой части была много богаче нашей, если судить по здешней кунсткамере ...

*

Советское наступление в Восточной Пруссии началось и разворачивается стремительно. Из сводок выходит, что немцев отрезают к северо-востоку, так, чтобы замкнуть приблизительно у Кенигсберга. — То, чего боялся Бор. Гавр. Богский! Письма моего он, значит, не получит ... Неужели не удастся нашим пробиться через окружение? Неужели захватят?

*

Сижу один в комнате; плохо светит лампа, спиралька — красная без блеску совсем (что-то повредилось в электроустановках в последнюю бомбежку). Все ушли в кино. Целый вечер не находил себе места. Сводка сегодня еще отчаяннее: 4-ой армии, где находятся наши, очевидный капут ... Представляю себе Ф. Ф. Плинка, как он отмечает по карте занятые красными пункты, и руки у него дрожат. К Плинку я больше, чем к другим, привязался, много больше, чем к Заряжскому, но жалею всех. Почему-то кажется, что с этим вторжением советских войск в Германию мы окончательно отрезаны от родины ... Пробовал писать стихи, но не получилось. В школе у меня были всегда пятерки за сочинения. И стихи хвалили, но,

наверно, нет у меня настоящих поэтических способностей, а уметь подбирать рифмы еще не значит быть поэтом. Тоска. Много курю. Перечитал тетрадку, в которую выписываю все особенно понравившиеся стихотворения, — и расстроился еще больше. Так и встает перед глазами всё оставленное, потерянное. Москва, мама, Тася, другие близкие. . . Один совсем ...

Дорогие мои, любимые!
Где вы? Что с вами? Живы вы?
Тихо плавится на стихи мои
Свет лимонный из синевы ...

Ах, давно уже стало не новью,
Что на жизни и цен-то нет!
Оторвали от сердца с кровью
Самое драгоценное ...

Ах, как тяжело!

21 января

Ура! Ура!! Ура!!!

Приказано сматываться. Едем в Берлин! Это пишу на станции, где ждем поезда. В ожидании немного прошелся по городу и имел интересную встречу. В больших воротах (забыл, как называются) немец - инвалид продавал жестяные бляшки с гербом города, как «анденкен» и чтобы набивать на чемоданы. Купил две, а когда прятал в карман, ко мне подошла очень хорошенькая девушка: бронзовые кудри, глаза — зеленоватые в пушистых ресницах.

Вы ведь русский? — спросила по-немецки.

— Русский.

— Как же вы можете идти вместе с гитлеровцами? Против своих же? Ведь они же поработители, эти немцы! Самые страшные враги всех славян! — Девушка говорила очень возбужденно, но почти шопотом, оглядываясь. Для меня ее атака была так неожиданна, что я, кажется, очень смутился и не нашел сразу ответа. Эх, досадно как!.. Сказал, что мы боремся с большевизмом, а не со своим народом. Но сказал невнятно, бормотнул, а потом в воротах стало много прохожих, — девушка презрительно

тряхнула кудрями и отошла прочь. Должно быть, это была чешка ...

Велят брать вещи. Скоро поезд.

22 января. На новом месте.

Поехали на Пильзен. Там надо было делать пересадку, но когда пришел поезд, не попали в него: был набит, как наш московский трамвай «В» вокзальной линии. Пришлось ехать зигзагами и пересаживаться еще три раза. Последний раз — в Лейпциге, где потрафило сесте в воинский состав на Берлин.

Оно очень разбито, это «сердце» Германии! В 43-м году некоторые из наших (из Старгорода) ездили сюда в экскурсию и потом много рассказывали ... Сравнивали здешний стиль с ленинградским. Где он сейчас, этот стиль? От целых кварталов остался один лишь чертеж — жирные штрихи улиц в пыльных развалинах. Жаль. Потом вспомнятся наши Смоленск и Минск, как разрушали их немцы, вполне бессмысленно, перед отходом — и жалость пропадает.

Берлинское метро. Какая же сестрость после нашего московского! Блеклые стены. Много рекламы, тоже блеклой. Грязно, темно. Единственное понравилось: можно курить. Берлинцы спешат, спешат, спешат. Тревоги здесь постоянно, и каждый торопится использовать временное затишье.

Станция Далемдорф. Отсюда мы — строим, со знаменем ...

Четырехэтажное здание — бывший химический институт. Сейчас здесь располагается штаб и разные учреждения РОА. У подъезда встретили генералов Трухина и Малышкина.

Устраиваемся на новом месте. «Жить стало лучше, жить стало веселей». Исполнилась мечта — вступить в РОА!

28 января

Называемся теперь курсантами отдельной учебной роты Штаба В. С. Н. Р. Сегодня состоялось открытие наших курсов. Было много офицеров, был полковник Боярский. Пригласили ансамбль песни и пляски.

РОА, который еще более поднял настроение.

Как же она действует, музыка! Слушаешь — и бодрость, и вера появляются. Родина будет нашей. Родина будет свободна!

Интересно: оформление курсов совпало с объявлением генерала Власова главнокомандующим вооруженными силами О. Н. Р.

Командиром у нас — подпоручик К. Тревога! Надо бежать в убежище...

*

Налета не было, и отбой дали через полчаса.

В подвале все — под впечатлением концерта. К. спросил меня, хочется ли мне тоже выступить. Я сказал, что не имею никакого желания. И опять вышла неправда, хотя много раз обещал себе избегать лжи даже в пустяках: на самом деле, когда я слушал песни, я вспомнил о «Карусели» и жалел эту свою профессию. Все-таки мы за два года (в Старгороде, а потом — под Борисовом) выступали 78 раз. Правда, я, главным образом, — с декламацией и в хоре; в пьесах — только Нелькиным (в «Свадьбе Кречинского», ужасно глупая роль!). Незнамова же мне Майский не дал сыграть, за что я долго на него обижался. Помоему, он ошибался, посчитав, что мое сценическое амплуа «простака». Почему же в чтении мне лучше других удаются как раз драматические вещи? И как раз к ним у меня тяготеение ...

С завтрашнего дня начинаются регулярные занятия на наших курсах ...

30 января.

Понемногу втягиваемся в учебу. Занимаемся по 8 — 10 часов: боевая подготовка, тактика, уставы и прочее. Сегодня ездил в город, на Фридрихштрассе, поглазеть, но глазеть не на что. Берлин искрошен, Берлина больше нет. Вечерами шумно, поэтому мало пишу.

Вот уже два раза видел нашего главкома — правда, только проходящего мимо. Первый раз даже взволновался и чуть не забыл стать «смирно». Большие очки, лицо нельзя ска-

зать, чтобы красивое, особенно — губы и нос, но волевое, и сразу видно, что это — человек руководства, за которым можно идти, не оглядываясь. Какая-то уверенность во всей его фигуре и движениях. Еще мне нравится, что он один из всех не носит немецкой формы. В этом — глубокий смысл, это подчеркивает его роль русского вождя.

5 февраля.

Ужасная бомбардировка! С тысячу американских самолетов налетело. Всё тряслось кругом. Сидели в убежище без конца. Казалось, камня на камне от города не останется. Разрушений (оперный театр, дворец и т. д.) очень много. Ну как могут выдерживать этот кошмар немцы!

Комитет О. Н. Р. эвакуируется! Несколько наших ребят поехали охранять. Питание очень неважное. Всё вместе давит.

9 февраля.

События на фронте угрожающие: советские войска уже у Франкфурта на Одере. Познанский и ратиборский гарнизоны ликвидированы. Беженцы с востока тянутся через Берлин и выглядят только если почище, но так же печально, как когда-то русские бездомные в оккупированных немцами областях. Выходит: «зуб за зуб». На улицах громоздят баррикады, немцы организуют отряды самообороны города. Следующая ступень за всем этим — п а н и к а.

В Москве началась «конференция трех» (Сталин - Черчилль - Рузвельт). Кажется, близится конец. Страшное время!

Поговаривают, будто мы тоже эвакуируемся на юг Германии или в Триест. Что будет?

11 февраля.

Тревоги почти каждый час, так что совсем мало приходится заниматься. Вчера, по поручению подпоручика К., ездил в Дабендорф, в пропагандную школу, с письмом насчет присылки лектора для нас. Неожиданно встретил Г., с которым познакомился еще в

Борисове. Он говорил, что школу тоже собираются эвакуировать. Порядок и у них нарушен. Настроение тревожное и бесшабашное.

Возвращался в сумерки. Закат потухал дымнолиловый — от пожаров, должно быть. Пахло гарью и почему-то весной. Всё шоссе, под немецкими толстыми рябинами, от лагеря до станции — в прогуливающих. Группки, а чаще парочки, под руку и в обнимку под деревьями (курсанты с девушками — остовами). Смех, шопот, чмокание...

Грустно и радостно: всюду жизнь! Не убить ее ни страхом, ни бомбами!

Когда подходил к вокзалу, сзади пели:

«Я Сибири, Сибири не боюсь,
Сибирь ведь тоже русская земля...»

Показательная для настроения песня!

*

Сегодня воскресенье. После обеда наша рота принимала присягу, а потом все пошло в кино. Я остался под предлогом, что болит голова, и пожалел об этом. Чувствую себя одиноким, отрезанным от всего мира. Прочел в сводке германского командования о группе полковника Сахарова (в ней есть кое-кто из нашей роты), которая отличилась в боях. Взяли пленных, и те будто сказали, что еще раньше бы сдались, если бы знали, кто их противники. Правда это? Вспомнился разговор с девушкой из Е. Все-таки ведь «брат на брата». И теперь для меня не тайна, что немцы никакие не «освободители», что наш союз с ними — только тактический ход для обеих «высоких договаривающихся сторон»... Как все сложно! Ясно только, что как ни обернись дело — гражданская война неизбежна на нашей многострадальной родине. Кровь будет заливать ее еще долго! Трудно во всем этом разобраться, можно только верить.

«Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращенных в прах,
Из мук казненных поколений,
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненависти и любви,

Из преступлений, иступлений

Возникнет праведная Русь.

Я за нее одну молюсь

И верю замыслам извечным.

Ее куют ударом мечным,

Она мостится на костях,

Она, святыня в ярых битвах,

На жгучих строится мощах,

В безумных плавится молитвах».

(М. Волошин)

Понедельник, 12 февраля 1945 г.

Тяжелые сутки. Ночь не спал, потому что был в наряде; сейчас пропущу лекцию подпоручика В., отдохну и пойду на топографию. Потом — опять стоять в карауле.

Утром пришло печальное письмо. От Алексея Филатовича Заряжского. Из какого-то лазарета. Он, оказывается, заболел еще в декабре в Восточной Пруссии туберкулезом легких, и теперь у него горловая чахотка, голос пропал. Из Восточной Пруссии вывезли его в начале января, и с тех пор он ничего не знает о Наташе, которая осталась там вместе с Ф. Ф. Плинком, Богским и другими и, значит, сейчас — в руках большевиков, если не удалось пробиться... Спрашивает, не слышал ли я о ней. Письмо отчаянное...

«Прощайте, Володя. Больше не поговорим с Вами о театре и музыке. Со мною, видимо, всё. Вы ведь московский мой адрес знаете? — На случай, если приведет Вас Бог вернуться... Прощайте.»

Что ж, от горловой чахотки не выздоравливают! Жутко... Бедная Наташа! Сейчас же послал ему ответ, но даже и не верится: неужели могут еще доходить письма, ведь с каждым часом — всё страшней положение.

Тот же день, 18 ч. 30 м.

Суматоха. Получили приказ сматываться. В ночь или утром выезжаем со всем штабом В. С. Н. Р. куда-то на юг. Говорят — в южную Баварию. Маршпак на 2 дня уже выдали.

14 февраля.

Едем. Нет, вру: стоим на запасных путях Берлина. До сих пор не дают паровоза. Наш состав: шесть классных вагонов, 12 товарных и еще платформы с машинами. В пассажирских расположились офицеры и семьи штабных, прочие — в теплушках. Всего едут в эшелоне: 229 офицеров, 6 генералов, 300 солдат и остальные гражданские, общим числом — 1027 ч-к.

Берлин провожал нас дождем и снегом. Закончили погрузку к 10 часам и ждали целый день. С вечера начались тревоги, было очень неприятно: тьма, прожекторы мотаются по небу. Несколько раз раз принимались бухать фляги. Осколки цокают по рельсам и крышам вагонов. Стало вдруг ужасно не хватать убежища... Но обошлось.

Проснулись на том же месте. Сейчас уже больше 9-ти. Засуетились... Наверно, подают паровоз!

*

«Так вот в ушах и долбит, и стучит это: Титата, татата, тотата, титата...»

Еще два года тому назад хотел записать у Ромма стихотворение о железной дороге — так и не собрался. Теперь едем. Ползком, почти на каждой станции задерживаемся часами: тревоги. Умяли уже весь паек на два дня. Странное ощущение: дорога как будто бодрит, а на самом деле — всё удаляемся и удаляемся от родины, от цели. Куда? Что ждет?

17 февраля, Нюрнберг.

В дороге уже третьи сутки. Очень интересный город — Нюрнберг. Почти все здания исторические, построенные много сотен лет назад. Если бы прибавить дощечки с обозначением, что это — музейная ценность, то в дощечках был бы весь город. Поразили его на-совесть. Старые стены чуть напоминают китайгородскую, только та была из белого камня (Москва белокаменная), а эти — из коричневого.

Здесь мы остановились на полдня и, во избежание бомб, разместились за городом, в лесочке. Любопытно: выехали из зимнего Берлина, по пути — белел снег, а приехали в весну. Солнце. Небо пронзительной голубизны... Теплынь. Над головой шелхнулась и хрупнула ветка. Посмотрел — белка... Еще линючая, неопределенного цвета. Бросила шишку...

Голодно! Вчерашний паек (500 гр. хлеба, 50 гр. маргарину и 100 гр. колбасы) съел разом. Немецкий Красный крест, спасибо, кормит супом... Какие всё-таки немцы замечательные организаторы!..

«После обеда кроем дальше, на Ульм!» — сказал, подходя, Юрка и улегся рядом, подложив руки под голову. Помолчал немного, потом вздохнул тяжко.

— Ты чего?

.....

18 февраля Ульм.

«Я помню ульмское сражение,
Там кто-то ногу мне отбил,
Хоть велики были мученья,
Но я терпел: я русским был.
Я русским был!..»

Это очень жалостная старинная песенка, которую любила петь моя мама. Начал было ее напевать, разглядывая город в горах (они здесь до километра высотой), и вдруг глаза затекли слезами. Замечая, что последнее время вообще не могу многих песен слышать — тех, которые вызывают воспоминания. Но хватит об этом. Да, вот и здесь, в Ульме, не в первый раз ступает нога русского солдата. Только теперь этот солдат — изгнанник, «враг народа»...

Умылись у паровоза, позавтракали и поехали дальше. Часа через три добрались до Мюсінгена. Здесь расположена 1-ая дивизия РОА.

21 февраля. Лагерь Хойберг.

Потерял свой кисет — единственную (не считая фотокарточки) память о Тасе. Прошлой весной в Борисове нам с Дуниным удалось выхлопотать для своих «карусельных» девушек от-

резы на плаття. Тасе достался красный с мелкими цветочками; она сшила из него сарафан и выгадала кусочек — для меня...

Потерял! Сейчас, когда пишу, расстроен этим чрезвычайно. Наивность? Ребячество? Пусть говорит это тот, кто не чувствовал себя никогда таким бездомным, как теперь мы.

Нога у меня забинтована: растяжение жил, сам не знаю, как подвернулась.

Всему причиной мытарства перед тем, как добрались до здешнего лагеря. В Мюсингене помещения для нас не оказалось. Двинулись в Эхинген (городок тысяч в 10 жителей), но не выгружались и там. Поехали к юго-западу, остановились, не помню, на какой станции, на Дунае (кстати: почему его называют голубым? Вода в нем зеленоватого цвета!) После утомительной разгрузки эшелона топали 10 километров сюда. С рюкзаками, по солнцу, в гору.

Я очень тяжело переносу марши. Не могу привыкнуть, чтобы не пить в походе, как советуют. Пил и обливался потом. Никакого внимания не обращал на окрестности, а они тут весьма красивы. Правда, такой красоты природа всегда кажется мне немного декорацией, как на сцене...

За одним поворотом прямо в лоб налетело несколько английских истребителей. Мы махнули за обочины, легли в траву. В глазах темнело от усталости. «Та-та-та»... — простреляли пулеметы, и несколько пульек торкнулось в землю совсем около моей головы, но мне было всё равно.

Вот после этой остановки я и обнаружил пропажу кисета. Прошел чуть назад, потом догонял и свихнул ногу в спешке. 22 несчастья.

Это очень большой лагерь, целый городок. Лежит на плоскогорье, вокруг холмы со сквозными коричневыми лесочками. Прежде здесь стояла, видимо, немецкая кавалерийская часть. Теперь люди также и в конюшнях. По утрам — зарядка, отбой в 10 часов. Занятия (теоретические и стро-

евые) начались сразу же. Как и в Берлине, мешают тревоги, их было несколько в первый же день. Ежедневно 2 - 3 часа самоподготовки, и это мне облегчает писание дневника.

Слушал лекцию начальника физподготовки РОА, поручика Л., «Утренняя гимнастика и ее значение».

23 февраля.

На родине — день Красной армии. По радио — «ура», и совсем не казенное. У нас — занятия. Сегодня был боевой устав пехоты и строй. Нога моя почти поправилась. Включился в физкультурную команду: это было у меня всегда отсталым участком. Самолюбие очень страдало, когда я еще и школьником не совсем ловко обращался с мячом. Выбрал волейбол и сегодня тренировался до потемок. Сейчас пишу, а когда закрываю глаза — вижу, как пружинит сетка, отбрасывая неудачный мяч.

25 февраля, воскресенье.

Две тревоги и один легко раненный осколком в ногу наш связист. Вечером — концерт ансамбля РОА. Один из певцов исполнял «Однозвучно звенит колокольчик». Не слишком-то превосходно, но мне вдруг представилась Тася, и как получалось у нее это:

«И замолк мой ямщик, а дорога
Предо мной далека-далека...»

Я помню, как пуницовели у нее щеки, а глаза («вишенки» — говорил Заряжский) делались еще темнее и — вот не могу найти слов — будто они вместе с песней всю мою, ее, нашу разлуку — тоску выговаривали. Право, так... На «Колокольчике» в зрительном зале всегда хлюпали...

Вот она в памяти, как на ладони, — вся история нашего знакомства... И как оно странно протекало! Еще в Старгороде, — даже в К., под Борисовым, мы были так далеки друг от друга. Я тогда предполагал, что ей нравится Дунин, и сам по себе и своей мастерской игрой на баяне. Переживал это болезненно, даже скрывал

с трудом, и Ромм, бывало, всё подшучивал. А потом пришел этот незабываемый день 15-го июля и целая цепочка случайностей. Почему-то Марфушка, молодая галка, которая жила у меня в комнате, не хотела ничего есть, заскучала, и я решил отвести ее в лес. Почему-то Дунин и Нина оказались заняты, и мы пошли вдвоем с Тасей за плотину. Уже вечерело. Я никогда не забуду, как красиво было в лесу и на реке в тот вечер. Особая, значительная какая-то разлита была красота. Что ж, это была моя последняя встреча или лучше сказать прощанье с природой родины!.. Через два дня началась эвакуация.

Мы прошли запруду с тихими рыбными всплесками и кругами на воде, потом маленькое кладбище в кустарнике и крапиве с гнездом аиста на макушке голого вяза. Дальше начался сосновый лесок и сползал крутым бережком к реке. Пахло какими-то медовыми цветами и немного — рыбой. И какая же была тишина!.. Вдали, в речной извилине, плыли на лодке. Она чуть виднелась, потому что уже притуманивало, и потом скрылась за камышами, а удары весел со скрипом уключин всё долетали до нас по воде. Молча, не сговариваясь, мы оба старались как можно дольше различить их, прислушиваясь...

Марфушка вдруг насторожилась, завертела головой по сторонам, каркнула и перелетела с моего рукава на тасино плечо.

— Ай! Сними, Володя!

На ней был красный сарафанчик в цветочках. Одна марфушкина лапка попала на сборчатую кромку, а другая пришлась на живое место. Я даже сморщился, помню: так больно было видеть, как вкогтилась она в золотистую кожу плеча. Неловко сдернул лапку с материи — и оттянулся на секундочку круглый вырез, и сверкнула в глубине крутая развилка ее грудок... Так сверкнула, что потерялся вдруг, и пальцы запрыгали, другую лапку и не ухватил никак...

— Отцепляй, не бойся! — сказала она тихо и вскинула вверх и в сторону зарумянившуюся щеку...

На шее осталась узенькая розовая царапинка, когда я, наконец, разжал коготки. Потом... я даже и сейчас не могу себе объяснить, почему мне вдруг именно в тот вечер (не раньше когда - нибудь) удалось так легко высказать всё, что собирался давно... Ни за что не мог бы теперь припомнить тогдашних своих слов. А ее несколько слов помню все до единого, как молитву, — слов, которые так давно хотел, но не мечтал когда-нибудь услышать.

Впрочем, всё это совсем не походило на «объяснения», которые изображаются в романах. Мы и говорили мало. Долго гуляла тесно - тесно друг к дружке. Смотрели, как одеваются сумерками река. Я нашел по скату три крупных земляничины. На обратном пути нарвал у плотины кучу водяных лилий. Тася захотела сама рвать — и утопила одну ногу выше колена.

Пришлось разуваться. Задник разбух мгновенно и не захотел слезать. Я потянул за каблук, обхватив рукой узкую щиколотку. Потом вытер похолодавшую ножку носовым платком и поцеловал — для самого неожиданного. Она вытянула ее тихонько из моих рук и поднялась, запунцовевшая, а мне было разом и необычно хорошо и неловко, и я, отвернув от нее лицо, долго вытирал платком мокрую туфельку.

Дальше пошли лучшие из пережитых мною когда - нибудь дней. Почему суждено было им оказаться такими непродолжительными! И страшными: чего стоила одна бомбардировка в Борисове, когда нас едва-едва не покрыло «ковром» около вокзала. Но — несмотря ни на что! Мы оба старались как можно дольше быть вместе, как можно ближе, и в машинах, в пути, и в убежищах. И так — до расставанья в Минске...

*

Оказываю успехи в спорте. Мяч подаю уже совсем чисто, никто не смеется. Не мешало бы быть чуть повы-

ше, чтобы «гасить». Слышал, что человек растет до 25 лет, значит у меня еще три года роста впереди! Во второй половине дня по расписанию — штыковой бой, но за обедом кормили тухлой кониной, и всех начало тошнить. Штыковой бой заменили изучением дегтяревского пулемета.

*

Вчера слушал у С., как обычно, немецкое радио. Про погоду сказали «переменно», и в самом деле она сегодня резко изменилась: тучи гонят так низко, что, кажется, вот-вот на деревьях застрянут.

Холодно, как в ноябре. Утром перед строем выносились от комроты благодарности некоторым из наших — за содержание оружия, примерное поведение и пр. Объявлявший их унтер-офицер неприятно напомнил политура. И вся церемония показалась лишней. Конечно, не из зависти — мелочности. А просто подумалось: еще соцсоревнование организовали бы! Зачем это нам, когда мы сознательные солдаты Освободительной армии, добровольцы, а не мобилизованные? Или, может быть, это все-таки надо?

4 марта 1945 г.

Размокропогодилось окончательно. Снег и метель. Всё это, конечно, делают горы: мешают тепловому воздуху со Средиземноморья, а северные тучи цепляются за них, как войлок за грабли. И вот метет. Сразу стало темно и скучно. Занимались по теории.

Видел сон, из которого следует, что на днях должен испытать какое-то «удивление». Посмотрим.

*

Снег! В лагерь прибыло несколько тысяч русских военнопленных. Вид истощенный, обтрепанные... Их будут обмундировывать и проводить переподготовку. Пополнение! Не поздно ли? По этому случаю — разговоры: как нелепа была политика немцев в России! Какая тупость во вред самим

же себе! Нашу РОА надо бы — сразу же. И правительство... Ну, да чего уже теперь!..

Перевели нас в новую комнату, более тесную. Спим подвое на койках.

7 марта 1945 г.

Встреча неожиданная! Новость потрясающая! После изучения трех различных систем пистолетов объявлена была лекция по литературе, и явился... Федор Федорович Плинка! Он в форме поручика, и я его сперва даже и не узнал. Еще бы: предполагал погибшим, у советчиков, словом — вычеркивал возможность такой встречи полностью. Убедившись, что это он, чуть не бросился обнимать. Кажется, он тоже был растроган. Потом начал лекцию, но я никак не мог сосредоточиться на том, о чем он говорит: кипел от нетерпения расспросить, как удалось ему спастись, и про остальных. Следующее занятие было поручика Л. о приемах джиу-джитсу, и я, нарушив дисциплину, отошел с Ф. Ф. в тихое место под деревьями.

За новость, принесенную им, я готов бы заплатить самым тяжким дисциплинарным взысканием: Тася в Германии!!!

Спасена от самого страшного! Их с Ниной вывезли из Минска вскоре после нас. Нина прислала Фед. Федчу письмо. Ей удалось устроиться в какое-то офицерское казино, а Тасю направили в остовский лагерь под Берлином. Подумать только, что мы были целых три недели, может быть, совсем рядом друг от друга! Подумать только!

Ну, всё равно! Теперь Ф. Ф. дал мне нинин адрес (фельдпост) и я уже написал ей, прося сообщить в сё, что знает про Тасю. Какая тяжесть свалилась с сердца! Как радостно на душе, и как захотелось жить и не поддаваться никаким мрачным настроениям!

Мой дисциплинарный проступок остался незамеченным: сразу после начала физкультурного занятия налетело 12 ястребков. Закружились, запетляли, как сумасшедшие, и стали

бросать бомбы на станцию Тиргартен. Мы с Ф. Ф. залезли в укрытие, он всё попрежнему теряется при бомбежке и неловко так торопится, чуть прихрамывая. В укрытии Ф. Ф. рассказал про свои злоключения. Их всех действительно почти что взяли в мешок: осталось узкое горлышко недалеко от побережья, западнее Кенигсберга, по которому им удалось, уже под обстрелом, утечь от смертельной опасности. Бензину у них нехватило, и каждый спасался в одиночку, не зная ничего о других.

Про Заряжского Ф. Ф. в курсе, но, конечно, не предполагал, что болезнь так серьезна. С Наташей они расстались в каком-то местечке, километров в 100 от моря. Там в последний раз остановились все вместе на крестьянском дворе, а оттуда Наташу и еще трех девушек посадили по кабинкам в машины и повезли к Пилау для эвакуации на кораблях. . . Он надеется, что им тоже удалось спастись. . .

10 марта.

Всё еще под впечатлением чудесной новости. Полон надежд. Вот пусть теперь уверяют меня, что сновидения — пустяки. Я знал, что случится что-то неожиданное. Предчувствовал!

Теперь всё зависит от ответа Нины. Досадно, даже высчитать нельзя, когда он может получиться! Где находится её часть? Может, тоже отрезана? Тогда и почтовая связь прервана! Писем теперь приходит с каждым днем всё меньше и меньше. . .

Вечерами встречаемся с Ф. Ф. Положение на фронтах критическое. Английские войска заняли Кёльн, дошли уже до Майнца. Советы захватили балтийское побережье до Штеттина. Армии Жукова и Рокоссовского соединились. Бреславль и Познань взяты. . .

Ф. Ф. настроен очень пессимистически, и это действует и на меня. Сегодня были с ним на концерте, который прервала тревога. «Знаете, Володя, — сказал он мне в укрытии, — слушал вот музыку, и пришел мне в голову Ромм. Помните, он пел какую-то пе-

сенку Вертинского. . . Там такие были слова:

«Я больной и старый клоун,

Я машу мечом картонным». . . и т. д.

Когда я смотрю на все эти наши занятия, игру в солдатики «особого назначения», — всё это представляется мне клоунадой с картонными мечами. . . Особенно, когда читаю сводки или вот сижу в щели. . . Это, может быть, и малодушие, но ясно одно: мы должны быть готовыми ко всему. Самому страшному!»

Клоунада? — нет, конечно, нет! А в остальном он прав. . .

15 марта.

Интересный здесь климат: всего три дня назад был снег, метелица, а сегодня земля уже просохла. Солнце, теплынь, и одуванчики желтые как ни в чем не бывало. . . Занимались тактикой. Мешали английские штурмовики: проносились на бреющем полете, так что приходилось залезать в кусты.

*

«Вы не должны очень уж надеяться на скорый ответ от Нины. Может и совсем не притти», — сказал сегодня Ф. Ф. и испортил мне на целый день настроение. Ведь как действуют на людей чужие мнения! Знаю, что он это только предполагает, а всё-таки удручаюсь. Уж очень мрачно смотрит на всё Ф. Ф., ходит, как в воду опущенный. Видимо, тревожится предстоящим.

К нам приезжал генерал Трухин. Со следующей недели начнутся зачеты по пройденному за это время. Начинаю готовиться, читаю записки, пособия.

Вечером состоялось в офицерском казино богослужение. Прикладывались к мощам св. Пантелеймона.

26 марта.

Пошел в лес. Спугнул двух диких коз. Ах, как стрелянули! Появились уже цветы, похожие на наши подснежники, но белые (анемоны?). Всё оживает, и уже летают бабочки-капустницы. В лесу одолели воспоминания. Письма от Нины нет. . .

Сажу на опушке под небольшим дубком. День такой ясный, что видны далекие (до 80 км.) Швейцарские Альпы со снеговыми макушками. Божья коровка поползла по дневнику... Прямо под перо... Радость?

Всё это время сдавал зачеты. Средняя моя оценка — «хорошо», по топографии — отлично. Вчера была лекция подпоручика Х. о советской поэзии. И это меня подтолкнуло снова попробовать рифмовать. Получились уже две строфы. Конечно, центр моих мыслей, вдохновения — Т. Буду продолжать...

27 марта.

После обеда играл в волейбол. Потом разговаривали с Ф. Ф. о литературе. В частности — о том, почему так бесцветны произведения многих советских писателей.

— Все они «наступают на горло собственной песне», Володя, — сказал Ф. Ф. — Помните Маяковского? Партийный заказ! Творчество — на службу пропаганде. Откуда художественное несовершенство? Не от бездарности, разумеется, а — от невозможности совместить творческий порыв с умолчанием и ложью, которые обязательны. «Когда человек отдается лжи, его оставляют ум и талант», — писал Белинский...

— Ну, а вот как раз Маяковский... как вы на него смотрите?

— Что ж, Маяковский теперь уже — труп. «Русская поэзия двумя трупами началась и двумя трупами кончилась». Это я прочел где-то у Эренбурга. Очень метко! Есенин и Маяковский. Оба совсем разные, но есть и сходство: оба были искренни. Один — в воспевании уходящего, другой — надвигающегося. Кажется, с их смертью искренность — основа всякой поэзии — иссякла. И поэзия с нею. Очень вероятно, что Маяковский пустил себе пулю в лоб именно потому, что перестал верить...

— Вы думаете?

— Убежден. «Там, за горами горя — солнечный край непочатый!» — это он провозглашал от души. А затем оказалась, что «горы горя» растут, как

на дрожжах, а «солнечный край непочатый» и не думает приблизиться. Завоеванная свобода обернулась мифом, и «факелы революции» превратились в пропагандную бутафорию. Вот человек и не вынес.

— Это «лучший-то, талантливейший поэт советской эпохи»? Так ведь его Сталин определил...

— Талантливейший, бесспорно. Но.. тем хуже для эпохи!

Выписываю разговор дословно: нарочно переспрашивал вечером у Ф. Ф.-ча некоторые формулировки, чтобы сохранить для себя... Потом прочел ему написанные вчера стихи (5 строф). Он похвалил, но сказал, что в стихах разбирается плохо. Предложил показать их подпоручику Х., который не только знает теоретически, но и сам поэт. Я отдал.

29 марта.

Пишу контрабандой, т. е. после отбоя. Спать не хочется. Стоят чудесные голубые ночи, и небо здесь много богаче звездами, чем у нас, всё в золоте. Холмы вдали, черные и синие... А воздух! Походил немного, подышал и — нет, разве тут уснешь!.. Сегодня сдавал последний зачет, а потом пришел Ф. Ф. и вернул мне мои стихи. Подпоручик Х. сказал, что они сентиментальны, что рифмы и образы «прабабушкины», но что в них «что-то есть»...

Снова выходил на воздух. Ах, какая ночь! Но почему человек именно в такие вот ночи чувствует себя особенно одиноким?

А самолюбие скребется, как мышь: неужто так уж они бесцветны, мои стихи? Последние две строфы:

Вихрь оборвал любовь, как песенку, как скрипку,
В развалинах надежды погребя,
Но в сердце я с собой унес твою улыбку,
Одну, любимая, Тебя...

И если каждому особой чередой

Особая звезда сияет с высоты,

— Ты будешь для меня всегда моей

звездой,
Одна, любимая, единственная, Ты.

30 марта.

Сегодня видел очень интересное... Занимались тактической подготовкой. Мы с К. изображали часового с подчаском в сторожевом охранении. Лежали за бугорком в колючем каком-то кустарнике и высматривали воображаемого противника. И вдруг загрохотало где-то громом, хотя на небе ни тучки не было, раздался ужасный свист и треск раздираемого воздуха. Большой снаряд (ракета?) взвился ввысь почти по вертикали и исчез из глаз с необыкновенной скоростью, оставляя за собой черный хвост дыма. Это был выстрел Фау-2. Какая же сила! Сколько смертей понес с собою этот снаряд?..

Ф. Ф. считает, что до конца Германии остались считанные дни. Карта у него вся испещрена красными пометками (это — движение советских войск) и синими (англо - американцев). Действительно, что же осталось еще у немцев?

8 апреля 1945 г.

Вчера после обеда объявили, что идем со всем штабом на Мюнхен. Стали собирать вещи. В 10 часов приказ: отставить. Не спали всю ночь, до сих пор — как на углях. События развиваются. Англо - американцы вышли уже к Магдебургу.

13 апреля.

Умер президент США Рузвельт.

15 апреля.

Второй раз в жизни присутствовал при публичном расстреле. Первый — в дулаге. Там немцы, расстреливали пленного, торговавшего человеческим мясом, и другого за какое-то воровство. Здесь это был военный инженер 2-го ранга Д. Он, как доказано свидетельскими показаниями, издевался над людьми в лагерях военнопленных. Отвлеченно рассуждая, не следует щадить такого негодяя, но зрелище все-таки отвратительно. Момент, когда ожидаешь залпа, ужасен. И как они падают — будто под землю уходят! У меня вдруг начало болеть все

тело. Я не знаю, неужели сейчас нужно это убийство напоказ, хотя бы и по приговору, когда и без того льется кровь! Ф. Ф. полностью со мною согласен и был бледен, как мел. «И без таких зрелищ на душе кошки скребут, самих так же вот скоро в расход выведут», — сказал он.

Все начинают ощущать страж за ближайшее будущее...

26 апреля. В походе.

Дневка в лесу. До обеда спали, как убитые, после ночного марша. Поевши, снова все улеглись, а я решил записать...

Приказ на выступление из Хойберга получили 17. 4. Построились в длинную колонну. Наша рота в голове. Потом три роты офицерского резерва, рота охраны, разные отделы штаба, АХО, штабной обоз и в хвосте взвод жандармерии. Связные на велосипедах и мотоциклах, несколько машин для генералов и полковников (Трухин, Боярский, Айсберг, Шаповалов, Богданов, Поздняков). Вот уже больше недели топаям...

В обед к нашему костру подсел поручик Жилин, приковылял Ф. Ф. со своей мисочкой. Небо расчистилось, брызнуло солнце. От костра тянет хвойным дымком, и так хорошо на мху, под соснами... Не хочется думать, что к вечеру — снова шагать в неизвестность. За едой разговорились.

Жилин был короткое время в Вост. Пруссии, при нашей части. По гражданской специальности он снабженец. Маленький, белобрысый, щеки подбрюзгли и веки тоже припухлые, без ресниц. Мы с ним на мазурских озерах рыбачили: поводки закидывали с лягушками в качестве живцов. Сегодня вспомнили это и — как немцы на нас палились: «штренг ферботен» у них.

— Чудной народ, — сказал Жилин и облизал ложку, так что на щеках жирные остались разводы, — что ферботен — то свято. В лесах козули прыгают... У нас бы при карточной-то системе, живо бы их на шашлык переделали, а здесь никому в башку не придет. Да что! — У них даже собаки

ферботен соблюдают. Наша какая-нибудь Жучка в любую щель в загородке пролезет и за икру, стерва, тебя норовит. А ихняя, если ворота настежь, — обежит, будто не замечает, и опять брешет за забором. Ей Богу, не вру ...

Посмеялись все. Кроме Ф. Ф. Он только вздохнул: «Юмор висельников. Завидная у вас, Жилин, способность, ржать» ...

Пойду искать вазелину для ноги: сбил совсем.

5 мая 1945 г.

Поход окончен. Оказался чрезвычайно тяжелым. Погода очень часто портилась, от дождя всё намокало (всё несли на себе). Обе пятки растер в кровь, и до сих пор ходить больно, особенно начинать, когда разойдешься — уже легче. Ф. Ф. шел только первое время, а потом постоянно подсаживался на повозки. Вид у него очень плохой. Спали днем, в лесу, и было иногда крепко холодно и сыро. Ночью же двигались. У многих открывалась куриная слепота, и отставали. Из наших отстало около 30 человек, теперь есть сведения, что они попали на Зальцбург, к генералу Туркулу.

Записываю маршрут, по которому мы двигались: Менген, Замгау, Хоффенбах, Обергюнсбург. Лейден, Бибург (Бавария). В среднем делали по 30 - 35-ти километров за ночь. Из Фюрстенфельдбрука проехали поездом через Мюнхен. Сюда, по слухам, заглядывали будто бы уже американские танковые авангарды!

Под Мюнхеном (Фрейманн) наши осадили остовский лагерь; освободили, между прочим, около полусотни остовок. Охрана не пикнула. Своя рука — владыка! Жилин привел какую-то мурластенскую ... Обнимал и тискал, уверял, что землячка. Бегал хлопотал пристроить к нам в обоз — ничего не вышло.

Эпизод с лагерем знаменателен: немецкая административная машина разваливается.

Из Мюнхена прокатили через Браунау, Вильс и остановились в 15 кило-

метрах от австрийского города Линц. Потом снова пешком через Линц, Фрейштадт и перешли чешскую границу. Всего протопали 550 км.! Я говорил себе: все эти лишения, всё, что переносим, — всё во имя нашей родины, во имя великой цели, которую мы поставили перед собою. Но — ах, как трудно себе самому верить ... «Конец приближается, бесславный конец, Володя», — говорит Ф. Ф., и голос у него дрожит.

*

Слушаем радио. Слушаем — где и когда только можно!

*

События потрясающие. Гитлер и Геббельс погибли. Правитель Германии — адмирал Денитц. Он отдал приказ о продолжении войны. Убили Муссолини при попытке бегства в Швейцарию. Его повесили вместе с его возлюбленной вниз головой и надругались над их телами. Про смерть Гитлера слухи разнообразные. Кое-кто уверяет, что смерть эта — утка, что он улетел в заранее подготовленное где-то безопасное убежище.

6 мая 1945 г. Местечко Каплиц, Богемия.

Первый день Пасхи! Мама, Тася, Христос Воскресе, родные мои! Здесь сказать этого некому ...

Война окончена. Фельдмаршал Кейтель подписал в Берлине безоговорочную капитуляцию Германии. Чехи в Праге восстали. Бьют немцев из-за каждого угла. На руках красные повязки, как было у нас в революцию. Немцы в свою очередь свирепствуют с населением. Генерал Власов во главе 1-ой дивизии РОА подошел к Праге и в согласии с чехами разоружает немцев. Что будет?

*

Все очень поражены известием о тактическом маневре генерала Власова. У большинства отношение к немцам резко отрицательное, каждый помнит пережитые от них унижения, их презрение к русским «унтермен-

шам» и прочее. Всё это теперь отражается в настроениях. Но все-таки отход от них в такой момент... Как это назвать?

— У Фили пили да Филю ж и били! — выкопал откуда-то Жилин пословицу. — А в общем — поделом!

Много споров... Иные доказывают, что здесь «высокая целесообразность», другие просто покрикивают, чтобы «не обсуждали действия начальства»... Ну, покрикивать проще всего. Ф. Ф. находит, что это — жест отчаяния и «последний штрих бесславного конца»...

9 мая.

Чешское население торжествует. Всюду флаги по домам, чешские национальные и белые.

По радио кричат «ура»! Ликует весь мир, все... Только мы одни, потерянные, беспомощные, на пороге гибели... Родина! Она празднует тоже. Она празднует, несмотря на Сталина... а мы?.. Как это случилось, что мы остались отверженными? Как это случилось, что большевикам удалось заставить армию драться? Ведь не хотела же она этого? От вопросов пухнет голова...

Один из наших мотоциклистов видел километров 20 западнее от нас американские танки. С севера катятся на нас танки советские, оккупирующие Чехословакию. С севера надвигается гибель...

Нечем дышать! От солнца всё раскаляется, и вот даже к вечеру не остынет никак. Сажу на скамеечку перед домиком чеха Ч., у которого на квартире. Подавлен совсем, совсем. Даже подняться нет силы...

Только что отошел Ф. Ф. с картой. «Мы между двух звезд, Вольда, — сказал он. — Пятиконечная белая — о одной стороны, пятиконечная красная — с другой. Красная несет смерть, а белая»...

Он очень славный, Ф. Ф., и я его давно уже полюбил. Но в эти ужас-

ные дни, которые мы переживаем, он действует на меня плохо... Сейчас всё убивался, что свои вещи выкинул, что надо бы гражданский костюм, переодеться и утекать на запад...

Говорят, сегодня будем выступать. Куда?

Разговаривал с одним фельдфебелем из нашего арtpолка, который откатывался под напором красных. При их приближении в полку возникла смута: нашлись типы, предложившие «переходить к своим». Дошло до взаимных арестов и рукопашной...

Фельдфебель был в арьергарде и столкнулся с разведгруппой советчиков. Рассказывает: человек пять красноармейцев с сержантом. Все очень молоденькие и пьяным — распяно. Начали сперва приглашать «до дому», а потом махнули рукой и посоветовали по душам: «катитесь, откуда пришли. Спасайте шкуры, пока не поздно!»

11 мая.

Одно из решений нашей судьбы свершилось: мы у американцев. А дальше — всё в тумане...

Эту ночь спал в парке, под деревом. Умывался с лодки в пруду со звездами. Всё это — в маленьком занятом американцами городке Круммау, куда пришли вчера к вечеру. Но опишу подробнее наш поход сюда — последний поход РОА.

Памятный навсегда день. Изнуряющее уже с утра солнце, совсем не майское. И никакого ветерка. Солдаты, отыскав тенек, отдыхали после перехода в полтысячи километров.

До обеда мы с К. сидели за околицей — два деревца и между ними поленица дров, прохладно! По дороге — чехи, многие с мешками: говорят, разбили какой-то продуктовый поезд. Шныряли и наши охотники «прихватить, что без хозяина». Это всегда бывает, когда время бедственное, неизвестность: кто в отчаянии, а кто дей-

ствуется по правилу «хоть день, да мой, а завтра, может быть, помирать». Но в общем у всех наших на лицах растерянность. Американские истребители летали низко — низко. Не стреляли, но мы, по привычке, прикладываемся к земле. Несутся машины, мотоциклы чешских повстанцев с национальными флажками. Невдалеке, на перекрестке, военный грузовик задел крестьянский воз с соломой, опрокинул. Кричат, машут руками, пыль золотой столбушкой ...

Поднялись и пошли в деревню попытать новостей.

У штабного домика сидел на камешке ген. Айсберг и еще кто-то. Нам встретился около дверей Н., сказал находку, что беспокоятся очень о Трухине, который с ген. Боярским поехал к Власову и неизвестно, удалось ли ему пробиться до Праги.

Только успели свернуть покурить — подъехала машина полковника Х., немецкого представителя при штабе РОА. Через минуту снова набежал Н., в смятении: советские танки движутся в нашем направлении всего в 80 км. отсюда.

Суматоха. Полковник Нерянин принял командование. Через минут сорок собрались, построились. Впереди наша рота, затем офицерский резерв, сводный батальон и обоз. Шли в полном боевом. И солнце пекло, пекло ... Во рту стало сухо до боли. Шли не по шоссе, а проселками. Молча. Всякий думал про себя тяжелые свои думы. Разбитые орудия, брошенные винтовки, зарядные ящики, панцерфаусты ... Всё в пыли, горячее, как утюг. Так наглядно был развал германского военного могущества. Вот лежит оно по дорогам, раздавленное, раздробленное в прах. А ведь на нем, на этом, немецком могуществе, строился значительный кусок нашего пути. Была это ошибка? Чья? Что же теперь? — думали мы все и едва ноги переставляли. Пройдя 16 километров, добрались ко Круммау. Груды сданного оружия на площади. Первые американские солдаты. Смотрят одни — любопытно, другие — равнодушно.

Останавливаются и глазают на нас местные жители.

Когда уселись под деревьями, подошли два американца. Вызвали С., который знал по-английски. Оказывается, они хотели купить у кого-нибудь лейку. С. спросил, что будут делать с нами? — вопрос, который жег все сердца. Они покачали головами: не знаем, мол ...

Майский вечер перешел в ночь. Тихую, теплую. Круммау — в долине, в горах, как в корзинке. Над корзинкой — звезды. Необыкновенно много их. Сыплются в пруд. Устал, но спать не мог. Ходил по берегу, садился на мокрую, в росе, траву и думал, думал ...

Неужели это — конец РОА? Такой бесславный конец нашего дела? Что значит эта сдача наша американцам? Плен? Но тогда мы — вещь и бесправны, пленного можно передать, как имущество, как трофей, в руки мастеров заплочного дела ... Неужели еще именно это в заключение всего пережитого?

Вот что еще давит, помимо неизвестности: ведь катастрофа эта — конец и всем личным надеждам: хаос, разруха, почта не действует ... Связаться с Ниной, узнать о Т. — всё это рухнуло. Всё!..

Зовут купаться, кататься на лодке ... Если посмотреть вокруг, то будто ничего и не случилось. Пруд блестит на солнце .. Плеск. Хохот.

Неужели всё таки это — плен?

14 мая.

Перебрались в соседнюю деревню, недалеко от города. Неизвестность продолжается. Американцы относятся с каким-то снисходительным безразличием. Кто-то разговаривал о нашей судьбе, — отвечено: о выдаче нас большевикам не может быть речи.

21 мая. Сельское кладбище

Вот уже четвертый раз прихожу сюда, когда хочется побыть одному. Деревьев нет, но у стены растут кусты (что-то вроде нашей бузины), пахнут медом, гудят шмелями.

Вчера состоялся выпуск наших курсов. Должно быть, это так надо, чтобы

люди не впадали в панику: выпуск — теперь? Когда наше положение такое неопределенное, такое тревожное! Когда мы, может быть, на самом краю гибели! Ф. Ф. возмущался. Я не знаю. . . Это все-таки заполняет пустоту. На торжественном вечере были генералы Меандров и Айсберг. Пел ансамбль РОА. Напомнил нам родину, разлуку. Кажется, не я один — все расстроились. . .

Кладбище аккуратненькое, расплавленное по линейке. Дорожки гравием посыпаны. Цветы. Как непохоже на наши! Пришла мысль: может быть нигде не сказывается так отчетливо различие между душевными складами народов, как вот в их кладбищах. . . Здесь порядок, заботливость, красивость и — никакого не вызывает настроения. У нас — запущенность, заброшенность, всё ветхое, вкривь, вкось — и за душу хватает! Или это так кажется, потому что своё, родное? Вспомнил московское Ваганьково. Там похоронен папа. Там могила Сергея Есенина. . . с березкой. . .

Тяжело и беспокойно на душе. Что день грядущий нам готовит?

Говорят, американцы не рассматривают нас как пленных, даже — не как интернированных, а временно задержанных для выяснения нашего будущего, которое решится в высших правительственных инстанциях. Командир местных частей, американский полковник Х., выяснял нашу политическую платформу. Слухи, или лучше «утки», летают стаями: будто нас распределят по гражданским работам, отправят в тыл. Кто говорит — перевезут во Францию, кто — в Италию, кто — к Франко. П. рассказывал вчера, что в других подразделениях опрашивали, согласны ли мы вступить в американскую армию.

— «Всё вздор, Володя, — сказал Ф. Ф., — всё — иллюзии. А не иллюзии — то, что в 10 километрах от нас советские войска, американские союзники!»

*

Ходил по аллейке. Разглядывал памятники. Могилки все одинаково ухожены. Нет, здесь классовые различия

не так выступают, как у нас, в «самой демократической». . . Последнюю весну, в Москве, я всё ездил 17-м номером в Новодевичий монастырь. Там — могила маминых родителей, и мне поэтому удалось достать пропуск.

Тамошнее старое кладбище «спланировали», а новое сделали закрытым: для знатных. Выставили охрану: без охраны «обожяемым» партийным отцам, видать, и в могилах беспокойно! Вдоль внутренней стены — комгрядки: Фурманов, Валерий Брюсов, Фрунзе, которого, говорят, приказали зарезать на операционном столе. Чудесна могила Алилуевой, сталинской жены: колонна, вверху высечено лицо с нежным профилем; у подножья — ступеньки с брошенной розой, выточенной из мрамора; громадный квадрат зеленого газона вокруг. Тоже и над этой могилой веет злоеющая тайна. Жуткое кладбище!

У противоположной стены — артистические и литературные мостки. Здесь всё заброшеннее. Кропоткинский камень оброс бурьяном, скрябинская плита замшела и почти в землю вросла. Сюда с уничтоженных кладбищ переселили несколько знаменитых трупов (Displaced Persons советской культуры!): Чехова, например. Его перенесли со старого участка, у монастырской церкви. Однажды встретил у его памятника, с тремя копыцами на крышке, Ольгу Леонардовну. Приносила цветы. Поздоровался и даже осмелился заговорить. Сказал, что уж очень мало тени вокруг.

— Да, — ответила она, — на прежнем месте было уютнее.

Еще из Данилова монастыря перевезли Гоголя. Папа был там при разгроме кладбища и уверяет, что Гоголь прибыл на новоселье без головы — ее потеряли при переселении!

На гоголевском черном базальтовом надгробии — стих из пророка Иеремии: «Горьким смехом моим посмеюся».

Каждый раз, проходя мимо стражи у ворот, я думал, что слова эти надо бы прибить над входом. Жуткое кладбище!

*

Еще — о встрече некоторых наших с красными под Прагой. Если советчики были в меньшинстве — сейчас же начинались уговоры и обещания (полное прощение, отпуск домой и т. д.). При этом солдатам РОА говорилось:

— Вы же власовцы? Значит, не с немцами вместе были, а сами по себе. Ничего вам не сделают!

А тем, кто служил в немецких частях:

— Вы же не добровольцы. Не РОА. Немцы вас принудили. Чего же вам бояться?

Какова диалектика!

Советчики захватили в пути нашего завхоза, поручика А., и увели. . . Говорят — убивают сразу, на месте, но, по-моему, вряд ли: сперва допросят. Отдельные группы советских солдат (разведка, наверно) заходят в район наших двух деревень. Говорят, будто переодеваются в американскую форму, вламываются в дома, требуют выпить — закусить и — девочек. Американцы усилили посты. . . Кстати, какая огромная разница в дисциплинарных уставах европейских армий и американской: американский полевой садится на краю дороги, откладывает винтовку на сторону и разговаривает с проходящими. Но пост есть пост — говорят, им приказано стрелять при приближении советчиков.

24 мая.

Началось! Сидел сегодня в трусах за кладбищенской стеной и латал свое белье, которое прохудилось окончательно, и вдруг увидел несколько непривычных машин, въезжающих в деревню. Потом прибежал Ю. впопыхах:

— Володька, советчики!

Быстро оделся. Отправились смотреть. Действительно: три или четыре пары советских офицерских погон с конвоем, приблизительно в отделение. Когда мы подошли, их уже со всех сторон окружили наши. Раздались выкрики: чего вам нужно? Зачем пожаловали?

Один из них с лицом Маленкова, похожим на вымя, держал речь. Ах, как

сразу вспомнилось старое, советское, позабытое. Ложь, ложь, ложь. . . Он чуть опускал веки на глаза, когда говорил, и — монотонность, и слова заученные, фальшивые. . . «Теперь — на родину, она ждет вас!» и прочее. Все кругом хмурились враждебно. . . Потом советчики говорили с генералом Меандровым и с американским командованием.

Ф. Ф. стоял рядом со мной, бледный. «Вот оно, началось, Володя! Первая ласточка!»

.

26 мая 1945 г.

Э т о п л е н ! Новое, страшное звено моей жизни!

Перегнали нас по-пешему километров на 40 к юго-западу. Остановились под местечком Фридберг, в поле, у опушки леса. Здесь американцы (уже другая часть) обнесли нас колючей проволокой и поставили охрану. Питания никакого не получаем, поедаем то, что имелось еще из запасов. Соорудили себе из веток шалаши. Небо видно, и если пойдет дождь — будет протекать всюду. Плен. . .

*

Ночь. Горят костры, и я пробую писать при неверном этом, прыгающем свете. У Горького кто-то из героев (Конвалов?) любит костер. Меня костер тоже всегда волнует, а сейчас и не знаю, как назвать это чувство. . . Больше, чем тоска. . . Вспомнилась Тася, и как она пела про «костер в тумане». Но нет, даже и воспоминаний нет, а — тревога. Ф. Ф., увернувшись в палатку, лежит по другую сторону костра. Кажется, не спит тоже. Вот зашевелился, поднимается. . .

Ф. Ф. полагает, что советчики, когда беседовали с американцами, выдали нас за «СС», и поэтому так резко изменилось обращение с нами. . . Слухи, слухи, слухи. . . Говорят, что нас повезут куда-то на Мюнхен. Не могу писать, темно.

15 июня. Лагерь Ганакер подле Л.

Больше двух недель живем в новом лагере. Это — огромное скошенное поле (был хлеб), полкилометра в

квадрате. Поле оцепили колючкой. По углам пулеметы, как это было в Б., в немецком дулаге, только вышек нет.

Сначала стряпали шалаши. Теперь получили палатки, американские, военные...

Вот что дают на день из питания: ложку яичного порошку, ложку сухого молока, 10 грамм печенья и 15 гр. сахару. Канареечный рацион! После пакетов, которые нам выдавали на старом месте, это — меньше голодной нормы. Может быть, именно поэтому такое отчаяние у всех. По ночам постоянно убегают. Слухи о выдаче всё настойчивее...

*

Отправился бродить по лагерю в поисках, кто бы обменял мне 10 сигарет на хлеб или сухари, и вдруг столкнулся лицом к лицу с Бор. Гавр. Бог-ским. Вот неожиданность! Он тоже поручик... Загорелый, белозубый, совсем молодец для своих сорока!

Сели в тень за палаткой, и Бор. Гавр. долго рассказывал нам, как удалось ему выбраться из мешка в Вост. Пруссии. Самое страшное в его рассказе — несчастье с Наташей Заряжской. Машина, на которой она ехала, когда вырывались к Пилау, к кораблям, налетела полной скоростью на дерево у шоссе. Шофер успел выскочить, а Наташа разбилась. Бор. Гавр. ехал в следующей машине и помогал вытаскивать ее из-под обломков. Он говорит, что было разможено лицо, и что он видел на асфальте в крови маленький белый зубик. На его же машине Наташу доставили в Г., в лазарет, который уже лихорадочно эвакуировался. Дальше он ничего не знает...

*

Продолжаем держаться втроем — три москвича. Впрочем, Ф. Ф. — москвич не природный, Бог-ский родился в Истре (б. Новый Иерусалим), под Москвой, где два лета жил и я. Бог-ский — очень добродушный и хороший человек и спокойнее обоих нас.

Это ценное качество теперь. Паника продолжается...

Наташа — и белый зубик в луже крови! Не могу совместить, ни представить...

20 июня.

Три дня работал: приводили в порядок лагерь. Даже клумбы разбили и прочую декорацию. Все приняло менее цыганский вид, и, кажется, это нравится американцам. Вчера был помощник командира корпуса и похвалил. Вообще отношение стало лучше: 3 раза в день горячая пища. Разрешили ходить на речку купаться.

Вечерами многие ходят воровать картошку. Часовые пропускают, сквозь пальцы смотрят. Говорят, даже попеняли раз возвращающимся: чего, мол, вы обратно, чудак! Драпали бы прочь...

Повидимому, очень помог улучшению дел генерал Меандров. Он направил командиру лагеря, полковнику Вильямсу Б., обстоятельную докладную записку с объяснением нашего политического лица и существа нашего движения. Полковник обещал переслать это генералу Эйзенхауэру. Ген. Меандров связался также со старой русской эмиграцией: вел. княгиней Елизаветой и В. А. Маклаковым.

*

Говорят, американцы называют нас «бельми». Это хорошо!

Советские агенты продолжают записку на добровольное возвращение на родину. Идет очень туго.

21 июня.

Жара невыносимая. Сажу на берегу Изара после купанья и стирки и, покуда сохнет на кустах белье, пишу. Недалеко полощутся наши. Визжат, хохочут. Ах, русская душа!

До обеда была горячка: чистили лагерь. Сказали, что едет командующий армией, генерал Платтен. Навели блеск, но командующий не приехал. После обеда был спор на самую острую для нас тему: неужели союзники пойдут на дружбу с большевиками? Бор. Гавр. и я утверждали, что этого быть не может.

— Какие у вас основания? — сердился Ф. Ф.

Наши основания — гуманность и демократичность англо-американцев, которые не могут же всерьез объединиться с душителями свободы, палачами нашей родины.

Кроме того:

1. Снова подтвердилось, что нас не рассматривают как военнопленных; даже (это точно!) отправят на-днях на сельскохозяйственные работы в ближайшие деревни без всякой охраны!

2. Есть сведения о судьбе генерала Власова. Ему удалось избежать советского плена и некоторое время он был в Лондоне. (Моск. радио: «бандит Власов обивает лондонские пороги»). Теперь будто бы он — в Комитете с ген. Деникиным и будто передавал нам привет и сказал, что «через 1-2 месяца будем действовать дальше».

Ф. Ф. возражал с раздражением и приводил другие доводы: союзники идут явно на большие уступки большевикам, рискуя быть жестоко обманутыми. Недавно кончился вопрос о польском правительстве и кончился компромиссом, выгодным Сталину. Маршал Жуков получил английский «Большой крест боевого ордена» и всё — на банкетах с союзными генералами. Ф. Ф. уверен, что те из лагерных ораторов, которые призывают «ждать» и обещают всякие благополучия для нас, «или слабоумные или советские агенты». По его мнению, лучше бежать. Как?..

*

Приходил купаться Бор. Гавр. Он уже составил рабочую бригаду, с которой едет за старшего на полевые работы. Поговорили о возможностях побега.

— Вздор! — говорит он: спрятаться трудно, выдадут... — Еще, по его мнению, побеги очень портят отношения с американцами и выглядят подозрительно: значит, совесть не чиста, если бежишь. А совесть у нас чистая — боролись за святое дело.

Потом вспомнили Истру. Бор. Гавр. очень хорошо рассказывал про то вре-

мя, когда в тамошнем монастыре были еще монахи, и как всё тогда выглядело. После революции начался разгром. Скит патриарха Никона в Гефсиманском парке запаковали. Там на стене Лермонтов собственноручно написал стихотворение, и его замазали похабными надписями. В Силоамскую купель ходили стирать белье. Я не застал этого: при мне скит был уже музеем и монастырь (постройка Растрелли) тоже, хотя, как Б. Г. говорит, все сокровища давно вынули.

Досидели до заката. Вода посерела, а небо стало лилово-розовым, как сирень. И всё-таки природа здесь пустее нашей, хотя и живописнее, и богаче!

Вспомнили опять пруды под монастырем, и особенно один, недалеко от больницы, в которой работал когда-то Чехов. Там разводили карасей, золотых и серебряных. Я бегал контрабандой удить...

Бор. Гавр. расчувствовался, стал рассказывать, как в юности, когда еще учился в школе, устраивали они там пикники. Вёснами, до за полночи...

«А соловьи щелкали, Володя! Мечта! Лягушки подгукивали»...

Странно: здесь я ни разу не слышал соловья. Нет их, или война распугала?

25 июня.

Голодаем! На день выдают 150 гр. хлеба, 5 гр. сыру и 10 — масла. Когда сидишь долго и потом поднимаешься — кружится голова от истощения. Ф. Ф. в отчаянии. Говорит, что не сможет второй раз в жизни перенести голод, который испытали мы уже в немецком плену. Говорит, что ничего не боится так, как голода. Я спросил: а большевиков? — и он, кажется, обиделся. Сознаюсь, что вопрос был глупый. Выменял часы на 1 кило хлеба и несколько пачек сигарет.

Очередная утка: всех скоро распустят «на гражданку». Хлопочет за нас русский эмигрант и политический деятель Болдырев...

29 июня 1945 г.

Сегодня годовщина нашего расставания с Тасей и отъезда с родины. Оба события слились в памяти в одно. Вот ведь... и проститься как следует нам не удалось: немцы отступали на-рысках. А как много важного надо было сказать при прощании. Правда, зато накануне весь вечер и половину ночи провели мы вместе. Было ясно, звездно. Советчики волнами слали самолеты. Над городом, чуть в гору, висели лампы. Все прятались за кирпичным зданием, где расположилась часть, на пустыре, в тесных неглубоких траншеях. Нам попался отдельный отрожек, совсем мелкий, вполпроста, глинистый, склизкий от недавнего дождя...

Падали всё больше зажигалки, небольшие, но визгливые, и мы, слышав их, жались на дно, тесно-тесно друг к другу, рука в руке, и я ловил лицом тасино теплое беспокойное дыхание... Заревела фугаска. Тася рывком сжала мою руку. Я вытянул ноги по грунту, притянул ее к себе на колени...

Фугаска грохнула метрах в ста. И, как всегда после того, наступила необычайная тишина.

— Тебе неловко, Володя?

Господи, неловко! Я замирал от страха, что она сейчас вот-вот отожмется от меня, встанет... Боялся пошевелиться и чуть дышал. Но она не двигалась.

За нашей спиной, в грязном бассейне-прудице (для уток) гукнула лягушка. Бомбы и — лягушка! Какая дисгармония противоестественная!

Что-то крепко щелкнуло по моей пилотке. — Небольшой колючий осколочек. Тася вздрогнула.

— Не бойся, это — от зенитного снаряда. Легонький...

— Дай мне!

Я осторожно опустил осколок в карман. Она зашевелилась, села поудобнее, стала искать, выгатила, отобрала.

— На память! Скоро мы расстанемся, я знаю. — И сунула ладошку в мой рукав. Какие у нее пальцы! Ма-

ленькие и мягкие-мягкие... Только кончики чуть зашершавлены. От картошки.

Как она чувствовала! — На другой же день, едва успел «до свиданья» выговорить, — бегом приказали в машину. И так нелепо вышло, тоскливо: отъехали чуть к углу, к перекрестку и застряли — пробка! Со всех сторон приткнулись моторы, ревут. Треск, крики!..

Протискался к заднему борту. Тася стоит, прислонившись к щелястой калитке, у домика, куда я ее устроил. Смотрит в мою сторону, подойти не может: тоже и сзади нас целая лавина на колесах накатилась. Встретились глазами. Так и стоят они передо мной, ее глаза, черные, поблескивающие слезкой. Самые милые, самые удивительные глаза, единственные из тысяч других... Подумать только! Я оставлял ее в этом костре, может быть — на расправу советчикам, одну, беспомощную...

Проклятая пробка рассасывалась больше часу. Потом брызнул дождь, частый, крупный, настоящий ливень. Тася вошла во двор. Калитка скрипнула... Нет, не мог слышать, как скрипнула, — это, верно, в груди у меня скрипнуло... На всю жизнь...

16 июля.

Забросил дневник надолго. Причины разные, а главное — настроение такое, что избегаю уединяться; когда один — приходит страшная тревога... По ночам — тяжелые сны и еще более тяжелые предчувствия.

Вчера здесь служил священник Киселев. Очень хорошо служил. Рядом со мной стоял Жилин и держал себя, как мальчишка: то и дело посмотрит на меня и подмигнет.

— Вы что подмигивали? — спрашиваю, когда вышли.

— Так... Я ведь дуром заскочил. Долгогривых не одобряю. Неверующий. А ты?

Мне почему-то стало неприятно и неловко разговаривать с ним. В самом деле он ничего не чувствовал во время богослужения? Или только прики-

дывается? Потом вспомнил, что еще лет семь назад, подростком, я тоже был совершенно равнодушен к религии. Даже в «Юном безбожнике» состоял...

— Нет, я верующий!

Бор. Гавр. уехал со своей командой. Передают, будто вопрос наш решен: мы все будем рассматриваться, как американские «хиви». Будто бы американский комендант экстра просил подождать с побегами.

18 июля 1945 г.

Вчера в 5 часов вечера в Потсдаме, в Сансуси, открылась «конференция трех»: Сталин, Трумэн и Черчилль.

10 августа

Ничего нового. Страшно треплют нервы советчики. Зачастили. Произносят доклады и чуть ли не ордена обещают тем, кто вернется.

До какого предела может изолгать человек! В результате всех их стараний записалось на возвращение приблизительно 100 человек (это около 3% от общего числа).

*

Один из приезжавших советских лейтенантов заявил: «Хотите-не хотите, всех вас в ближайшие дни вывезут принудительным порядком!»

Все взволнованы. Почему-то одновременно с этим заявлением американцы произвели в лагере обыск, искали оружие. Итог: несколько пистолетов. Вот думается: будь у меня оружие — никогда бы не отдал и уж постарался бы спрятать получше, чтобы не нашли. Особенно — если бы маленький, офицерский браунинг! С такой штучкой легче дышится. Знаешь: живым не возьмут!

*

Заболел ангиной, горло распухло так, что с трудом могу говорить. Остался один: наша рота уехала на сельскохозяйственные работы. Много ходил, думал, читал вслух любимые стихи...

24 августа.

Переехали в СС-казармы в город Регенсбург. Всё еще нездоров. Гло-таю отвратительные таблетки...

Новая встреча: Петр Петрович Сомов.

Он всё такой же, как был в Старгороде. Очень живой, горячий и славный, только еще больше стал держаться подбородком. Чувствую, что он будет очень дорог для меня. Он говорит немного по-английски, и его всё время тормозят. Мы устроились вместе: наша тройка и еще поручик Жилин. Заняли две двухэтажные кровати рядом. Получилась как-то четырехместная, как на пароходе. Спим пока на голых досках.

Вчера вечером заполнили анкеты с вопросом, кто где желал бы жить и в качестве кого работать. Хороший знак?

В бараке шумно: крик, споры, мат так и висит в воздухе. Только в нашем «карре» спокойно. Я так назвал четверку наших мест по термину из игры в покер. Научил нас Ф. Ф. Я никогда не думал, что это такая увлекательная игра. «66» перед ней — что «пьяницы». Петр Петрович Сомов, как я и предполагал, оказался душой нашей маленькой компании. Для меня особенно. Я и Ф. Ф. занимаемся с ним английским языком. Еще он наметил 1 час в день — беседы по политике и философии. Ф. Ф.: вызвался читать краткий курс русской истории. Получается маленький университет. Я твердо решил использовать время для пополнения своего образования. Пусть неизвестно, что будет, но нельзя поддаваться апатии.

У нас организован теперь сбор помощи с воли, от знакомых и вообще земляков — это немного поддерживает в части питания.

К некоторым из наших являются знакомые, вызывают на свиданье у ворот...

2 сентября.

Сегодня в Токийской бухте, на борту линкора «Миссури», подписана ка-

питуляция Японии... 2-ая мировая война окончилась.

*

Снова стали приезжать советские офицеры с пропагандой и записью. В связи с этим — волнения. Многие начинают следить друг за другом, искать в соседях «прокоммунистические настроения». Противно!

Кое-кто из старых эмигрантов перешел в югославский лагерь (Юрка-портретист в том числе). П. П. тоже из Югославии, но пока остается, что меня чрезвычайно радует. Он дал мне замечательную книгу: В. Шубарта «Европа и душа Востока» на немецком языке. Я читаю ее, и потом мы беседуем по прочитанному.

*

Слава Богу, стали очень хорошо кормить: ежедневно пол-литра какао и настоящий кофе!

Продолжаю прорабатывать Шубарта, и вообще план, который наметили, пока выдерживаем. Вечером вчетвером — в покер. П. П.-чу очень не нравится Жилин. Он в самом деле пустой, хотя и добродушный, и любит хвастать. Хвалится тем, что весь почти 44-ый год разъезжал из одной части в другую, беря под разными вымышленными предлогами назначения: в Брюссель, в Париж и т. д. «Галопом по Европам! Зато, ребята, всё посмотрел!» — говорит он, а П. П. хмурится.

20 сентября. Лагерь Регенсбург

Идет частый серый дождь. Собственно, уже осень. А лета я не видел — так оно пронеслось. Лето за проволокой! Последние два дня почти не мог себя заставить сосредоточиться на чтении. Просматривал фотографии и долго не хотелось прятать в бумажник единственное фото Таси. Что с ней?..

Вечерами продолжаем в покер. У Жилина непонятным каким-то образом оказался набор булавок разного размера с цветными стеклянными головками. На них и играем. Назначили: за маленькую булавку — 10 пфенни-

гов, побольше — 20, а самые крупные называются генералами и стоят 1 марку. Каждый выбрал свой цвет; накалывает булавки перед собой, стараясь составить понаряднее узор. Мои — голубые.

Наблюдаю, как сказывается при игре характер. Ф. Ф. всегда спокоен и почти никогда не блефует, а ставит наверняка; если много — значит у него по крайней мере фуль. П. П. играет азартно, но не узнаешь, что у него. У Жилина при хорошей комбинации потеет бисеринками лоб... А как у меня? Мне кажется, на моем лице все карты отражаются... Надо воспитывать в себе волю.

15 октября.

Никаких изменений в нашей заповолочной жизни. К слухам начинаем привыкать. Первым их приносит Жилин и вышептывает, дыша в лицо табаком, за что называет его П. П. «информбюро».

Говорят, что кое-кто из уехавших на Родину по вербовке бежали обратно из концлагерей, устроенных еще до нашей границы. Будто бы большинству дали по 10 лет.

21 октября. Лагерь Регенсбург.

Кончил книгу Шубарта (выпустил несколько глав). Решил, по совету П. П., записать кратко важнейшие положения.

III. считает, что мировая история объясняется сменой господствующих эонических (эон — эпоха) прототипов. Таких прототипов он намечает четыре:

1. Г а р м о н и ч е с к и й человек чувствует свою внутреннюю гармоническую связь с миром. Он созерцателен, покоен, не ищет бури. Таковы — древние греки, а позже — христиане в средние века, в период готики.

2. Г е р о и ч е с к и й человек не знает гармонии в мире и в самом себе. Он стремится организовать мир по-своему, подчинить себе. Он всегда в действии, никогда — у цели. Это — древний Рим завоевателей и европейские

(неславянские) народы сегодняшнего дня.

3. Аскетический человек — отшельник, отвертывающийся от мира. Ш. называет, как пример, индусов.

4. Мессиянский человек — стремится к созданию на земле высшего, божественного порядка, хочет восстановить утраченную гармонию. Таковы славянские народы и прежде всего — русские.

По мнению Ш., готическая эпоха сменилась эпохой прометеевской, господством героического человека, отказавшегося от Бога, обратившегося полностью к земному. Эта эпоха приходит теперь к концу, и мы живем в полное пустоты и страха время. На смену идет эпоха мессианского иоаннического человека, возвещающего возврат к Богу, вообще — примирение, гармонию. Будущее принадлежит славянству, носителю этих иоаннических черт, а Запад должен слиться с грядущим с Востока «новым».

Проблема Востока и Запада — это проблема души. Восток, сохранив основы гармонического духа, должен одухотворить Запад, который их утратил.

«Европа есть царство предметности, Россия — царство души», — пишет Шубарт. «Россия — единственная страна, которая может освободить Европу».

Кажется, это главный вывод из его книги. Есть в ней, по-моему, и неувязки: Ш. находит, что «коммунизм противоречит женственной природе русской сущности», а вместе с тем у него как бы выходит, что коммунизм укрепился в России, благодаря некоторым благоприятным особенностям, свойственным русскому народу...

*

Показал свою запись П. П.. Он похвалил и только несколько фраз поправил и заменил два-три слова. Насчет того, что Ш. как бы признает естественность большевизма в России, П. П. сказал, что я не разобрался в этом месте книги как следует. Стать было толковать, но тут они схвати-

лись с Ф. Ф. спорить и в такие углубились дебри, что мне окончательно все стало непонятно, и ничего не могу записать...

Беседы Ф. Ф. на темы политики и философии я считаю важным событием в моей жизни. Каким-то новым светом озаряются цели нашего движения, мои задачи в нем и самый смысл жизни. Крепнет вера в конечное торжество справедливости, любви и солидарности между людьми. Не знаю, что ждет нас. Может быть, гибель, но — погибнем, а правда все же засияет над землей:

«Дни безумия злого
Сосчитал уж стремительный рок,
И восстанья иного
Пламенеющий день недалек!»

(Сологуб)

*

Английский язык мне дается плохо. Вот, если бы самоучитель! Снова заполняли анкеты, предназначенные для американского главного штаба. В лагере был один американский офицер, немного лопатавший по-русски. Очень успокаивал, сказал, что хочет выяснить, как можно нас использовать, а в основном вопрос о нас решен благополучно. Дай-то Бог! Когда он уже уходил, кто-то спросил: как, по его мнению, будут развиваться дальнейшие отношения между США и СССР?

— Что же, — развел руками американец, — мы же в союзе с Иосифом Сталиным и вашим народом. Попробуем и дальше сотрудничать...

— Дуралей! — дернулся П. П. — Когда же убедятся, твердолобые, что русский народ и Иосиф Сталин понятия антагонистические! «Попробуем сотрудничать»... Попробуйте!

1 ноября.

Дождь непрерывно. В бараках холодно. Питание ухудшилось. Все унылые и злые. Брань, ссоры...

У Жилина нашлась какая-то «Зинка», — «машинисточка из Донбасса» — говорит он. Вызвала его сегодня на свиданье. Покуда собирался, при-

водил себя в порядок, рассказывал нам, как она выглядит без платья, какие у нее икры, бедра, какие упругие... и прочие подробности. П. П. задержался и, когда Жилин ушел, обругал его хамом. Не знаю, почему мне вздумалось заступиться, и я сказал, что Жилин, несмотря на его недостатки, все-таки неплохой человек и наш, т. е. — идейно против большевизма.

«Не будьте наивны, Володя! — рассердился П. П. — Учитесь разбираться в людях. У таких, как Жилин, никогда не было никаких идей. А в наших рядах очутились они случайно, потому что «взманили почести и знатность», немецкий мундир... К сожалению, их довольно много: прислушайтесь и приглядитесь кругом».

Кажется, что общая нервность и тяжелые условия занесли в нашу каюту бактерии вражды. Ф. Ф. вдруг начал возражать очень резко, и у него (как всегда, если сердится) сделалось неприятное лицо:

«Вы в первую военную зиму в лагере военнопленных не были? — напал он на П. П-ча. — В бараке, на морозе, во вшах тифозных, неделями без пищи не сидели? Тогда не «почести и знатность» волновали, а хлебная корка. Чтобы не свалиться, чтобы не раздели заживо и в штабель не выкинули... И когда стали предлагать попибающим людям записываться в добровольцы — это означало для них жизнь, а не мундир. Гороховый суп и тепло, а не «почести и знатность»... Надо самому пережить всё на собственной шкуре, чтобы иметь потом право в кого-нибудь из несчастных людей бросать камень»...

Спор затянулся надолго. Напрасный, потому что оба были правы по-своему, но говорили о разном...

*

Слухи: в Швейцарии будто бы организован комитет: Власов, Керенский и Митрополит Анастасий.

7 ноября.

Да здр-р-ра!... да здр-р-рас-с!!
Ур-р-а! Родному... любимому!... Раз с десятков ловили утром Москву и —

ничего, кроме славословия. Демонстрация. 28-ая годовщина Октябрьской революции!

Ур-р-а... мудрому!..

В антрактах между попытками услышать что-нибудь менее подлое, П. П-ч громил двух «коммуноидов». Записать всю его диалектику невозможно. Отмечу только два пункта споров.

Капитан Ф. превозносил советские промышленные достижения (кстати: почему он не торопится насладиться ими вблизи? Или, может, записался уже потихоньку на репатриацию, а теперь выполняет «задание»?).

— Достижения! Достижения! — подергивал вверх подбородком П. П-ч. — Все эти ваши цифры, диаграммы — демагогия, блёф! В основу кладется возмутительнейшая предпосылка, для дураков: будто без советской власти страна так и застыла бы на уровне 1913-го года. Ведь тридцать лет почти! Чудеса можно было сделать за это время! А что сделали вы? Чёрт мне в том, что построили пару автомобильных заводов! Кстати — плохо построили: в войну пришлось у американцев грузовики занимать. Зато — во что превратили деревню? Кормилицу, источник богатства? Опять-таки в эту войну американцы консервы должны были слать, чтобы русский солдат не умер с голоду. В Россию — консервы! Позор-р!

Достижения! Грыжевые потуги, рабский труд. — И страна голодная, разутая. Самый низкий в Европе жизненный стандарт...

Достижения! А я вам говорю, что если бы большевики не украли у народа февральскую победу — Россия цвела бы сейчас, как ни одно государство мира! Да, да! Мы бы мировой пожар народными денежками не растапливали, коминтерновских протитутков, захребетников по всему свету на свой счет не содержали бы. Да знаете ли вы, что на одни только награбленные по церквям да дворцам ценности можно было каждому мужику каменный дом построить? Ему нужен дом, он в землянках живет... Достижения!

Другой «коммуноид», поручик М., выдвинул в качестве достижения «уничтожение эксплуатации человека человеком!» Приводил цитаты с профессорским видом и вообще старался показать, что с Марксом — «на дружеской ноге».

— Вы думаете, вы — марксист? — уничтожал его П. П. — Вы просто попухай, извините. Не сердитесь: как старший замечая. Вы с Марксом знакомы по лубочному изданию ВКП(б) и по плакатам: пузатый буржуй в цилиндре и кулак в сапогах бутылками — эксплуататоры.

А на самом деле у Маркса эксплуатация определяется прибавочной стоимостью, т. е. тем, какую часть дохода хозяин кладет в карман себе, а какую уделает рабочему. И наплевать мне, кто именно мой хозяин: Форд или красный директор с партбилетом! Я знаю крепко: ни на одной плантации мира не изматывают людей так, как на плантации с плевелами коммунизма. Изошренно. За гроши, за ничто...

— Но работают люди не на хозяина...

— На мировую революцию! — Единственный шанс, который имеется у захватчиков, чтобы спасти свою шкуру... Знаем мы всё это! «Свободный труд», «массовый энтузиазм», «соцсоревнование»... Всё — зашитые клички, которыми прикрывается самое наглое человекоизнурение, живодерня. Клички гипнотизируют, конечно. Дураков. Черное и в самом деле начинает казаться белым. Но если вы интересуетесь марксизмом — рекомендую почитать Энгельса, первоучителя. У него в одной из книжек сказано: «Если мы половую щетку назовем млекопитающим — от этого у нее молочные железы не вырастут»...

*

К вечеру поймали концерт. Вот тут уже споров не возникло. Как пели!!

14 ноября.

Сегодня годовщина Пражского манифеста! П. П. делал по этому поводу

доклад, небольшой, но очень интересный. Он говорил о том, что идеи манифеста неизбежно воплотятся в жизнь, т. к. за них — весь наш народ и в них его будущее. Говорил, что наше ужасное положение — между двух звезд — только отражение такой же трагедии всего нашего народа; что бороться надо до конца и не падать духом...

Я рад, что теперь, слушая П. П.-ча, я так хорошо понимаю и в целом, и в частности задачи нашей борьбы: концентрация народных сил против большевизма, его уничтожение, построение Новой России на демократических началах и на основе национальной самостоятельности. П. П. является сам одним из творцов этой программы, и с его помощью мне стала ясна справедливость ее принципов...

Да, бороться, бороться, бороться с захватчиками, поработителями! За родину свободную, богатую, счастливую! Как жаль, что до сих пор так мало принес пользы великому делу! А теперь, может быть, уж конец, гибель... Но все равно: не ныть! Смело смотреть в лицо завтрашнему дню, чем бы ни угрожал!

«О, в этом испытании строгом,
В последней роковой борьбе,
Не измени же ты себе
И — оправдайся перед Богом!»
(Тютчев)

*

П. П. продиктовал несколько этических правил, которым необходимо следовать в порядке самовоспитания:

1. Никогда не лгать.
2. Ценить свое слово и исполнять данные обещания.
3. Быть настойчивым в достижении поставленной цели.
4. Быть скромным, скромность — одна из черт благородства.
5. Не завидовать никому.
6. Не видеть в других только плохое, учиться находить и хорошее.
7. Не лстить и не унижаться.
8. Не быть вульгарным.

15 ноября.

Только что пришел Жилин и сообщил, что в город явились советские войска (1 батальон), якобы — для вылавливания дезертиров. Что это?

*

Еще один подозрительный номер: в соседнем блоке спрашивали, кто считает себя советским подданным и кто нет.

— Там все поотреклись, — сказал Жилин. — Говорят, их будут отделять, таких. . .

— Тогда и мне переселяться придется, — заметил П. П. — У меня паспорт нансеновский.

— Чего там! Надо всем объявляться бесподданными, пускай тоже спрашивают!

Народ заволновался. Решили писать коллективное заявление, что не признают себя советскими. Как обычно, нашлись такие, которые усмотрели в этом «измену родине», принялись агитировать. Атмосфера раскалилась.

— Без ослов нигде не обходится, Володя. Успокойтесь! — сказал П. П., когда я стал возмущаться.

В самом деле: от своего народа я ведь не отказываюсь, а — от советского подданства. . .

«Читайте,
Завидуйте —
Я гражданин
Советского Союза!»

— писал Маяковский.

Нет, у меня этой гордости нет! Даже напротив. . .

*

В связи с общей тревогой по поводу советского батальона и опроса Ф. Ф. нервничает весь день, даже не старается скрыть. Мы уже сели за покер, и мне пришли четыре короля, а он всё прислушивался к соседским разговорам, вытягивал шею и забывал брать свои карты. П. П. довольно прозрачно заметил что-то насчет отсутствия мужества, без которого не только что освободительного подвига не совершишь, но и себя потеряешь. И тут произошла «вспышка». Ф. Ф. по-

бледнел, и у него сразу задрожали щеки и руки. . . Передаю его слова почти точно, потому что говорил он интересно и, по-моему, во многом прав.

«На какое мужество вы намекаете? — почти закричал он, бросив карты на стол. — Вы, прожившие двадцать пять лет на вольном воздухе? Мужество «вообще» — это абстракция. Существует мужество гражданина, революционера, мужество патриота, солдата. . . И все эти мужества у меня сожрало за эти годы НКВД. Как и у тысяч других русских людей. . . Да, я признаюсь, я, вероятно, не способен на подвиг. Какого именно подвига вы от меня хотите? Для каждого подвига нужно внутреннее его оправдание, цель. . . Я не думаю, чтобы родился трусом, я в Белой армии трусом не бывал. А вот когда приехал в эту войну на фронт, в окопы, так до последнего дня не мог подавить в себе страха. Я знал, понимаете? — знал, что мне некого защищать, не за что гибнуть. Мысль умереть за Сталина, за сохранение проклятого режима убивала всякий намек на отвагу, всякое желание подвига. Дальше: раненый, в плену, я мог бы с достоинством издохнуть от голода, не унижаясь, не прося помощи у немцев, которые — я видел по их лицам — презирают меня, грязного, шелудивого. . . Тоже было бы мужество, подвиг, по-вашему? А я пошел и заявил, что отец мой немец, хотя это была неправда. А я солгал, сподличал, не только потому, что хотел жить, но и потому, что не видел никакого подвига в том, чтобы безропотно присоединиться к трупам на свалке. . .

Теперь какой очередной подвиг вы имеете в виду? Подвиг освободительной борьбы? Я был готов на него, когда надел эту вот форму, хотя я и не могу честно, положив руку на сердце, сказать, что верил в успех дела и не терзался противоречиями. Но я был готов. . . А теперь. . . Ведь через час, может быть, или завтра, или через неделю посадят тебя в телячий фургон и повезут в застенки. Какой подвиг в том, что я при этом стану гордо заки-

дывать голову? Кому это импонирует? Миру? Палачам? Поэтические времена гильотины миновали. Даже на виселице можно еще умереть гордой человеческой смертью, а тут... Вы бывали когда-нибудь в лапах НКВД? Нет? А я бывал дважды»...

Он задохся, помолчал, а потом продолжал как-то глухо, и теперь голос дрожал у него:

«Смерть... Ну, пусть, если я заслуживаю смерти, присудят меня здесь к расстрелу, к четвертованию. Клянусь вам, я не впаду в отчаяние. Буду знать: у меня хватит времени прочесть молитву, мне дадут возможность и письмо написать домой, жене и дочке... Да, у меня в Москве жена и дочка. — Написать им, как их любил, как тосковал без них, как умер... где умер... Найдется из немцев добрая душа, сохранит письмо и при слухае... — ведь будет когда-нибудь такой случай, не может не быть!.. — проникнет это письмо к моим, и узнают... И, как знать, может быть и могилку навестят. Ну, лет эдак через десять, пятнадцать... у немцев могилки сохраняются...»

А там... разве это смерть? Человеческая смерть? Разве вас там просто лишат жизни? Там истерзают ваше тело, измозжат волю, наплюют в душу, заставят обоглгать себя, предать и продать друзей, родных, самых близких, кровных своих... Превратят тебя в слякоть кровоточащую, слезоточивую, дрожащую, безвольную... и тогда пожертвуют тебе в затылок пулю и ночью закопают в какой-нибудь подлой яме, как закапывают падаль. И пропал след Федора Федоровича Плинка, волею Божией — человека, волею Сталина — клопа, которым интересуются только до того, пока не раздавят...

17 ноября. Суббота.

Плохо спал ночь. Ф. Ф. во сне плакал. Мне же, когда задремывал, снилось всё что-то безобразное. Между прочим — крысы необыкновенных размеров, суetyающиеся, хрюкающие,

вспотевшие от бешенства. Интересно, что П. П., как и я, верит в сны. Мы с ним беседовали уже несколько раз на эту тему, но сегодня он два часа читал мне лекцию об «астральном» мире. Очень интересно и глубоко.

*

Выяснилось, что наши генералы находятся в Ландсхуте. Тоже ждут решения судьбы.

20 ноября.

Пишу лежа на койке. Большинство спит. П. П. внизу курит, и лениво взбучает к потолку синеватый дым. Тоска. Или... я даже теперь и разобратся не могу, что это за чувство: тревога ли, одиночество... Три года назад в это время мы приехали в К., под Борисовым, и стали готовить рождественскую программу для местного театра. Я читал тогда «Стрелочника», а Тася пела «Землянку», это вот:

«Мы с тобой далеко-далеко,
Между нами поля и снега.
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти четыре шага...»

И пела она эту вещь (я не запомнил хорошо слова) так, будто знала, что такой станет скоро наша с нею действительность.

Любимая! Нас с тобой разделяет и расстояние и неизвестность... Помнишь ли ты меня? Услышим ли мы когда-нибудь друг о друге? Бог один знает это. Что бы ни случилось со мной, я всегда буду молить Его сохранить тебя от смерти и ужасов. Живи, будь счастлива, родная моя!

«Догорают мечты бесполезные,
Вот и жизни пора догореть,
Не теперь, в наше время железное,
О несбывшемся счастье жалеть».

Скоро исполнится мне 22 года. Неужели в 22 года «жизни пора догореть»? Жить-то и не успел совсем. Жить хочется! Выписал эти стихи из своей тетрадки (плохи они?). Стихи — мой «пунктик», как сказал однажды

Ф. Ф. По его словам, я наштампован стихотворными кусочками, как жаркое салом. Правда, я много читал и много знаю стихов. Ф. Ф. замечал еще в дружеской самокритике, что у меня склонность к сентиментальности, иногда даже кажусь другим смешным. Но не в этом дело: стихи удивительно передают настроение: найдешь подходящие строчки, прочитаешь вслух или запишешь — и кажется, все выразил, высказался, и будто легче на душе... А сентиментальность... — Я стараюсь ее изживать. Как будто есть некоторые успехи.

Последние два дня усилились слухи, что из этого лагеря нас отправят в другое место. Все в тревоге: вдруг это место — по направлению на восток? Советчики в городе.

В нашей каюте — как в ракушке: снаружи — прибой, волнение, а у нас тихо, как правило. Только иногда захлестывает: приносят, например, немецкие или английские газеты, просят перевести, а потом загорается обсуждение...

Понятно, что все нервничают, но споры и брань опротивели. Сегодня вот громили двух монархистов, утверждающих, что спасение России — в самодержавии. Я не согласен, но почему затыкать другим рты? Откуда нетерпимость такая? Следы советской выучки?

*

Тревога улеглась. Разузнали, в какой лагерь собираются нас перевозить. Это где-то в нескольких часах езды отсюда. Еще внесло успокоение, что выдали по 5 пачек табаку. Все дымят.

25 ноября 1945 г.

Лагерь Платтлинг.

На новом месте. Приехали позавчера. Гигантская площадь, обведенная колючкой. Разделено на десять загонов (блоков). В каждом — бараки, холодные и необыкновенно грязные. Некоторые не достроены до конца... Окна кое-где без стекол, забиты, тьма.

Вышки, вышки, вышки... В первую же ночь учинили стрельбу трассиру-

ющими пулями. Знай мол: отсюда не уйдешь!!

Городишко Платтлинг, подле которого находится наш лагерь, лежит при впадении Изара (опять Изар!) в Дунай. Летом здесь, должно быть, красиво, но сейчас серо, и вообще — не до пейзажей. Говорят, Платтлинг подвержен наводнениям. Пять лет назад случилось одно грандиозное: подняло Изар, хлынуло в канализацию, потом прорвало дамбу и затопило весь город. На лодках людей спасали.

— Вот если бы наш лагерь смыло... С охраной вместе! — сказал Жилин. — И выплыли бы мы в Божий свет, на волюшку...

Значительно хуже с питанием. Беспокоят частыми проверками (подозрительно!). Мы опять, как и прежде, устроились в том же составе в «каюте». Чистили, убирали, сделали столик между кроватями. Стало чуть уютнее.

15 декабря.

Все по-старому. Параши без конца (парашами называются здесь слухи. — Очень метко, по-моему: распространяются так же стремительно, как запахи, и так же, обычно, неприятны). Утром: достоверно вывезут в СССР. Вечером: американский комендант торжественно обещал, что этого не будет. Так — все время. Возобновили с П. П. беседы. Вернулся с командой (довольно поредевшей) Бор. Гавр. Бог-ский. Мы предложили Жилину поменяться с ним местами, но Ж. обиделся очень. «Уж привык к вам, друзья, что ж вы меня выпшвырнуть хотите!» — Нам стало его жалко.

*

Вечер. Ф. Ф., как «падший ангел» (выражение П. П.), сидит на койке, обхватив лысину обеими руками, локти — в коленки.

— Может быть — в покер, Федор Федорович?

— Да, давайте... У кого карты? Вот если бы мозги можно было тоже на время под подушку прятать, чтоб из-

бавляться от мыслей... Вы не знаете Майкова, Володя, «Три смерти?» Незаслуженно забытые стихи. Сейчас вспомнил вот это вот:

«Жизнь хороша, когда мы в мире
— Необходимое звено,
Со всем живущим заодно,
Когда не лишний я на пире,
Когда, идя с народом в храм,
Я с ним молюсь одним богам» ...

Да! Вот я и думаю: одним ли богам со своим народом мы молимся? Не разным ли?

— Гм... — сказал П. П., садясь за столик. — Сдаю.

— Минуточку... Там дальше тоже про нас. Только я позабыл уже, перевру, наверно:

«Но если жизнь, с тобою розно...»

— Нет, не помню, вылетело...

«Когда указывает пальцем,

Тебя завидя далеко...

О, жить отверженным скитальцем,

Друзья, поверьте, не легко...

К тебе иду, Сократ, к тебе» ...

«А не спятит он у нас, как ты полагаешь?» — шепнул мне Жилин, расставляя свои булавки.

20 декабря,

Сегодня день моего рождения. Минус 22, а по документам — 20 (это еще со времени, когда был в немецком плену и «ловчился» освободиться по несовершеннолетию). Получил подарки: от Ф. Ф. пачку сигарет и «Алые паруса» А. Грина (кто-то ему принес), а П. П. подарил несколько маленьких книжек стихотворений (А. Ахматова, М. Волошин и др.) и электрический фонарик. Несмотря на это, целый день был плохо настроен. Вспомнил тех, кто должен (если жив) сегодня думать обо мне и кого я наверно потерял навеки. Потом немного развлекся, играя в покер.

*

Лагерь Платтлинг.

Рождество по новому стилю.

Было богослужение. Церковный хор под управлением Б. Яковлева. Пели хорошо, все расчувствовались, осо-

бенно на «Херувимской» Чайковского.

Слушая, я думал о том, что истинно верующие не боятся судьбы, а верят в милость Божию и в то, что Он ведет нас. Решил в дальнейшем не поддаваться чувству страха, стараться помириться с мыслью о том, что смерть ведь рано или поздно неизбежна...

П. П., словно угадав мои мысли, привел вдруг следующую цитату из Шекспира («Юлий Цезарь»):

«Из всех чудес, которые случилось

Мне видеть, мне одно чуднее всех:

Что люди так боятся смерти, зная,

Что смерть как неизбежный наш конец

Придет сама, когда пора ей будет».

Омрачает эту мысль другая: смерть у советчиков, как ее описал недавно Ф. Ф. Но надо преодолеть и этот страх...

28 декабря,

Прочитал «Алые паруса». Замечательно, по-моему. В Москве у меня была «Дорога никуда» Грина. Но «Паруса» лучше. Сказал об этом П. П.-чу, а Жилин усмехнулся, обгрыз мясо на колбасной шкурке и утер рот рукавом:

— Паруса сто лет как отставлены. Теперь теплоходы! И в любовь люди по-другому играют. Чудак этот Грин ваш...

— Не чудак, а художник! — задержался П. П. — Художник, понимаете? Да — где вам! Привыкли «без парусов» в своей Совдепии... Я рад, что у Володи не вытравлена тяга к романтике. И вообще — у молодежи нашей. Бедные, как живут! Нужда, страх... мысль и творчество — от сих пор до сих. Серость во всем. Мир одногранен, мечту — по боку, соси пропагандную портянку. Чудовищно! Однообразие убивает. Заманчиво, целительно — только новое, неизведанное...

«Счастлив, кто падает вниз головой,

Мир для него, хоть на миг, но иной!» —

— писал Ходасевич. Гипербола, но...

— Пусть он и бросается с крыши, ваш Ходасевич. — А мы уж на ногах постоим...

— Потому что вы — колбасники, Жилин. Вы — за коллективное потребление калорий и политграмоты. По плану ... Оно и хорошо: я уверен, что советчину погубит ею же выращенная почти астрономическая пошлость. Пошлость — это и есть однообразие, результат плоскоступия мозга, — однообразие, возведенное в принцип жизни...

Записал разговор почти дословно. Интересно! Потом П. П. много говорил еще о символизме и о мистическом. В самом деле: как бедны люди, для которых существует одно материальное, лишь то, что можно пощупать!

31 декабря.

Только что пришел из соседнего блока. Слушал московское радио. По нашему в 10 часов куранты на Спасской башне стали отбивать полночь — и сердце так и покатилося. Москва живо встала перед глазами. Зимняя, ночная: Красная площадь ... морозец... снег хрустывает под подошвами. Василий Блаженный в прожекторах с Исторического музея — розовый с фиолетовым. С ГУМ'а снопы света — на Кремль, и стена — серебряная. Кругом вдоль нее — лапки елок. Москва! Башня в зубчатом ожерелье, и еще колено, и еще, поуже и почернее, на синем с золотом небе ... И даже эти безвкусные бомбоньерки вместо орлов не в силах испортить целое. Москва!!

Хорошо у Есенина:

«Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях,
Золотая, дремотная Азия
Опочила на куполах...

И дальше:

Низкий дом мой без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох,
На московских изогнутых улицах
Умереть не судил мне Бог..

Переделал последнюю строчку. Неужели — так? Неужели никогда

не увижу тебя, моя Москва? Родных, маму?

Зовут встречать Новый год. Старому, страшному, 1945-ому, осталось только 50 минут жизни.

1 января 1946 г.
Лагерь Платтлинг.

Новый год! Вот я вчера назвал старый «страшным», а что принесет Новый? Не окажется ли еще страшнее? Но на всё это воля Всевышнего. Он всё решает. Видит всё, слышит всё...

Встреча вышла довольно оживленная и сытная по нашим обстоятельствам. Ходили к Бор. Гавр-чу в соседний блок. У него там было весело. Между прочим один молоденький подпоручик с красивым тонким лицом каким-то образом соорудил себе женское платье и на голову — тюрбан, подгримировался и кокетничал, изображая даму. За ним ухаживали, говорили комплименты. Поручик К. увивался и пел:

«В одиночку мы не любим ночью спать,
Тянем бабу мы с собою на полати,
Чтобы было, на кого...»

и дальше совсем неприлично. — Это так он перевел немецкий шлагер из фильма «Die Frau meiner Träume», который я когда-то, год назад, смотрел в Егере. Сразу вспомнилось, как я мечтал тогда о вступлении в РОА, о деятельности. И вот такой бесславный конец этой мечты, этой деятельности...

В 12 загрохотали американские пулеметы с вышек, приветствуя, Новый год. Но стоят эти пулеметы не для новогодних салютов, а угрожая смертью — нам!!

Затем Бор. Гавр. рассказывал воспоминания из своей московской жизни: о том, как его заставляли быть осведомителем НКВД и смотреть за одним его другом и как он в конце концов отплевался от чекистов, прикинувшись дурачком на манер бравого солдата Швейка. Еще — один случай во время демонстрации. Он пел в самодеятельном хоре, и вот

они со своею колонной проходят по Пречистенке. Запевалой у них — некий Андриюшка, наборщик по профессии. Парень приглуповатый, но бас протодьяконский. Начальник колонны и говорит:

— Андриюшенька, сейчас мимо райсовета проходить будем. Там с балкона приветствуют.. Подбери песенку!

— Ладно, — отвечает Андриюшка. — И затягивает народную бурлацкую, которую любил петь Шаляпин: «Ты взойди, взойди, солнце красное». А когда дошли до приветствующих (д. № 14), выходило петь как раз четвертый куплет. Андриюшка и громыхнул было, не подумавши:

«Мы не сами-то идем - идем,
Нас нужда ведет,
Нужда го-о-ркая» ...

— И ведь как громыхнул! — рассказывает Бор. Гавр., — на весь квартал! Только смотрит: мы его не поддерживаем. Так, пискнул, квакнул кто-то, да и примолкли все.

До Кропоткинских ворот не дошли — откуда ни возьмись, заходит в эту нашу музыкальную паузу человек какой-то в плащике, берет Андриюшку за локоть и кивает: отойдемте, мол, гражданин, в сторонку.

— Ну?

— Ну, только мы его с тех пор и видели ...

8 января. Платтлинг.

Прошло наше Рождество. Такого нерадостного Рождества я не переживал еще. Т. е. по внешней обстановке Рождество 41-го года, в немецком плену, было много тяжелее: голод, вши, тиф ... Я тогда, помню, еле держался на ногах. Теперь у каждого нашлось, чем отметить праздник, а в душе кошки скребут. Страх неизвестности, ожидание изо дня в день решения судьбы. И так уже — семь месяцев! Изо дня в день! Нет, в 41-ом году было легче! Кругом подлость. Вот пример: с воли привезли для нас рождественские подарки от добровольных жертвователей-земляков. Тонны три.

Жилин получил выделенное для нашего барака. Гляжу — вечером прячет под подушку коробку консервов и две пачки сигарет. Заметил, что смотрю, подмигнул:

— За работу, брат. И не хотел хватать — сами к рукам прилипли. Что ж, другие тырят ящиками. Без совести. Не зевай!..

И верно: на утро обнаружилось, что «специальная комиссия», распределявшая подарки по баракам, проворовалась. У самого «председателя», майора Ш., нашли столько припасов (консервы, сигареты), что хватило бы оделить целую роту. Дальше же вышло еще хуже: комендант блока, полковник П., видимо, имел причину взять жуликов под свою защиту, так что им ничего не было. Когда же решили сменить, он мобилизовал все советские методы провокации и доноса, так что «недовольных» американцы даже арестовали за «призыв к бунту» и «просоветскую агитацию» ... Разве не мерзость всё это?..

10 января.

Ходил гулять вдоль проволоки. Взад-вперед. Думал, пока в голове не зарябило. Возвращаюсь домой — у подъезда джип. В помещении — тревога. Спрашиваю: что такое? — Семерым нашим офицерам приказано садиться в машину. Куда?.. Ф. Ф. второпях объяснил мне, что перед машиной являлся советский офицер и требовал списки нашего блока и анкетные данные. Полковник П. отказал ему в этом, но всё вместе взятое (советчик и джип) произвело смятение. Семеро наших противятся ехать. Шум. Крики. Побежали к американскому коменданту лагеря ...

Пришел его помощник и заверил, что офицеров вызывают в американский генеральный штаб. Объяснил, что (как мы и предполагали) советчики явились без ведома и разрешения американских властей. «Если еще раз так явятся, — сказал он, — можете выгнать их в шею». Все закричали «ура»!..

11 января.

Гнусное освещение. Достаточное, чтобы не сталкиваться на ходу лбами, но — не для того, чтобы читать или писать. Этот вечный полумрак по вечерам угнетает. П. П. хотел провести в наше карре лампочку — не разрешили.

Пишу всё-таки... Жилин лежит на смежной верхотурке животом вниз. Уставился куда-то из-под припухших своих век и подвывает негромко:

«Расскажи, расскажи, бродяга,

Чей ты родом, откуда ты?

— Ах, да я не зна-а-ю,

Ах, да я не помню» ...

Этак подвывает он (всегда одно и то же), если нападет на него раздумчивость. Иногда и среди разговора затянет вдруг ни к селу ни к городу ...

Ну и настроение! «Как тяжело оказаться «между», за бортом жизни! Жертвой «самых подлых в истории политических провокаторов», — как называет Ф. Ф. большевиков. Неужели мы — преступники? А с у д ь и к т о ?

Это ведь вот и обидно: «коллаборантами» нас, идейных борцов против коммунизма, обзывают не только советчики, мастера на ярлыки, но и так называемая демократическая печать. Даже немецкая (и немцы туда же!).

По поводу «ярлыков» вспоминаю А. Ф. Заряжского. «В слове, — говорил он, — есть таинственная, заклинающая сила. Возьмем хотя бы ворожей, «заговаривающих» кровь ... Слово может очаровывать, слово может пугать. «Буки» боятся дети; слов с непонятным значением боялась купчиха из пьесы Островского ... Эти свойства слова используют отчасти жулики рекламы: придумывают звонкое название для какого-нибудь патентованного средства, и обывателю вдруг кажется, что именно в этом вот звучании — его спасение от несварения желудка.

Жулики пропаганды особенно ловко пользуются заклинающей силой слова для изготовления ярлыков. «Саботажник», «вредитель», «враг наро-

да» и сотни других — всё это слова без полноценного содержания, но с впечатляющей окраской, нужной пропагандистам» ...

«Коллаборанты», «коллаборантство»!

Должно быть, от горькой обиды все спорят о том, что собственно это значит? Каждый горячо отбрасывает от себя обвинение. Сегодня по этому поводу разгорелись прения и у нас в каюте.

К троем из нашей четверки ходят знакомые, вызывают на свидание. К каждому, кроме меня!..

12 января.

Решил записать вчерашний спор: хочется зафиксировать мысли людей, которых я так высоко ставлю (П. П. и Ф. Ф. — главным образом).

Кажется, дискуссию нечаянно заварил я, вспомнив снова девушку — чешку из Егера, которая упрекала меня за то, что я, русский, иду с немцами. Стали уточнять, что заставило нас надеть немецкую форму.

«Я, — сказал Ф. Ф. (передаю приблизительно), — считал и считаю пораженчество законной формой борьбы с ненавистным народу правительством. Союз с Гитлером при всех условиях был меньшим злом, чем оказание поддержки Сталину.

— Правильно! — перебил Жилин. — Гитлер, скажем, чорт, а большевизм — тысяча чертей!

«Даже если взять самое худшее: захватническая политика немцев привела бы к временному ограничению национальной независимости. Я не верю в возможность поработить Россию, но — допустим. И всё-таки это было бы лучше ига Сталина, потому что немецкое засилье было бы внешним, охватывало бы политику, экономику ... А большевизм означает рабство универсальное, убивающее душу, рабство гибельное, как гангрена»...

П. П. возражал резко и очень подергивался. Он говорил, что верить в

победу немцев в этой войне было по меньшей мере наивно, а мириться с их планами порабощения России даже и преступно. Тактический союз с Гитлером, по его мнению, оправдывался как средство, чтобы на оккупированной немцами территории пробудить и объединить национальные антибольшевистские силы. С помощью немцев и несмотря на немцев. Трагедия — в том, что удалось это сделать лишь частично и слишком поздно. Если бы РОА сложилось раньше, союзники, разбив немцев, стояли бы перед фактом начала национальной революции и уж, конечно, не стали бы поддерживать сталинский режим ...

Я тоже высказал свое мнение о колаборантстве: кажется, в некоторых случаях было оно неизбежно и даже благотворительно.

В самом деле: на такой громадной площади, с миллионами населения, особенно — деревенского, как можно было во время оккупации обойтись без посредничества отдельных русских? Возьмем хотя бы переводчиков. Ведь, где нехватало переводчиков — там и били, и грабили без удержу. Немцы с нашими не стеснялись, не то, что, скажем, с голландцами, бельгийцами и прочими, на Западе... К тому же большевики намеренно провоцировали конфликты... И переводчики спасали людей. Дальше: есть переводчику нечего — давали немецкий паёк; штаны изнашивались — давали немецкие из цейхаузного старья. И колаборант был готов... Без местных русских управлений тоже никак нельзя было обойтись: в городах голодали. Конечно, всюду пролезло много гадов, это верно, но были и честные. И если бы эти честные отказались от посредничества — что получилось бы? Немцы с голоду и от беспорядка не погибли бы, а наше население?.. Что большевики теперь таких «колаборантов» вешают — это понятно: большевикам чем больше при немцах было безобразий, тем выгоднее, ну а по человечеству никакого преступления эти люди не совершили, даже наоборот»...

Диспут оборвал Жилин, принесший сведения об увезенных американцами наших офицерах: их доставили прямо в штаб. Сведения сегодня подтвердились.

13 января.

Необыкновенно радостное событие! Утром прибежал Жилин и сообщил, что меня вызывают на свидание. «Девушка!» — сказал он и прищелкнул языком. Я не могу описать состояния, в котором бежал до ворот. Бежал как в бреду! Самые невероятные мелькали надежды ..

Это была Нина! Всё такая же, как в Минске: свеженькая и с веснушками чаще моих, рыжеватенькая, как подсолнушек.

— Ты знаешь * что-нибудь о Тасе? — спросила она одним выдохом, сналету, и как водой холодной облила. Я-то на нее надеялся ...

Нина о Тасе ничего не знает. Рассталась с ней 1 августа 1944 г., под Берлином, в Дабендорфе. Потом уехала работать в казино при одной летней части, а Т. собиралась устраиваться в прислуги. Конечно, тоже эвакуировалась! Конечно — если не случилось несчастья при постоянных берлинских бомбежках... Чтобы она захотела бы с советчиками... нет, нет! исключено полностью! Значит — где-нибудь здесь; может быть, поблизости. Здесь!! Господи, благодарю Тебя за новую надежду!

Мы с Ниной говорили больше часу, пока она не затормошилась — на поезд. Вечером у нее работа — тоже в казино, только в американском. Живет в Мюнхене и встретила еще трех или четырех наших общих знакомых, в том числе и Дунина, который очень хорошо устроился при одном немецком варьете.

Нина обещала навещать каждое воскресенье.

Вечером пересматривал свои фотографии. Пробовал писать стихи...

Какая великая вещь — надежда!

15 января.

Уехал в другой лагерь П. П. Сомов. Кажется, он там будет уже не на положении пленного, а работать у американцев, т. к. умеет немного говорить по-английски. Его отъезд — большой удар для меня. Кончились не только беседы, но я потерял советника и наставника в жизненных вопросах. Ф. Ф. я очень уважаю, но это — совсем другое. И, главное, он сам так потерян сейчас. Ему обещали доставить гражданский костюм, и он ни о чем другом не думает.

П. П. сказал, что будет навещать и «ни на минуту не выпускать из виду» меня и мою судьбу.

Дождь и какой-то с ледьшками. Утром всё замерзает. Тоска. В нашем лагере американских постовых заменили поляками, которые немного понимают по-русски (хороший знак?)

*

Видел страшный сон. Страшный особенно тем, что уж один раз снился (это еще в Егере). Конеч совсем одинаков: красноармеец - чекист с малиновыми петлицами бьет меня по голове прикладом — и просыпаюсь.

Приняли на свободное место в нашу каюту Бор, Гавр. Бог-ского.

21 января, понедельник.

Ждал вчера целый день Нину. Не пришла...

Сегодня потрясающее известие по радио: будто бы в лагере Дахау выдали большевикам таких, как мы, «военных преступников». Вы-да-ли! 20 человек из них, запершись в баракке, сожгли себя заживо, чтобы не попасть палачам в руки.

Вечером известие подтвердилось...

Двадцать героев! Они обнажили перед всем миром страшную русскую трагедию: люди предпочитают огненную смерть выдаче... Но как же теперь — с нами? Значит и нас будут выдавать?

Места себе не находим в тревоге...

.....

23 января.

Лагерь Платтлинг.

Сегодняшняя заметка в „Isar-Post“ в связи со случившимся в Дахау: «Генерал Мак Нарвей заявил, что в американской зоне Германии находится около 20 тысяч бывших советских граждан, подлежащих насильственному, если потребуется, вывозу в СССР. Это дезертиры или добровольно сражавшиеся против союзников. Советские власти представили данные о каждом из этих «кригсфербрехеров» и совершенных ими преступлений...»

*

Все как в лихорадке. Страшные события, повидимому, надвигаются...

25 января.

Два дня на положении приговоренных к казни! Два дня ждем с минуты на минуту выдачи! 1 000 советских солдат прибыло с этой целью в город. Это выйдет — как в Дахау. Всё ясно! Ясно, как рассматривают нас американцы, что собираются сделать с нами...

Сегодня под утро, когда все спали, вбежал в барак один из наших и закричал: «Братцы, вставайте! Нас утром выдают! Братцы, опасность!!» — и с тех пор кровь так и не согревается в жилах. Днем (в пополнение к советским частям) прибыло 4 роты американских солдат. Отправлять очевидно станут завтра утром. Говорят — 1 200 ч-к. Говорят — в первую очередь из нашего блока.

Сейчас уже ночь. Большинство спит. Половина лежат одетые. Ф. Ф. сидит и похрустывает пальцами. Боже мой! Всего несколько часов отделяют от гибели! Что делать? Господи! Отведи от наших голов этот кровавый ужас! Не допусти, Господи!

.....

26 января.

Известие о советских войсках оказалось ложным. На этот раз — прореклось. Все вздохнули, но целый день

апатия и какая-то тупая боль во всем теле, как после копания бомбоубежища. ... Только отсрочка?

27 января.

Приезжала Нина. Прошрое воскресенье у нее было дежурство. Привезла сардин, сигарет и игральные карты с красивым узором на обороте. Видела Дунина, и он обещал приехать тоже в следующее воскресенье. Я просил Нину поговорить с ним: не может ли он достать мне на всякий случай гражданскую одежду. На всякий случай ... — Какой?

Официально сообщили из комендатуры, от имени коменданта лагеря г. Г - р, что в ближайшее время к нам явится комиссия для персонального опроса каждого из нас и решения всех вопросов. От этой комиссии зависит наша жизнь.

*

Говорят, мировое общественное мнение возмущено происшедшим в Дахау. Папа римский заявил протест. Наши русские друзья на свободе хлопчут, составляют просьбы, воззвания ...

30 января.

Ф. Ф-ча вызывали на свиданье. Вернулся он бледный. Отозвал меня в сторону:

— «Володя, не распространяйте дальше: всех выдадут. Вопрос уже решен. Авторитетные люди были у генерала Трускотта и узнали это совершенно достоверно. Спасение одно: воздействовать на комиссию. Думайте, готовьте свое выступление ...»

Известие и без нашей помощи распространилось мигом. Комиссия — месячная отсрочка выдачи, произведенная по настоянию американцев, вопреки требованиям большевиков.

Вчера прибыло человек 50 из Дахау, большинство — старые эмигранты и еще некоторые, которых отставку отставили, когда они уже сидели в машинах. Вот цифровые данные о дахауской трагедии (не знаю, верно ли): выдано 85 ч-к, из которых бежа-

ло 6 по дороге. Больше 150 человек покончили самоубийством или ранили себя. Раны были кошмарные, немецкие хирурги зашивали гоюла; одному, говорят, даже сердце зашили.

Все в ужасе. Ужас, как дым, висит в воздухе.

2 февраля.

Говорят, что приехала комиссия. Говорят — состоит из 12 человек. Есть ли среди них советские? Некоторые уверяют, что будут, но только переодетые в американскую форму.

Недавно вывели всех немцев, которые сидели в нашем лагере: эсэсовцев, фольксдойтше и других. Венгров тоже. Большинство блоков пусто. Только наши остались (1-ый, 4-ый, 9-ый). Подготавливают!!!

Перегнулся вниз, посмотреть, спит ли Ф. Ф. Хотел спросить, как думает он о предстоящем ...

Не сразу разобрал, что он делает; разобрал — осторожно подтянулся назад, чтобы он не услышал: сидит с иголкой. Зашивает что-то, обернутое свинцовой бумажкой, в подкладку куртки, в уголок полы.

Что — догадаться нетрудно: лезвие, конечно. Лезвие от безопасной бритвы.

Иголку протаскивает так неумело, что даже и глядеть смешно. Нет, какой уж тут смех! Господи!..

*

Совершенно уверен, что в скором времени предстоит что-то страшное. Стараюсь, но не могу перебороть себя и не поддаваться предчувствиям... Думаю: чем я лучше других? Чем лучше — тех, из Дахау? Почему меня может пощадить судьба? Рок висит над несчастными русскими изгнанниками. Разве не трагична участь Наташи З..? А сам А. Ф. Заряжский, верно, умер уже от чахотки...

Вот — из разговора с Ф. Ф. насчет Заряжского: «Какой счастливцев! Всю жизнь ему везло! Заболел и эвакуировался за неделю до окружения... Умер? Да разве умереть от туберкулеза, в уходе, в мягкой постели, не

лучше в тысячу раз, чем в советском концлагере?»

Многие из наших утверждают, что в комиссии собраны все присланные советчиками материалы против каждого из нас и будут предъявлены нам в оправдание выдачи.

Это значит, что гибель предопределена. Она — только вопрос времени и с каждым часом ближе ...

3 февраля, воскресенье.

Нина снова не была. Ф. Ф. передал мне от нее записочку (принесла ему Ара, наша общая знакомая еще по Хойбергу, очень славная и утешительная). Нина уезжает сегодня куда-то за город.

Комиссия уже прибыла. Это точно.

*

Последовал примеру Ф. Ф.: разломил надвое бритвенный ножичек и зашил одну половинку в пояс брюк, другую — в рукав куртки, у самого краешка. Чтобы легко достать, даже если будут связаны руки ..

*

Комиссия в первом блоке. Говорят, что советских нет; по крайней мере, на внешний вид — всё одни американцы. Комиссия держится по отношению к нам не агрессивно, снисходительно, но никаких обещаний не даёт. Заполняли вчера для нее специальные анкеты.

В первый день прошло 155 ч-к, главным образом старых эмигрантов. Несколько американцев обмеривали лагерь и здания, видимо, чтобы составить план. К чему это?

10 февраля.

Утром ходил в церковь. Служилась панихида по погибшим в Дахау. Пели «вечную память» — и все присутствовавшие плакали. У меня мелькнула жуткая мысль, что, может быть, отпеваем и с а м и х с е б я.

Приходила Нина с Дуниным. Он возмужал, хорошо одет. Как различна судьба! Вот и Дунин одно время носил униформу, а сейчас — на свободе, на любимой работе, ни в чем не нуждается, не тревожится за будущее. А я ...

Но нельзя роптать, а тем более завидовать. Дунин рассказывал об одном остовце, поехавшем в СССР в поезде с красными флагами и портретами вождей. Вся эта декорация держалась только до лагеря где-то в Польше. Там заперли за проволоку, и «родина встретила». Его жестоко били, требовали, чтобы сознался, что помогал немцам. Много было за проволокой и девушек. Девушек бьют тоже. Остовцу удалось бежать.

Может быть, это — след давнего нашего охлаждения из-за Т., но Дунин показался мне немного неприятным. Костюм достать он пообещал на верняка.

*

Целый день дождь, ветер, грязно и холодно. Вечером было выступление ансамбля К. Олейникова.

*

С завтрашнего дня ожидаем комиссию в нашем блоке.

11 февраля.

Комиссия работает у нас. Кем-то выдвинута «теория», что при ответах не следует нападать на сталинский режим, потому что это «дружественное американцам правительство». Будто бы таких особенно подозревают в симпатиях к Гитлеру ... Жилин совсем подпал под влияние этих разговорчиков и заявил, что будет говорить только о голоде, который толкнул - де в РОА. Ф. Ф. даже рассердился, слушая его, и сказал, что такую версию могли распускать только советские агенты «для дураков». Обдумываю свои ответы. . .

*

Встретил подпоручика Ш., которого знал еще в Старгороде фельдфебелем. Их, человек пятнадцать, привезли из Дахау, из лазарета: пытались покончить с собой. У Ш. рука на перевязи — разрезал жилы. Ведь какой был мастер рассказывать. Одна мимика чего стоила! Теперь — лицо, как восковое. Молчит всё. Осторожненько пытался выпросить ...

— Ей Богу, не хочется описывать. Что? Сколько нас было? Человек восемьсот. Ну да, так же вот, как и вы тут, ждали решения... А потом в один прекрасный день — поляки к нам, в американской форме. Велят грузиться. Куда? — спрашиваем. — В Советский Союз! Переполох, конечно. Отказываемся. Поляки уходят, а через час заявляются обратно, уже с американскими МР, в составе до батальона... Стали выгонять из барачков. Ну, тут и началось... Знаешь, в общем, дальнейшее...

Вечером я носил ему сигарет, и он всё-таки рассказал подробности. Что же это было!.. Людей волочили под руки, и они находили кололи и резали себя чем попало. Говорят не выдерживали и сами полицейские, говорят — кричали от ужаса...

*

Ночь не спал. И только закрою глаза — вижу в разбитом окне, в ожерелье осколков, голову: человек пробил стекло лбом и вертит шеей, чтобы перерезать вены... Стекланные клинья впиваются в тело, кромсают в локутья...

Какое преступление! Людей, виновных только в том, что они не желали защищать самый кровавый в истории режим и пошли против него, за свой народ, за свою родину, людей, сдавшихся на милость свободолюбивейшей нации мира — американцам, выдают на расправу палачам, лютым врагам христианской цивилизации! И это — человечность?

Запятнавшие себя невинной кровью не имеют права называться демократами!

Ф. Ф. сказал: «Что ж, от вечной Истины, Добра и Любви западная де-

мократия далека, как и большевики. Может быть, даже дальше, т. к. большевизм отвергает Вечное, не познав Его, а Запад утверждает, что познал Его, и оскверняет Его... Не смешивайте вопросов философии с политикой, Володя...

13 февраля.

Всё подготавливаю к опросу. Хотел записать свои объяснения по поводу вступления в РОА, и гл. обр. свое отношение к сталинскому режиму, так как боюсь, что могу потеряться, как это со мной часто бывает. Начал записи, но ничего не вышло — слишком волнуюсь!

Вчера вечером, точнее — ночью:

«Володя, Володя! — будит меня Жилин. — Слышишь, как он хрипит? Чего это он?

Страхиваю сон. Перегнулся, куда показывал Жилин. Через койку от меня, внизу, поместился недавно один приехавший из Дахау. Нацмен. И с его места доносятся в самом деле какие-то странные, булькающие звуки, будто горло полощут.

— Пойдем посмотрим, — говорит Жилин. — Может припадок? До смерти боюсь припадочных...

Соскочили, подошли. Человек лежит, закрывшись с головой одеялом, и дергает ногами. И тут же сразу заметили лужицу, натекшую на пол, у изголовья. Кровь! Откинули одеяло — и потемнело в глазах: голова человека плавала в крови. — Решил, что спасенья от выдачи нет, и перепилил себе перочинным ножиком под одеялом глотку... Я весь измарался кровью, перекладывая тело на носилки.

Спасти его не удалось...

15 февраля.

Проходил комиссию! Сделал ужасную, губительную ошибку! Ф. Ф. говорит, что она может повести к трагическому исходу...

Когда меня после предварительного анкетного допроса (допрашивал аме-

риканский лейтенант и переводила какая-то немка) привели в комнату, где сидела комиссия, я потерялся, чего так опасался заранее. Было здесь 8 или 9 офицеров и один переводчик в чине лейтенанта, говоривший довольно сносно по-русски. Американский полковник с усами, похожими на усы Николая 2-го, задавал вопросы. Почему-то мне вспомнились идиотские разговоры о переодетых советчиках, и еще стало подозрительно, что он записывает мои ответы раньше, чем переводчик переводит. Словом, я смаяк и отвечал непростительно глупо. Спросили:

Имел ли я право голоса в СССР?

Подвергались ли мои родители или родня репрессиям?

Подвергался ли репрессиям я сам?

Ответил, что на выборах не участвовал из-за несовершеннолетия, дальше сказал правду: что никто из моих близких, ни я сам ГПУ не арестовывался и т. д. Как я теперь вижу, из моих ответов получилось, будто я не имею основания быть недовольным советской властью. После окончания вопросов я, правда, объяснил, что отрицаю сталинскую диктатуру, что принадлежу к движению, которое стремится установить в России другой, справедливый строй. Но всё это вышло как-то неубедительно, и полковник этого не записал: в записи остались только нелепые мои ответы. В заключение я сказал, что хочу оставаться на Западе и прошу не отправлять меня в СССР, но это уже едва выслушали и ответили небрежно, что комиссия не уполномочена выносить такие решения. Я вышел.

Бор. Гавр. оставил в комиссии длинное заявление с перечнем всего пережитого им и его семьей от НКВД. Ф. Ф. говорил при опросе очень долго и много и подчеркивал, что он — бывший поручик Белой армии.

Оба утешают меня, но Ф. Ф. считает, что я должен письменно изложить то, чего не успел сказать на месте, и подать записку в комиссию с просьбой приложить к своему делу.

Записку я составил подробную и сейчас стану переводить ее на немецкий.

*

Прибегал из 9-го блока Саша П., по прозвищу Вьюнок (москвич тоже, еще в Берлине познакомились). Очень оживленный, и сразу видно, что держит за зубами какой-то секрет.

Не сказал, но я догадываюсь: наверно собирается драпануть. Как?..

16 февраля.

Приезжали два американца. Кажется, из разведки. Разговаривали кое-с кем по личному выбору. По-русски. Заглянули и в наш закут. Очень сочувственно выслушали мою историю, взяли составленную мной записку и торжественно обещали передать, куда следует. Потом один из них, курносенький, спросил вдруг, считаю ли я себя тоже пораженцем?

Я объяснил.

Пораженчество не ново в нашей истории, — вмешался Ф. Ф. — В первую мировую войну большевики, желая свергнуть царизм, тоже были пораженцами. Немцы в пломбированном вагоне пропустили Ленина в Петроград...

— Ну, это дело давнее. Согласитесь, однако, что ваше положение несколько иное. Ваш союз с немцами очень напоминает измену, господа, — сказал американец.

— Мы не государство, а группа антибольшевиков. Союз с немцами заключили в 39 году кремлевские политики. Польшу поделили и продовольствие поставляли в Германию. Вот это была измена.

— Да, но потом дрались с Гитлером... А вы его поддерживали.

— Мы не поддерживали. Он поддерживал нас. Только плохо, к сожалению...

Американцы махнули рукой и ушли, смеясь.

А мышкам — слезки!

*

Читал и переводил всем сегодня из газеты о заседании УНО, где решался вопрос о нас. В нашу защиту выступала г-жа Элеонора Рузвельт. Она настаивала, чтобы всем, кто покинул родину из политических, расовых или религиозных причин, предоставлено было право убежища. Вышинский требовал провести проверку беженских лагерей, запретить в них пропаганду против стран УНО (читай: против кремлевских палачей) и против репатриации. В заключение же требовал выдачи всех «военных преступников». Требования его были отвергнуты большинством голосов.

Когда я это прочитал, все захлопали. Раздалось «ура» в честь Элеоноры Рузвельт.

— Первую стопку за ее здоровье выпью, как только вырвусь! — заявил Жилин.

17 февраля, воскресенье.

Тася здесь! Т а с я з д е с ь !!
З - д - е - с - ь !!

«Милый Володя, в следующее воскресенье у меня выходной день и я приеду к тебе.

Твоя Т.»

Эту записку привезла мне сегодня Нина, Тася здесь, совсем недалеко от меня! Она работает при кухне в туберкулезном санатории, километров 30 от Мюнхена. Нина узнала об этом от одной украинской девушки, которая тоже там судомойкой и приезжает в Мюнхен. И Нина ездила к Тасе в прошлое воскресенье, чтобы убедиться самой. И оттого не была у меня. Тася здесь! Хожу, как блаженный, хожу, как шальной, готов каждому, всем на шею броситься. От счастья ...

*

Вечером долго разговаривали (К., Бор. Гавр. и я), обсуждали, что будем предпринимать, если освободят (ах, как верится теперь, что непременно освободят!). К. предложил подобрать еще человек шесть решительных людей (помимо Т. и меня), соорудить па-

русно - моторный бот и на нем плыть через океан в Америку. Производили всевозможные расчеты. Представляли себе живо, как мы благополучно завершаем это путешествие, и вот над приближающимся берегом видна уже статуя Свободы ...

*

Ночь не спал. Думал. Этот мой план (пусть отчаянный, но осуществимый же, если всё так сложится...) давно сидел в мыслях. Каждый шаг был разобран. Упиралось все в один тупик, а вернее — не было стимула. Теперь тупик, кажется, исчезает, и стимул есть. И какой!.. Мечтал, рисовал себе: Нина говорила, что Тасин санаторий стоит в лесу, в одном из самых больших лесов Баварии. Что ж, в лесу всегда можно укрыться. Открыть землянку или сложить плотный шалаш. Утеплить его мхом в несколько пластов. Питание же — это главное — обеспечено. И переждать ... Вместе ...

Но всё окончательно решится только после свидания с Тасей. Еще неделя ...

19 февраля.

Вторник уже. Считаю дни и часы до воскресенья. Гвоздит жуткая мысль, что до этого еще что-нибудь может случиться ...

Комиссия закончила работу во всем лагере. Значит, решение приближается ...

Какое? Неужели в ы д а ч а? Тогда уж не водой — кровью нашей подплывет Платтлинг, немецкий городок ...

*

Ожидание... ожидание... ожидание...

Старичок приехал в рясе. Заходил к нам вместе с полковником Кромиади. Сказал: «Бьюсь, как рыба об лед, чтобы дело решено было в лучшую сторону. Будем надеяться, что Господь поможет нам».

Ф. Ф., увидя его, вскочил, как на пружине. — «Я знаком с ним, Володя. Что? Потом расскажу» ... Пустился за обоими, когда уходили. Вернулся минут через десять, как однажды со свидания, — совсем убитый. Молчал долго. Потом поманил, и мы вышли из барака.

— Это владыка Николай. Митрополит из униатских, Папы Пия 12-го ставленник. Хлопочет за нас. Но безнадёжно. Был у генерала, который председательствовал в комиссии... Под строжайшим секретом, Володя: половина нас всех обречена, попытаются спасти и укрыть старых эмигрантов, часть молодежи и тех, кто подвергался репрессиям за политику или веру. Прочим надеяться не на что».

Мне — тоже?..

Ф. Ф. спросил доверительно, что же целесообразнее всего делать?

Полковник ответил: «бежать». Сам Ф. Ф. уже давно пришел к такому выводу.

21 февраля, среда.

84 часа до приезда Таси!

Жилин сегодня необыкновенно много говорит и мешает думать. Это в первый раз я вижу его таким беспокойным: начинает и его пронимать. Отозвал в сторону и шепотом сообщил, что на конец этой недели назначена выдача.

— Откуда знаете? Кто сказал?

Молчит. Потом стал перечислять признаки: вывезли от нас немцев, чтобы не путались в решительную минуту; составили «стратегический», как он выразился, план лагеря, чтобы было ясно, как окружать бараки, и проч. и проч. Еще передал парашу: позавчера прибыли в лагерь две машины, груженные палками для МР. Тысяча палок, на целый полк... Тех из наших, которые производили разгрузку и разболтали об этом, будто бы изолировали ...

Потом вдруг привязался: почему так хлопочет и копаются в своих ве-

щах Ф. Ф.? «Видать, задумал навинчивать отсюда?» Я, конечно, промолчал на этот вопрос ...

21 февраля, четверг.

Стало еще более одиноко: Ф. Ф. нет больше в лагере. Еще целую неделю назад он посвятил меня в план побега, но взял честное слово, что буду молчать, и экстра — что не занесу разговора в дневник. Теперь это уже свершившееся. Всё организовано было с участием его знакомых с воли. Очень просто, хотя и очень остроумно. Но о подробностях умолчу, до освобождения (если оно наступит, освобождение ... А если — то, чего мы так страшимся?). Живу — воскресеньем. Желания сузились в одно, горячее, как огонь: чтобы спокойно, ненарушенно протекли часы, оставшиеся до свидания с Т.

Видел всё того же содержания сон (в третий раз): меня преследуют советчики. На этот раз так: я мечусь по огромному пустырю, изрытому, как в Минске, и за мной носится танк с красной звездой. Задыхаюсь, прыгаю из траншеи в траншею, ползу, песок на зубах, а танк всё настигает меня, ловчится подмять под гусеницу. Где-то в конце пустыря, за проволокой — красный сарафанчик в цветочках и пронзительный плач ...

Рассказал сон Бор. Гавр-чу. Он хмурится. Волнуется тоже, осунулся за последние дни.

Исчезновение Ф. Ф-ча произвело на всех крайне тяжелое впечатление. Жилин со мной не разговаривает.

*

Вспоминаю прощанье с П. П-чем. Последний разговор, когда вышел его проводить.

— Будьте мужественны, Володя. Не поддавайтесь панике. В окружении и — в душе, главным образом. Борите себя.

Помню, от слов ли этих, или от расставанья, охватило отчаяние. До слез. Захотелось всего себя вывернуть,

раскрыть, как на исповеди. Об одиночестве своем и прежде всего — о том, что ни на одну секунду не могу подавить в себе страх перед выдачей; что сам презираю себя за малодушие, за жалкую трусость...

Начал рассказывать, но П. П. перебил:

— Напрасные самоупреки, Володя, мальчик мой. Вы совсем не трус по природе. Во всяком случае — не больше, чем Ф. Ф. и тысячи других здешних, запроволочных. Эта совершенно беспримерная в истории мира дрожь людей при мысли о возвращении на родину, тем и беспримерна, что она массовая. Все дрожат. Все подсоветские. И природа этой дрожи вполне своеобразна. Это — не только боязнь наказания. Это — рецидив того страха, которого все наглотались там. Страх, которым отравляют народ диктаторы, чтобы парализовать его волю к сопротивлению. Вспомните, вы рассказывали мне, что уже ребенком дрожали вместе с матерью за отца...

В советчине дрожат все. Дрожит не только обыватель, ожидая доноса и «черного ворона». Дрожит знаменитый ученый, боясь, что не удастся научный опыт и обвинят во вредительстве. Дрожит чекист, когда вышибет недостаточно зубов и не добьется признания. Дрожит Вышинский, когда лжет на международной ассамблее, не успев предварительно благословиться по прямому проводу. Все дрожат... Вы подсоветский, Володя. Вы принесли с собой оттуда концентрат страха. В нормальных условиях концентрат этот, может быть, и выдохся бы. В этой обстановке отчаяния он разбухает, как в кипятке...

«Концентрат страха?» Так это?..

22 февраля, пятница.

Время тянется, время тянется, время тянется...

Жилин сменил сегодня гнев на милость. После обеда подошел к моей койке, зашептал у изголовья:

— Володька, ты хоть и с психом, но парень неплохой. Жалко мне тебя, дружок. Хочешь тикать со мной отсудова? Вместе?

— Как? — спрашиваю (уж очень стало интересно узнать его план, сравнить с моим).

— Ты говори: согласен или нет? А стратегия пока не подлежит оглашению. Уточняю еще.

— Согласен, но скажите, все-таки. Намекните хоть...

«Расскажи, расскажи, бродяга!»...

— А — ну вас!

*

Снова ходил — осматривал место. Проволоку. Нет, не знаю, как у Жилина, а мой проект — выполним, вполне выполним. Но — ж д а т ь!..

*

Забегал опять Саша Вьюнок. На этот раз подавленный! Вот как объясняется его прошлая таинственность: у них, в 9-ом блоке, открыт был громадный канализационный колодец. Целая шахта значительной глубины. Образовалась группа отчаянных (Вьюнок в том числе), решили из этого колодца вывести подземный ход за проволоку.

Выхлопывали себе назначение на кухню. По ночам. Делились на смены: одна чистит картошку, другая копает. В двадцать метров открыли туннель, но... вдруг явились немецкие мастера проверять канализацию — и все лопнуло! Шахту закопали. Однако американцам немцы ничего не скажали о подкопе. Вот молодцы!!

*

Я — как на углях... Перечитал снова «Алые паруса!» Хорошо! Грин — романтик, «рыцарь крылатой мечты». Как он рисует! Вот, к примеру, кусочек: Ассоль видит корабль Грэя:

«Он выплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он плыл, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шел прямо к Ассоль. Крылья пены трепетали под мощным напором его кия. Взошло солнце, и яркая полнота утра сдернула покровы со всего, что еще нежилась, потягиваясь на сонной земле...»

Что, если бы у людей отняли право на мечту? — У меня, например, сейчас, когда только и живу ею...

Моя Ассоль сама явится ко мне... Осталось 36 часов. 2.160 минут. 129.600 секунд. Когда мы дышим, мы тратим на вдох 2 секунды, на выдох, кажется, чуть меньше, — ну, пусть 4 секунды на то и другое. Высчитал, на сколько каждый вдох-выдох приближает свиданье. Так вот и дышу этими секундами...

23 февраля.

Нет, не суббота, потому что уже 3 часа ночи. Днем был дневальным, убирал в бараке, чистил. Потом приводил в порядок свой костюм, зашивал дыру на колене. Устал и заснул крепко, а сейчас вот проснулся и не знаю, что со мной. То ли это — волнение при мысли о скорой встрече, то ли — тревога. «Концентрат страха»?.. Все спят. Жилин храпит внизу. Жгу батарейку, подарок П. П., чтобы светлее писать...

Да, это — страх! Ощущение такое, что подстерегает что-то кошмарное. Завидую Жилину, Бор. Гавр. и другим. Ведь все ждут решения, может быть, рокового, и вот спят же себе, а я будто всеобщей, всех собранных здесь тысяч узников дрожью дрожу. Все-таки это трусость! Неумение овладеть волей!

Я читал в одной немецкой газете, что какой-то врач решил покончить самоубийством с помощью яда. И в то же время — произвести научный опыт для пользы человечеству: пронаблюдать и записать действие яда на организм до самой по-

следней секунды, пока держит рука перо. Так и сделал: положил перед собой бумагу, часы, поставил зеркало и проглотил яд. И вот осталась эта запись, через каждые пять минут по несколько строчек... Сначала обычным почерком, потом неразборчивее и совсем каракули. Вот воля!..

Мог бы я — так?

Говорят, это самый великий грех, самоубийство...

Лезвие... вот оно, зашито в обшлага... Но, если придут брать — неужели так, сразу же...? Нет, конечно! Ждать! Ждать, покуда не выдадут, даже покуда не повезут уже советчики... А если разденут? Вздор, успею вытащить, нарочно едва нитками прихвачено. И — как? По горлу? Бр-р-р! Лучше у пульса. И потом — руку в карман или опустить книзу, чтобы не заметили... Чтобы не заметили, как вытекает жизнь. Выдержу?..

Заснуть немыслимо. Подожду рассвета. Не знаю, почему, но мне страшны окна. В них заглядывает чернота ночи, и есть в ней что-то угрожающее...

У меня дрожат руки. Воображение это или — что? Я подошел к окну и осторожно открыл раму. Тихо... Где-то на углу шаркает часовая. А потом вдруг стало казаться, что вся эта тишина наполнена какими-то подавленными шумами... Или почудились мне эти шорохи, лязганье какое-то? Разбудить Бор. Гавр-ча? Нет, это выйдет смешно...

Оделся и перебрался за стол... Постараюсь успокоиться...

Нет, я не ошибаюсь! Только что снова открывал окно. Сотни шагов! Это — не смена караулов. В лагере войска...

Боже! Святая пречистая Дева Мария! Иисусе Христе, ангелы-хранители! Помилуйте нас в этот страшный час. Простите прегрешения наши, вольные и невольные. Спасите нас от жестокой гибели. Укрепите бедствующи-

щие души наши и несчастные, разбитые сердца ... С верой, надеждой и любовью предаем себя воле Вашей ...

Топот под окнами... По коридору... В дверь стучат прикладами... Это...

К о н е ц

ПУТИ - ДОРОГИ

Гвардии полковнику Н. посвящаю.

Автор

«Эх, дороги,
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян» ...

(из песни солдат Со-
ветской армии)

ГЛАВА I

Рабочий день Ковровского «исправительно - трудового лагеря» начался, как всегда. Зевая и переругиваясь, лениво поднимались заключенные с нар. В остывшем за ночь бараке было холодно, воздух, насыщенный испарениями грязных портянок, мокрой обуви и немытого тела, был тяжелый, удушливый, смрадный.

В мертвом, холодном свете единственной электрической лампочки мелькали, как привидения, землисто-серые лица и ватники заключенных.

В самом углу барака, в темноте, где тяжело громоздились неуклюжие очертания двухэтажных нар, бывший капитан Красной Армии, Василий Иванович Чугунов, такой же оборванный и грязный, как и остальные, обжигаясь, торопливо пил кипяток из почерневшей жестяной кружки. Хлеб он съел еще вчера вечером и теперь бранил себя за то, что ничего не оставил на утро. До обеда придется голодать. Впрочем он был голоден и вчера, после того как уничтожил весь свой дневной паек.

Его сосед по нарам, профессор Пальчевский, высокий жилистый старик, надрывно кашляя, возился со

своими опорками, привязывая веревкой отвалившуюся подошву.

— Куда нас сегодня погонят, капитан? Опять на котлованы? — спросил он Чугунова сквозь жестокий приступ кашля.

— Не знаю, право ...

— Придется мне там, наверное, навсегда остаться. Долго не протяну. Всё хуже и хуже становится.

— Ничего, профессор, не унывай-те. Как-нибудь выдержим!

— Ну, вы-то может, и выдержите, а мне, я чувствую, конец приходит.

Чугунов, утешая профессора, сам не верил в то, что сможет долго перенести эту каторгу. Здоровье ухудшалось с каждым днем, и, возвращаясь с работы в барак, он всё чаще поглядывал туда, где в лесочке за лагерем виднелись холмики братских могил. Каждый день умирал кто-нибудь, и на чистом, девственном снегу вырастали новые и новые кучки земли.

Впрочем, близость смерти не пугала. Чувства притупились, и возможность получить лишних полкотелка баланды интересовала порой больше, чем сама мысль о жизни и смерти.

Последнее время в лагере было неспокойно. Ходили осторожные слухи о том, что при приближении фронта все заключенные в некоторых тюрьмах и лагерях были поголовно расстреляны... Правда, немцы от Коврова находятся далеко. Говорят, их могут начать новое наступление, и тогда, если лагерь не успеют эвакуировать, его просто уничтожат.

Урки вели себя вызывающе. Время от времени их партиями освобождали из лагеря и направляли прямо на фронт. Чтобы избежать этого, оставшиеся грубили администрации, сознательно не выходили на работу, предпочитая отсиживаться в карцере.

Когда бригады были построены на работу и люди стояли в ожидании конвойных, толкая друг друга и приплясывая на месте, в УРЧА*) вызвали несколько человек, в том числе и Чугунова. Он с недоумением подошел к кирпичному зданию комендатуры. После долгого, томительного ожидания в узком и длинном коридоре его вызвали, наконец, в какую-то комнату. Начальник отделения лагеря, не обращая внимания на вошедшего, бегло просматривал пухлую папку. Чугунов неловко остановился около порога. В кабинете было жарко, снег на опорках быстро таял, струйкой стекая на блестящий паркет. Пахло сигарами и хорошим одеколоном. После барака обстановка помещения казалась сказочно прекрасной, уютное тепло навевало дремоту. На столе поблескивал светло-зеленый абажур лампы. «У меня дома точно такая была», вспомнил почему-то Василий Иванович. Тихо кашлянул. Начальник отделения поднял голову, и лицо его расплылось в широкой улыбке.

— Чугунов? товарищ Чугунов, как жетсся? — приветливо спросил он, вскакивая из-за стола и пододвигая стул.

— Так точно, гражданин начальник, Чугунов, — ответил Василий

Иванович, недоверчиво присаживаясь к столу. Удивил тон чекиста. За все время заключения он слышал только резкие окрики конвойных, грубость и брань тюремной администрации. Правда, такой вот ласковый, вкрадчивый голос был и у следователя, который допрашивал его сразу после ареста. Тот убеждал Василия Ивановича подписать протокол. В этом протоколе его обвиняли по крайней мере в трех государственных преступлениях. Но у следователя дружески назидательный тон превращался порой в звериный рев, и вместо толстой папиросы, которой он только что радушно угощал клиента, в руках появлялась резиновая палка или ножка от стула. Василий Иванович недоверчиво поглядывал на начальника отделения, ожидая, что и он так же, как и тот следователь, вскочит, закричит, бросит в него прессом или ударит по голове. На самом деле ничего подобного не случилось. Кончив делать какие-то пометки, сержант госбезопасности встал и торжественно проговорил:

— Могу вас поздравить, товарищ капитан, с большой, неожиданной радостью. Партия и правительство решили освободить вас. Вас выпускают на свободу, сегодня, сейчас. Вам дается возможность попасть на фронт и искупить свою вину.

У Чугунова потемнело в глазах. Он приподнялся, потом опять сел. Судорожно схватившись за край стола. Он даже не дослушал до конца фразы, понял одно: его освобождают, он снова на воле, и это наполнило его безудержной, жгучей радостью.

— Для искупления своей вины вам дается возможность попасть на фронт отечественной войны, — как сквозь сон, услышал он снова и сказал глухо:

— Я могу повторить, гражданин начальник, только то, что я уже говорил и раньше. За мной нет и не было никакой вины.

— Во-первых, вы можете называть меня теперь товарищем, а во-вторых — об этом не стоит говорить. Вы свободны. Это главное.

*) УРЧА — Учетно - Распределительная Часть.

Оборвав продолжение разговора, поспешно, сухим, официальным тоном чекист добавил:

— Вы направляетесь в распоряжение штаба Приволжского Военного Округа, в город Куйбышев. Там вам надлежит быть не позже 5-го января, через восемь дней. Если у вас есть семья и она проживает недалеко отсюда, можете ее навестить, кстати и Новый год дома встретите.

— У меня никого не осталось, гражд... тов. сержант госбезопасности, — я один.

— Ну вот и хорошо. Подпишите этот документ. В нем сказано, что вы не имеете никаких претензий за всё время вашего заключения. Так ... Хорошо ... Форму вам дадут в Куйбышеве. Сейчас вы получите документы. Что-нибудь поприличнее из одежды. Побреетесь и направляетесь. Желаю вам всего хорошего, капитан, — поднялся начальник отделения, показывая, что разговор окончен.

Василий Иванович пошатываясь пошел к двери. Взявшись за ручку, нерешительно остановился и оглянулся назад.

— Что вы еще хотите, — недовольно поднял голову чекист.

— Простите, товарищ сержант госбезопасности, мне хотелось спросить: меня выпускают потому, что власти убедились в моей невиновности, или потому, что решили простить те преступления, которые мне приписывались раньше?

— Какое это может иметь значение? Лучше поторопитесь получить ваши документы. До свиданья ...

Дальше всё было, как во сне. Его одели в какой-то старомодный черный сюртук («интересно, с кого это они сняли?») и довольно приличное пальто. Когда привели в парикмахерскую, он взглянул в зеркало и вздрогнул от неожиданности: на него глянуло чужое лицо с колючей щетиной на впалых щеках, с большим заострившимся носом. Крутой высокий лоб еще больше подчеркивал общую худобу, и только одни глаза из-под нависших бровей светились прежним умным, чуть насмешливым огоньком.

Он внимательно рассматривал себя, пытаясь найти в своем отображении прежние знакомые черты, и, не находя их, беспокойно поворачивал голову. Парикмахер из заключенных, в белом халате поверх грязного ватника, направляя бритву, понимающе улыбнулся: — Давно себя в зеркало не видели?

— Четыре года.

— Ну, это еще ничего. На фронт направляют?

— Кажется.

Парикмахер многозначительно крикнул и стал намыливать ему подбородок.

*

После окончания всех формальностей Чугунов вышел за ворота лагеря, неся в руках маленький узелок. На прощанье из проходной будки прямо в глаза ему сверкнул значок пулемета.

Первоначальная жгучая радость стала сменяться тяжелым, нехорошим чувством. Он переходил границу из одного мира в другой. Бесконечную вереницу мучительных тюремных дней нельзя было вспомнить добрым словом, но эти дни слеглись в привычную колею, и, как бы она тяжела ни была, как страшно было выбираться из нее, начинать новую жизнь. С тех пор как тюремная дверь впервые захлопнулась за его спиной, он многое передумал, многому научился и многое переоценил. Помимо самой обстановки, способствовавшей этому, помогли и товарищи по заключению, среди которых было много хороших и умных людей. Чугунов почти с сожалением посмотрел на котлован, где копошились фигуры заключенных, оставшихся в лагере.

Пригодился ... Теперь пригодился! — злобно думал он, невольно сжимая кулаки. — Ну да ладно, я вам навоюю! — мелькнуло у него в голове, и он решительно зашагал к вокзалу.

Справа возвышались громоздкие корпуса военного завода. Его оборудование эвакуировали еще в октябре месяце, и теперь пустынные цеха и холодные трубы производили впечат-

ление чего-то мертвого и заброшенного.

Дорога, по которой он много раз ходил на работу, выглядела сейчас совсем по-другому. Казалось странным, что он идет один, а не в тесной колонне заключенных, может шагать быстрее, остановиться и опять итти, перейти с одной стороны дороги на другую, не слыша злобного оклика вертыхай*). Он несколько раз оглядывался назад, все еще не веря в свое освобождение ...

Чугунов не поехал прямо в Куйбышев, а решил сделать небольшой крюк, избрав маршрутом дорогу через Ульяновск. Ему хотелось навестить своего прежнего друга, который служил командиром роты в танковом училище. Он не имел от него никаких сведений более четырех лет. Не знал, на старом он месте или уже переведен куда-нибудь, и решился на это только потому, что некуда было девать время, оставшееся у него до явки в штаб округа.

Еще в поезде он был поражен тем, что пришлось увидеть из окна вагона. Толпы плохо одетых людей, не помещаясь в станционных зданиях, ожидали чего-то на тридцатиградусном морозе. Сначала он надеялся купить чего-нибудь съестного в вокзальных буфетах, но когда в первом же на него посмотрели удивленными глазами, смирился с мыслью, что до Ульяновска об обеде нечего и думать. Никаких продуктов в продаже не было.

На всем лежала печать запущенности и какой-то обреченности. Запасные пути были забиты платформами с заводским оборудованием. Из-под снега, как будто взывая о помощи, сиротливо торчали непонятные детали машин.

Василий Иванович стоял у окна, засунув руки в карманы пальто, жадно всматриваясь в пробегающие мимо поля, крошечные бревенчатые избушки, по крыши утонувшие в снегу,

* «Вертыхай» — конвойный в советских концлагерях, называется так потому, что часто окликает заключенных — «не вертыхайся!»

перелески, полосатые шатбаумы, у которых стояли крестьянские подводы с мохнатыми, побелевшими от инея лошаденками, в родное серое, холодное небо. Он как будто возвращался из дальней поездки по чужим странам на Родину и находил в ней совсем не то, что ожидал найти. Выходя на свободу, он понимал, как сильно должны были увеличиться прежние советские лишения сейчас, в связи с войной, готовился к встрече с ними, и все-таки, несмотря на это, был потрясен при виде разрухи, захлестнувшей страну.

*

В Ульяновске, как только Чугунов сошел с поезда, в лицо ему больно ударил холодный, колющий ветер. Поземка гнала по платформам сыпучий снег, сбрасывая его на рельсы и снова выдувая из-под почерневших, замасленных шпал. На платформах кое-где обнажился асфальт, сиротливо темнел пятнами, по которым не задерживаясь скользили снежинки.

Большая толпа людей, главным образом женщины и военные, с мешками, чемоданами, узлами, торопливо втягивались в здание вокзала. Осторожно перешагивая через человеческие тела на полу, Чугунов прошел в вокзальную комендатуру. Уставшего, небритого дежурного осаждали военные всех рангов, потрясая какими-то мандатами. Василий Иванович скромно остановился в стороне. Он несказанно обрадовался, когда через два часа ожидания ему дали сухой паек на два дня — буханку хлеба, пару селедок и кусок сахара.

Ульяновск, неуютный, наверно, и в мирное время, произвел на него сейчас особенно тяжелое впечатление. На главной, на Гончаровской, очень широкой, лишенной какой-бы то ни было растительности улице, гулял холодный ветер, сновали озабоченные фигуры пешеходов. Повидимому, главным образом, эвакуированные. Магазины были пусты. На витринах сиротливо покоились коробки зубно-

го порошка, перца и какого-то снадобья от клопов.

На центральном рынке, затерянные среди ряда длинных столов, стояли две - три женщины, продавая несколько кусочков сала, бережно завернутого в тряпки. Сало стоило полторы тысячи килограмм. Тут же вертелся бойкий чумазый парнишка, предлагая из-под полы буханку хлеба, как говорил он, всего за сто пятьдесят рублей.

Василий Иванович с недоумением смотрел вокруг, снова и снова спрашивая себя: Что случилось? Почему сразу же, в начале войны, советская экономика лопнула, обнажив страшные язвы? Война не явилась сюрпризом ни для правительства, ни для народа. К ней начали готовиться много лет назад, на ее подготовку было брошено всё — промышленные ресурсы, труд, творческий гений, каждый человек в отдельности, его жизнь, пот и кровь. Заставляли отказываться от самого необходимого ради укрепления обороны страны. А теперь от первого же удара советская мощь рассыпается, как карточный домик. Пусть немцам удалось захватить важные промышленные и продовольственные базы на Украине и в Белоруссии, но остались Волга, Сибирь, Урал. Там достаточно и хлеба, и сырья. Опираясь только на них, можно было бы вести войну, не испытывая этих лишений.

Невольно вспоминался разговор, слышанный в пути. Старшина - танкист рассказывал о том, как его полк был брошен на оборону под Москвой в пехотном строю. В части оставалось всего четыре учебных танка, и многие танкисты, не имея даже винтовок, стояли в окопах с пистолетами в руках. Недалеко от них в таких же условиях оборонялся авиационный полк. Немцы без всяких потерь почти полностью уничтожили подразделения кадровых, хорошо обученных танкистов и летчиков.

Проводились пятилетки, строились какие-то промышленные гиганты, а когда началась война — винтовок и тех не хватило. Теперь нужно начи-

нать всё сначала и всё сразу. Строить и воевать, воевать и строить. Многие заводы остались у немцев, другие находятся в пути на восток. То, чего не успели сделать за долгие мирные годы, нужно делать сейчас, во время войны, когда нет времени, нет сырья и нет хлеба.

Если не помогут союзники — ничего не выйдет. Последняя надежда на них. Доигрались, доэкспериментировались! — с горечью думал Чугунов. — Обращались с нашей страной, как с подопытным кроликом, делали с народом всё, что хотели, благо он терпелив. И вот результаты... Они-то успеют улететь, скрыться в Америку, еще куда-нибудь, а расплачиваться придется простым людям. Уже расплачиваются и там, на фронте, и здесь, в тылу...

— Дяденька, дайте кусочек хлеба! — послышался рядом тоненький детский голосок. Мальчик лет шести в легоньком пальтишке протягивал дрожащую, посиневшую ручонку. Василий Иванович отломил от буханки хлеб, достал из кармана кусок сахара и, сунув всё это ребенку, глотая подступившие слезы, торопливо пошел прочь.

В городе его ожидало разочарование. Приятель еще в прошлом году был переведен из Ульяновска в другой город. Постояв немного у каменной ограды танкового училища, Чугунов повернул обратно. Его обогнал взвод курсантов. Левофланговые несли щиты с мишенями, указки, станки для наводки. Мальчишки по семнадцати - восемнадцати лет с яркими, красно - черными петлицами и золотым галуном на них, лихо отбивая ногу, распевали задорно, на всю улицу:

Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужеством полны...

Рядом со взводом шагал молоденький лейтенант, затянутый новыми ремнями, и, поминутно оглядывая строй, срывающимся, неуверенным голосом командовал:

— Раз, два-тр-ри, четыр-ре... Раз, два, тр-ри, четыр-ре... — Команду «Раз,

два» он произносил отрывисто и громко, а «тр-ри, четър-ре» — нараспев и вполголоса, так что они сливались у него в одно непонятное шипящее слово.

«Сам, наверное, из училища недавно выпущен» — подумал Василий Иванович, взглядом знатока окидывая строй и командира. Он машинально сменил ногу и зашагал по тротуару под команду лейтенанта. И как только прошел несколько шагов военным, уже полузабытым шагом, в памяти с поразительной ясностью промелькнули дни, месяцы, годы его жизни, связанные со строем, казармой и армией. Мучительно потянуло в родную привычную обстановку. Захотелось очутиться среди бойцов, почувствовать на себе форму, подтягивающее давление наплечных ремней. Стало досадно, зачем потерял несколько дней, заехав сюда, в Ульяновск. Лучше было бы направляться прямо в Куйбышев. На фронт, наверное, сразу не пошлют, дадут немного поправиться, а теперь придется оставаться до завтра в этом холодном, неудобном городе, среди чужих людей.

Сегодня встречают Новый год. Год 1942... Новый год для него был всегда любимым праздником. Первое Мая, Октябрьская революция и другие советские торжества, с их парадной мишурой, истерическими речами и ревом репродукторов, только раздражали его, церковные праздники за годы советской власти отпали как-то сами собой, и только встреча Нового года сохранила свою особенную, свежую прелесть: было что-то таинственное, многообещающее во времени, когда стрелка часов подходила к двенадцати и из радиоприемника раздавался малиновый перезвон Кремлевских курантов. Время переступало невидимый порог Нового года, обещая в нем что-то хорошее, новое, непохожее на то, что было.

«Наверное, мне весь год придется скитаться по чужим городам, среди чужих людей» — грустно усмехнулся Василий Иванович, вспомнив поверье, что год проходит так же, как и его первый день.

Человек в прекрасном пальто с каракулевым воротником, очень толстый, красный, внимательно посмотрел на Чугунова и нерешительно остановился. Его маленькие бегающие глазки, шишковатый пористый, как губка, нос показались Василию Ивановичу знакомыми, и он, пройдя пару шагов, тоже остановился и оглянулся назад.

— Вася, ты ли это? Какими судьбами?

Только очутившись в объятиях толстяка, он вспомнил старого, еще школьного товарища, Романа Николаевича Петухова. Они никогда не были дружны, но получалось как-то так, что их дороги, начиная с детского возраста, часто переплетались, хотя каждый из них шел своим особенным путем.

— Ну, как ты, когда? — спросил, наконец, Петухов, тяжело отдуваясь и продолжая тискать Василия Ивановича в объятиях.

— Позавчера.

— Ах, сволочи! Так ты прямо из каталажки? Ну, дай я на тебя еще раз посмотрю. Изменился, изменился. Я тебя, брат, сразу и не узнал.

— Да и ты тоже хорош стал, — Василий Иванович сделал неопределенный, округлый жест около лица.

— Полнею, полнею. Прямо наказание. Ты сейчас куда? Ни, ни... Не возражай, ко мне идем. Вот жена будет рада, она о тебе часто вспоминает. Пойдем. Впрочем, постой, я сейчас в этот магазин забегу.

Петухов поспешно нырнул в какую-то дверь.

— Ну, вот, теперь пойдем, — довольно проговорил он, вернувшись через несколько минут и заговорщицки мигнув на большой сверток подмышкой.

— А что ты здесь делаешь? — спросил Чугунов, еще не успев опомниться от первых впечатлений встречи.

— С ЗИС-ом эвакуировался. Его ведь сюда перевезли. Только все равно никакого толка нет. Три месяца никак не можем оборудования разместить. Рассредоточили на девять то-

чек, и ни одна, по существу, не работает.

— Ты ведь, кажется, перед моим арестом в Союзмуке работал.

— Работал. Я после этого еще в трех местах работал. А теперь вот на машиностроение пришлось переключиться. Не так выгодно, зато броня есть. На фронт не пошлют. Ну, вот мы и дошли. Погоди, я дверь открою.

Жена Петухова, полная, дебелая женщина, ахнула, увидев Василия Ивановича. Приговаривая что-то, она бестолково металась по прихожей, то помогая Чугунову снять пальто, то убегая за чем-то в кухню и возвращаясь вновь.

Через полчаса все они сидели в теплой, уютной столовой, за прекрасно сервированным столом. На тарелках лежала ветчина, колбасы, соленые грибы, селедка и истекающие в янтарном масле сардины. Посередине в литровой бутылке холодно поблескивала водка.

Василий Иванович с изумлением рассматривал на стол.

— Ну, ты чего уставился? Давай лучше выпьем. Встреча-то какая. Боже ты мой!

— Я всего этого четыре года не видел, да, признаться, не скоро ожидал и увидеть. Откуда это у тебя?

Чугунов кивнул на тарелки. Роман Николаевич насмешливо улыбнулся.

— Ты пей, не философствуй. Что же, ты меня не знаешь? Я, брат, в любом положении не пропаду. А всё это — он пренебрежительно кивнул на стол — умеючи даже и сейчас достать можно.

— Откуда? Я проходил по городу. Все магазины пустые.

— Откуда? Ко мне из Райколхозсоюза люди приходят. Им резина нужна. Пожалуйста, резины у меня сколько угодно. Четыре баржи в Волге, в восьми километрах от города в лед вмерзли, полны резиной, только скажите, что вы мне дадите взамен. — Петухов вызывающе повернулся к Василию Ивановичу, словно это тот просил резину. — Завунивермагом вторую неделю пороги у меня околачивает. Просит на какую-нибудь работу

по совместительству устроить, чтобы бронь получить. Могу и это, только скажи сначала, что у тебя от старых запасов осталось? Впрочем, что об этом говорить ... Ты ведь все равно не поймешь. Давай лучше выпьем.

— После первой же рюмки у Чугунова сильно закружилась голова. Конфузаясь за свой аппетит, он принялся за закуски.

— Вы простите меня, не могу сдержаться. Столько времени пришлось голодать, — смущенно обратился он к жене Петухова. Та встрепенулась.

— Да кушайте на здоровье. До чего они вас довели. Господи Боже мой!

Петухов, развалившись в кресле, насмешливо спросил:

— А теперь что же? Прямо на фронт? За Родину, за Сталина?

Василий Иванович устало ответил:

— Я еще сам не знаю, за что. Во всяком случае придется идти на фронт.

— Иди, иди. Защищай товарищей большевиков. Мало они тебя в тюрьме гноили. Выручай их.

— Причем тут большевики? Воюет весь народ, вся страна.

— А разве кроме тебя мало дураков? Я вот на фронт не пойду. Пускай другие идут, кому своих голов не жалко. Мне всё равно. Немцы придут — с немцами буду работать, большевики останутся — и с ними не пропаду. Для других я верный сын партии и правительства, это только тебе всю душу наизнанку выворачиваю. Знаю, что в НКВД доносить не пойдешь. Не пойдешь ведь?

— Не пойду.

— Ну, ну, не хмурься. Сам знаю, что не пойдешь. Это я просто так спросил. У меня, брат, партийные тузы из райкомов и обкомов каждый день бывают. И по работе, и просто так. Запросто, как мы сейчас. Сегодня придут Новый год встречать. Я у них на виду. Если немцев разобьют, не выезжал из Ульяновска, орденов нахватая больше, чем кто-нибудь на фронте.

— А если не разобьют? Немцы по головке не погладят за такие знаком-

ства. Да и сам ты, насколько я помню, коммунист со стажем.

— Коммунистом, положим, я стал только потому, что службу можно было получить хорошую. А что касается немцев, то я не беспокоюсь. Липа у меня давно оформлена, — Петухов хитро прищурился, — и знаешь, кто оформлял? Помощник начальника НКВД. Он уже многим партийцам документы сделал.

— Ну, хватит об этом, — устало попросил Василий Иванович. Расскажи лучше, как здесь сейчас. Я ведь всё равно, как на необитаемом острове был. Ни новостей, ни положения, ничего не знаю.

— Чего же рассказывать? Плохо.

— Я думал всё время, пока по городу шел и в поезде ехал, что случилось? Полгода повоевали — и такая разруха кругом. Ведь на улицах голод. Неужели на самом деле всё к немцам попало?

— Ерунда! Помнишь, во время финской войны... Впрочем, где же тебе помнить. Ты в это время в тюрьме сидел. Тогда фронт стоял на одном месте и воевали против маленькой, бедной страны, а магазины опустели. В Москве еще можно было кое-что купить, а в провинции совсем голодно стало. Дело в самой системе. Пока всё хорошо, эта колесница скрипит, шатается, но кое-как с грехом пополам ползет, а как только на дороге встречается не камешек даже, а прутик какой-нибудь, она сразу стоп — и баста. Это только доказывает, что у нас всё гнилое, никудышное. И государственная система, и правительство и вожди. — Обрюзглое лицо Петухова сморщилось в пренебрежительную гримасу.

— Что же ты тогда эту систему поддерживаешь? Ты сам винтик в этой колеснице, да еще и не маленький.

— А что? Мне деньги платят, а до другого мне дела нет. Может, прикажешь лбом стенку прошибать? Спасибо, пусть это другие делают.

Как будто желая переменить тему, в разговор вмешалась жена Петухова.

— Местным еще ничего, они кое-как выкручиваются, а эвакуирован-

ным, тем совсем плохо, купить ничего нельзя. Один хлеб выдают, да и тот не каждый день. Дров нет, а морозы здесь, сами видите, какие. Самый ближний лес в восьми километрах отсюда, на берегу Волги, и вот в этот лес женщины с саночками за дровами ездят. Каждый раз после метели у дороги трупы находят. Замерзают люди.

— Ты, я вижу, таким же остался, — покровительственно заметил Петухов, — всё о высоких материях думаешь. Пора бы перестать. Надо о себе позаботиться. Кроме тебя самого, о тебе никто думать не будет.

— Думай, не думай, дорога одна, на фронт.

— Можно, положим, и в тылу остаться. Возможностей для этого много. Жаль, что уже направление в округ получил. Я бы тебя так устроил, что до самого конца войны в Ульяновске пробыл.

Петухов сладко потянулся и закрыл глаза.

— Устаю, — томно сказал он. — Работы много, каждый вечер собрания да заседания.

Василий Иванович совсем охмелел. У него перед глазами из стороны в сторону качался оранжевый абажур, стремительно проваливались куда-то пол и потолок; то расплываясь в смутное масляное пятно, то принимая прежнюю свью форму, плавало издевательски насмешливое потное лицо Петухова.

Чугунову многое хотелось сказать. Он сжимал виски ладонями, хотел сосредоточиться, привести в порядок мысли, а они насккивали одна на другую, не задерживаясь, вытаскивая за собой новый ворох чувств, воспоминаний, горечи и обид. Ему хотелось сказать о том, как тяжело было в лагере, не только потому, что там отвратительно кормили, держали в холодных и грязных бараках, заставляли выполнять непосильную работу. Тяжело было, главным образом, потому, что там он окончательно потерял зеру в чистоту коммунистических идей, а это когда-то составляло цель его жизни, надежду на то, что за трудностями роста, строек придет другая, сво-

бодная, счастливая жизнь. Вместе с разочарованием пришлось признаться перед собой в том, что прошлые годы прожиты бесцельно, что до сорока лет он шел в потемках, наощупь, принимая фальшивые пути за настоящую, правильную дорогу. И сейчас было мучительно стыдно за эти потерянные годы, и особенно стыдно за то, что он понял всё это только тогда, когда кнут произвола и насилия хлестнул его самого. Ему хотелось сказать о том, как он жадно смотрит сейчас вокруг, как ему хочется, наконец, понять, что же ему делать, но пока ничего не может увидеть, и это мучает его. Но когда его взгляд падал на Петухова, он понимал, что этот человек никогда не сможет понять его, может быть, — и это еще хуже — просто посмеется над ним. Он для него чужой, и сейчас чужой больше, чем когда бы то ни было.

Как бы подтверждая его мысли, Петухов небрежно спросил:

— Ты останешься у меня встречать Новый год?

— Нет, нет... Мне нужно дальше ехать.

— Куда же ты теперь направляешься?

— В Куйбышев.

— А то остались бы, — робко попросила жена Петухова.

— Большое спасибо, Екатерина Петровна. Не могу, времени нет.

Василий Иванович, опустив глаза, как будто впервые увидел свои ноги, обутые в грубые, старые ботинки, обветренные, потрескавшиеся, с твердой коркой мозолей кисти рук, и ему стало стыдно за себя, за эти ботинки, за смешной старомодный сюртук, за свой аппетит. Он понимал, что глупо стыдиться этого, и тем не менее чувство неудобства всё больше и больше сковывало его.

По тону приглашения было видно, что Петухов сам будет рад, если Чугунов не останется у него на встрече Нового года. Его гости могут косо посмотреть на плохо одетого человека, только что выпущенного из тюрьмы. Его присутствие может повредить карьере хозяина. Возможно, что Ва-

силий Иванович ошибался, думая это, но он никак не мог избавиться от сомнений и, жалея уже, что встретился с Петуховым, начал прощаться.

В прихожей, когда Василий Иванович надевал пальто, к Петухову вернулась прежняя дружелюбная развязность и, пожав Чугунову еще раз руку, он широко раскрыл перед ним дверь.

*

Поезд на Куйбышев уходил только на следующий день. Надо было устроиться на ночевку. По ордеру, полученному в вокзальной комендатуре, Чугунову дали койку в казарме, расположенной на самой окраине города. В комнате, помимо него, находилось еще человек двадцать, главным образом военных. Помещение не отапливалось, было холодно. Люди сидели на кроватях в шинелях, лениво перебрасываясь короткими замечаниями.

На шатком досчатом залитом чернильными пятнами столе два командира играли в самодельные, грубо вырезанные шахматы.

Василий Иванович положил свой узелок на кровать и подошел к замерзшему окну. Мороз разрисовал стекла причудливыми узорами. Из-за этого в казарме царил мягкий, матовый полумрак. Чугунов долго оттаивал пальцем маленький кусочек стекла. Лед намерз толстым слоем, палец быстро коченел, но Чугунов, отогрев его немного, снова упрямо водил им по стеклу. В маленький кружочек открылся вид на широкое снежное поле.

Далеко в стороне темнел одинокий островок леса. На поле там и сям чернели фигурки курсантов. На небольшую высоту, утопая в глубоких сугробах, короткими перебежками наступало несколько подразделений. Доносились едва слышные слова команд. Военное училище занималось тактикой.

Василий Иванович, стоя у окна, наблюдал за учением. Прогулка по улице освежила его. Только во рту остался неприятный привкус от водки.

У него появилось было желание пойти все-таки вечером к Петухову, так тяжело было оставаться одному, но когда он подумал о том, что ему придется сидеть за одним столом с работниками НКВД, одна форма которых стала для него ненавистной, он встряхнул головой, словно отбрасывая эту мысль, и отвернулся от окна.

На соседней койке сидел пожилой капитан в красноармейской шинели с неуклюжей зеленой шпалой в защитной петлице и лейтенант-танкист. Чугунов присел на свою кровать и стал прислушиваться к их разговору.

— Погодите, попадете в командный резерв, сами на фронт рваться будете, — сказал капитан.

— Почему?

— Голодно. На третьей тыловой категории не разжиреешь. Я третий месяц разъезжаю по командировкам — то в Горький, то в Казань, то в Куйбышев. За все время только раз досыта наелся. В Казани с одной девушкой из пекарни познакомился. Она к себе пригласила и ужин устроила. В Куйбышеве резерв забит командирами. Начальнику ни минуты покоя не дают, засыпают рапортами. Просят отправки на фронт. В бой рвутся, как львы. А почему? На фронте можно хоть вдоволь поесть.

В разговор вмешался подошедший старший лейтенант.

— Наша дивизия формируется около Уфы. Я в Ульяновск в командировку приехал, так там тоже голодаем, многие красноармейцы опухают. Занятия по десяти часов день и всё на морозе. А паек мизерный. Я один раз со своей ротой проводил тактические учения — наступление стрелкового взвода. Наступали на одну большую деревню. После занятий распустил роту погреться. Все разошлись по домам. Через час командиры взводов строят свои подразделения, смотрю: у всех красноармейцев в руках какие-то узелки, сверточки, лица довольные. Подзываю одного, спрашиваю: что такое? А он разворачивает бумагу и показывает кусок хлеба. Скверный, непеченый, но все-таки хлеб. Ока-

зывается, бабы разжалобились и давали им гостинцев. Сами голодные сидят, а всё-таки поделились. Знаете нашу русскую женщину. С тех пор каждый раз после занятий по тактике, какая бы тема ни была, приказываю командирам взводов овладеть тому одной деревней, тому — другой и час отдыхать. Приходилось только менять деревни. Неудобно по несколько раз в одно и то же место являться. Везде побывали. Пришлось километров за десять-пятнадцать от казарм уходить. Построить роту и объявляешь: больные и с плохой обувью, выходи! Никто не выходит. Напоминаешь, что пойдем далеко — всё равно. Ни на одни занятия так охотно не выходили, как на тактику.

— Простите... — неуверенно спросил Чугунов, — почему в резервах так много командиров? Потери командного состава логически должны быть пропорционально больше, чем потери рядового. Формируется много новых соединений, они требуют большого количества командиров, а судя по вашим рассказам, все резервы забиты. Почему это?

Командиры настороженно замолчали. Вмешательство в разговор незнакомому гражданскому человеку смутило их. Поняв это, Василий Иванович пояснил:

— Я сам капитан Красной Армии... — он неловко замаялся, — по ряду причин некоторое время был оторван от военной жизни. Сейчас снова направляюсь в армию. Много из того, что вы рассказываете, мне совершенно непонятно. Может быть, я отстал?

Пожилой капитан понимающе улыбнулся.

— На курорте были?

— Да.

— Вы кадровый?

— Да.

— Причин к этому довольно много, — охотно пояснил капитан. — Те командиры, которые выходят из немецкого окружения, проверяются в особых отделах. До конца проверки они остаются в резерве. Указы о вне-

очередных присвоениях званий фронтовикам — тоже много лишних командиров наплодили. Пробыл лейтенант два месяца на фронте — ему старшего лейтенанта дают, ранен — опять внеочередное производство, орден получил — еще один чин. Смотришь, через четыре месяца лейтенант уже не лейтенант, а капитан или того больше — майор. Взвода ему дать нельзя, слишком большой чин, для роты не подходит — знаний и умения не хватает, вот и держат такого горемыку в резерве.

Василий Иванович как-то разом почувствовал себя в родной и привычной обстановке. Разговорившись с капитаном, узнал, что они служили в одних и тех же городах, даже имели общих знакомых. Стали обсуждать вопрос о том, куда бы направиться сегодня вечером. Кто-то сказал, что в кинотеатре последний сеанс начинается в одиннадцать часов. Чугунов с капитаном решили пойти в кино.

В просторном фойе кинотеатра было холодно, как на улице, но гораздо неуютнее, чем на улице, потому что виски сдавливал воздух, пропитанный запахом махорки и дешевых папирос. На окнах намерзли глыбы льда, на стенах поблескивал иней. Стулья вдоль стен пустовали. Люди сбились в кучу посредине зала, прижимаясь друг к другу, переминались с ноги на ногу. От них валил густой белый пар. В зрительном зале стоял глухой равномерный гул. Люди постукивали ногами, чтобы согреться.

Когда картина кончилась и загорелся свет, у дверей появились красноармейцы с красными повязками на рукавах. Кто-то, то ли в насмешку над их появлением, то ли всерьез, щелкнув крышкой часов, громко сказал:

— С Новым годом, товарищи!

Красноармейцы стояли у дверей, сосредоточенно просматривая документы у проходивших мимо мужчин.

ГЛАВА II

Ночь... Смутной, расплывающейся массой батальон идет на запад. Мягкая дорожная пыль, согретая горячим июльским солнцем и не успевающая остыть за короткую ночь, обволакивает плотным облаком нестройные колонны красноармейцев, подводы, пушки, оседающая на лицах людей, забираясь в рот, нос, уши, неприятно поскрипывая на зубах.

Красноармейцы идут молча, медленно передвигая ноги, устало согнувшись под тяжестью вещевых мешков, скаток, оружия.

Изредка прорежет ночной воздух лошадиное ржанье, повиснет где-то в темноте брань, стукнет колесо, звякнет котелок или фляга, и опять ничего не слышно. кроме мягкого шороха шагов и неплотно подогнанного снаряжения.

Все устали, голодны. Никому не хочется говорить.

Уже восемь дней полки не имеют отдыха, совершая в сутки марши по тридцать — пятьдесят километров. Люди идут, низко опустив головы, думая о прошлом, об оставленных где-то близких и дорогих людях и больше всего о том, куда с такой поспешностью гонят дивизию. Идут, механически переставляя ноги, тупо глядя на расплывающуюся в темноте серую ленту пыльного степного шляха, с единственным желанием броситься где-нибудь на землю, вытянуть уставшее от бессонных ночей и непосильных маршей тело и спать, спать, спать.

Подразделения перемешались. Красноармейцы первого батальона очутились около повозок транспортной роты, дивизионные пушки вклинились в состав стрелковых рот.

В кювете, у дороги, распластавшись на земле, лежит боец. Не все могут

выдержать тяготы пятидесятикилометровых маршей. К концу перехода таких, как этот, становится все больше и больше. В хвосте каждого батальона идут специально выделенные для подтягивания отстающих командиры. В их распоряжении находится санитарная двуколка, но еще на середине перехода она до отказа набивается больными, измученными людьми.

От колонны отделяется темный силуэт, идет к лежащему на земле красноармейцу.

— Почему лежите? Встать! Красноармеец делает слабое движение, приподнимает голову, затем, встав на четвереньки, тяжело опирается на винтовку и медленно выпрямляется. Даже в темноте видно, как дрожат у него колени.

— Из какого батальона? Почему отстали?

— Не могу, товарищ командир. Сил нет. Ноги потер, кровь идет.

— Не разговаривать! Догоняйте свое подразделение.

Чувствуется, что командир сам смертельно устал, что кричит он механически, как заведенный патефон, десятки раз повторяя одну и ту же фразу, зная заранее, что этот измученный человек, пройдя еще пару шагов, снова ляжет на землю и никакая сила не заставит его идти вперед.

А не кричать нельзя, — нужно выполнять нудную, надоевшую обязанность.

Обе тени направляются к дороге. Тяжело перепрыгнув через канаву, командир сливается с колонной полка, красноармеец, постояв немного, медленно опускается на землю.

Всходит солнце, когда запыленные подразделения вступают в большое село. Квартирьеры встречают своих людей и разводят их по домам. Еще долго будут подходить отставшие бойцы, и целый день на перекрестке дорог, около регулировщика будут слышны их расспросы:

— Не знаете, где остановилась батарея сорока пяти?

— Где второй батальон?..

Многие приходят в свои роты только к вечеру, когда те уже готовятся к выступлению на новый марш, некоторые отстают на несколько переходов.

Наскоро смыв дорожную пыль, люди заваливаются спать в хатах, под навесами или просто на траве, полжив под голову противогаз и укрывшись шинелью. С огородов, цепляясь за верхушки вишневых деревьев, тянется сизый дымок полевых кухонь.

Только около большого дома, в котором разместился штаб полка, заметно оживление. В просторной горенке начальник штаба полка, еще совсем молодой капитан с насупленными бровями, посеребрившим от бессонных ночей лицом, стоит около радиостанции, нетерпеливо ожидая связи со штабом дивизии. Радист щелкает переключателем, дует в микрофон, монотонно повторяя:

— Урал, Урал! Я — река, почему не отвечаете? Перехожу на прием, перехожу на прием. В трубке что-то трещит, щелкает, радист опять поворачивает переключатель, и опять раздается его усталый голос.

— Не отвечают еще, товарищ гвардии капитан.

— Продолжайте вызывать. Я скоро приду.

Из окна видно, как у соседнего дома, широко расставив ноги, умывается командир полка, подполковник Потапов. Он без гимнастерки. Из кармана торчит мохнатое полотенце. Над ним стоит его коновод и льет воду прямо из ведра. Светлая, холодная струя, раскалываясь о загорелую шею, рассыпается веселыми, сверкающими на солнце брызгами.

Наскоро побрившись, стряхнув пыль с сапог, капитан Давыдов идет с докладом к командиру полка.

Тот уже сидит за столом, накрытом белой скатертью, и пьет чай.

— А, вот кстати! — дружелюбно встречает он своего начальника штаба. Проголодались, наверное? Коля, чашку капитану.

— Спасибо, Павел Петрович.

— Из штаба дивизии ничего нет?

— Нет, товарищ гвардии подполковник.

— Хорошо было бы денька два отдохнуть, устали все.

Оба они знают, что отдыхать не дадут, что скоро из штаба дивизии последует новый приказ на марш и генерал будет кричать по радио: «Не задерживаться! Вперед!»

Говорят они об этом только потому, что люди достигли предела напряжения и усталости и не говорить об отдыхе нельзя.

— Да, отстающих с каждым днем все больше и больше.

Между командиром полка и его начальником штаба давно уже, с памятных дней обороны Москвы, где они впервые встретились, установились теплые, дружеские отношения и та сработанность, когда один понимает другого с полуслова.

Подполковник Потапов — старый царский офицер. У него сильное, энергичное лицо с полными, резко очерченными губами. На большой голове седые, с зеленоватым отливом волосы, гладко зачесанные назад. Во время первой мировой войны Потапов командовал батальоном. Перед октябрьским переворотом в бою ему прострелили обе ноги, и он надолго оказался прикованным к постели. Потом — поиски работы, вызовы в ГПУ — НКВД, аресты, тюрьмы, лагеря. За двадцать лет советской власти его арестовывали четыре раза. Вторая мировая война застала подполковника в должности счетовода в каком-то совхозе на Волге. В 1941 г. снова пришлось надеть военную форму. Дали ему сначала роту, очевидно не обираясь доверять бывшему царскому офицеру, но он быстро выдвинулся, получил батальон, а затем и полк. К своему молодому начальнику штаба относился с отеческой мягкой теплотой.

Капитан Давыдов отодвинул чашку.

— Разрешите идти, Павел Петрович? Может быть, приказ принесли.

— Идите, Александр Николаевич. Если принесут, сообщите немедленно.

Когда капитан вернулся в штаб, оперативный дежурный вручил ему пакет из штаба дивизии. Это был приказ на марш. В нем было указано: «Противник развивает наступление на Новочеркасском направлении». Дивизии, помимо маршрута, ставилась боевая задача — выйти к Дону и прикрыть Н-ский рубеж.

Взяв приказ, капитан поспешил к командиру полка. Тот уже отдыхал, вытянувшись на широком потертом диване, без пояса, руки за голову.

— Что, приказ? — спросил он, поднявшись и спуская ноги на пол.

— Так точно, товарищ гвардии подполковник.

— Выступать? Сегодня?

— Да.

Потирая затекшую щеку рукой и скосив глаза на бумагу, Потапов стал читать. Постепенно лицо его приняло озабоченное выражение. Подняв голову, спросил начальника штаба:

— Вы с этим ознакомились?

— Ознакомился, товарищ гвардии подполковник.

Командир полка снова взял приказ, долго сверял его с картой, делая пометки на ней толстым красным карандашом, и, положив, наконец, все это на стол, тихо сказал:

— Ну вот, настал и наш черед.

— Да, кажется, скоро придется встретиться.

Подполковник встал, застегнул ворот гимнастерки. Перекинул через плечи ремни снаряжения, затянул пояс.

— Александр Николаевич, я вас попрошу немедленно вызвать командиров батальонов и спецподразделений и сразу же после совещания самому проехать вперед, к Дону. Хорошо изучите местность, — если нас всегда будут информировать так, как информировали до сих пор, мы носом к носу столкнемся с немцами. Может быть, на Дону придется обороняться, а может быть — форсировать его и идти навстречу фронту. И в том, и в другом случае необходимо знать переправы, местность вообще. Бензин у вас есть?

— Есть.

— Когда соберутся командиры, доложите мне.

*

Днем, когда полк отдыхал, капитан Давыдов выехал на мотоцикле вперед. Движение колонны его не связывало и, пустив машину на полный газ, он с наслаждением вдыхал бьющий в лицо сухой, горьковатый воздух, напитанный запахом отцветающей степи. На горизонте струилось голубоватое море. Мягкая пыль, поднимаясь за мотоциклом плотной белой гривой, оставалась висеть в неподвижном знойном воздухе.

Густая рожь с синими крапинками васильков обступила дорогу со всех сторон. Истомно поникли от жары тяжелые колосья. По полю медленно плыли, лениво перекачивались сизоватые волны.

Давыдов жадно осматривался вокруг, наслаждаясь тем, что, наконец, один. Последнее время штаб был с головой погружен в суету подготовки и проведения маршей. Для сна времени не оставалось. Можно было немного подремать в седле при движении колонны. Помимо физической усталости, угнетала необходимость постоянно быть с людьми. Хотелось хоть на несколько минут остаться одному. А это было невозможно. Даже когда уходил на отведенную ему квартиру, поминутно раздавались стук в дверь или гнусавое гудение полевого телефона.

И сейчас, окидывая взглядом широкую степь, синее июльское небо, по которому медленно плыли плотные кучевые облака, он отдыхал от напряженной усталости последних маршей и грязных комнат штаба, всегда набитых людьми.

Застывшая, знойная тишина. Бабочки, порхающие над рожью. Всё — такое спокойное, мирное, и трудно было подумать, что где-то, сравнительно недалеко отсюда, проходит фронт, гремит канонада, запыленные люди с перекошенными от страха и злобы лицами куда-то бегут, падают, поднимаются и снова бегут.

Еще труднее представить, что пылающий вал войны может докатиться и сюда, что в той вон лошадке с маленькими кустиками установят, быть может, батарею, бугор перережут линиями окопов, а тучную, не созревшую еще рожь искромсают, помнут тяжелыми гусеницами танков и самоходок.

Дорога вынесла Давыдова на сожженный солнцем бугор, покрытый колючей сухой травой. С него открывалась широкая панорама полей, уходящих вниз. Впереди, километрах в пяти, справа налево, пролегла сплошная узкая полоса зеленого леса, из-за которого кое-где выглядывал сверкающий на солнце Дон. Еще дальше, затуманенные голубоватой дымкой, громоздились высокие крутые отроги правого берега. И на той, и на этой стороне раскинулось несколько деревень.

Работающие на поле колхозники, увидев незнакомого мотоциклиста, останавливались, загородив глаза от солнца, подолгу смотрели вслед.

Дорога нырнула в тенистый парк, за которым раскинулась большая станция с широким и пыльным майданом.

Против каменной церкви стояло здание стансовета с неуклюжей вывеской над покосившимся крыльцом. На улицах не было видно ни души. Только куры, ковырявшиеся в дорожной пыли, с отчаянным кудахтаньем бросились в разные стороны.

Александр Николаевич выключил мотор, прислонил мотоцикл к заставке, взобрался на крыльцо. В окне мелькнула и тотчас скрылась чья-то одутловатая, небритая физиономия. Отворив обитую войлоком дверь, Давыдов вошел в помещение. В большой душной комнате было пусто. На облупившихся грязных стенах висело несколько пожелтевших плакатов. По пыльным стеклам ползали сонные мухи.

В углу из-за стола выжидающе смотрел на вошедшего нескладно — долговязый человек.

— Разрешите узнать, кто вы такой?

— Секретарь стансовета.

— А где председатель?

— Уехал по хуторам. Если хотите, можно вызвать.

— Нет, спасибо. Не беспокойтесь. Мне хотелось кое-что узнать, наверное вы можете в этом помочь.

Разложив на столе карту, капитан стал спрашивать. В этом районе правый, противоположный берег Дона крут и обрывист. Левый значительно ниже. Есть несколько паромов, два из них не работают, сняты канаты. Позавчера появились первые немецкие самолеты.

Давыдов решил немного отдохнуть и ехать смотреть переправы. Сильно хотелось есть, но с собой ничего не было, просить же у кого-нибудь в станице было неудобно.

Он завел мотоцикл во двор, примыкающий к зданию стансовета. Там под навесом стояло несколько плугов, веялка и телега со свеженакошенной травой. Давыдов забрался на нее и с наслаждением вытянул затекшие ноги. Хотел было снять сапоги и ремни снаряжения, но едва только лег — усталость навалилась стопудовой тяжестью. Глаза начали слипаться, мысли закружились, насканивая одна на другую: «Как бы не проспать. До вечера нужно еще многое сделать. Завтра утром придет полк. Хватит ли бензина? Однако как хочется есть. Сейчас бы хлеба, большой кусок черного хлеба, посыпанного солью»... Голова отяжелела, в глазах поплыли зеленые и красные круги, и Давыдов забылся коротким беспокойным сном.

Еще не проснувшись окончательно, он услышал под навесом чьи-то шаги и шорох травы, на которой лежал. «Надо проснуться», думал он, и не мог. Душно. Тело покрыто противной, липкой испариной. Ворот гимнастерки врезался в шею и мешает дышать. Рука поднялась, чтобы расстегнуть пуговицу и бессильно упала на грудь. Около него что-то звякнуло и в лицо ударил сытный, теплый пар чего-то горячего и вкусного. Это было так неожиданно, что он сразу открыл глаза и приподнялся. Рядом стоял старый казак в холщевой рубаше с длинными

опущенными вниз прокуренными усами. Он подвинул ближе поставленную на траву большую миску с варениками, залитыми сметаной, и, показав на нее рукой, сказал:

— Проголодался, наверное? Вот, покушай.

— Спасибо.. Только я не знаю, как же это, право...

— Кушай на здоровье, — повторил старик и, повернувшись, направился к дому. Проводив его взглядом, капитан расстегнул ворот гимнастерки, вытер с лица пот и жадно принялся есть.

Повеселев после обильной и вкусной еды, Давыдов сел на мотоцикл и отправился к Дону.

Справа от дороги раскинулись песчаные холмы с низенькими соснами и чахлыми кустиками пожелтевшей травы. Слева, за зеленой грядой леса, громоздились отвесные скаты противоположного правого берега. Он тяжело навис над невидимым отсюда Доном огромными глыбами камня, обнаженными пластами красной глины и известняка.

Давыдов въехал в густой осинник и сразу увидел впереди светлую полосу воды. Повеяло прохладой и сыростью. Он сошел с мотоцикла и по грязной, разбитой дороге спустился вниз, к реке. К берегу прилепились ветхие, грубо сколоченные мостки, он взошел на них и начал осматриваться.

Дон спокойно нес свои тяжелые, светлые, сверкающие на солнце воды. Иногда отдельная струя с журчанием вырывалась вперед, крутилась на одном месте, свертывалась в воронку, гасла, и опять спокойно и величественно катились эти воды, пропадая за крутым поворотом налево.

Изредка рыба, блеснув чешуей на солнце, с всплеском выскакивала наверх, и тогда по поверхности реки медленно расходились широкие, плавные круги.

На правом берегу раскинулись белые мазанки хутора Егорьевского. Они прятались в садах, уходили в овражки и опять появлялись на широкой улице, вдоль дороги, уходящей вверх.

Давыдову захотелось искупаться. Быстро раздевшись, он прямо с мостика бросился в воду. Настоящее наслаждение от купанья можно получить только на фронте или на походе, когда много дней не снимаешь сапог, когда пропылилось всё, и белье от пота и грязи становится твердым, а на гимнастике выступает соль.

Погрузившись с головой в прохладную воду, Давыдов почувствовал, как вместе с грязью сходит с него многодневная усталость. Он набирал полные горсти речного песка, докрасна натирал им всё тело, плавал, опять натирался песком и опять плавал, до тех пор, пока зубы не начали выколачивать дробь.

Погревшись на солнце, он оделся и начал кричать на тот берег, вызывая перевозчика. Из маленького домика у самой реки выпшел старик, посмотрел на капитана, заслонившись рукой от солнца и заковылял к лодке. Когда она пристала к левому берегу, Александр Николаевич вскочил в нее и сел на корму.

— Что же, машину не возьмете с собой? — спросил старик, кивнув на мотоцикл.

— Нет. Я сейчас вернусь.

Лодка отчалила. Левый берег стал удаляться, вода с тихим журчаньем ударяла в борт.

— Издалека будете? — после некоторого молчания спросил старик.

— Из Москвы.

— А куда теперь направляетесь?

— Да вот хочу ваш хутор посмотреть.

— Чего же его смотреть. Хутор, как хутор. Раньше, когда колхозов не было, было чего посмотреть, а теперь... — старик, выпустив весло, махнул рукой.

Давыдову захотелось его подзадорить.

— Что ж вы, плохо живете?

Перевозчик сердито блеснул глазами.

— А чего хорошего? Работаешь, работаешь, на кого работаешь — сам не знаешь. У меня три сына, все в город ушли. Я от них ничего не получаю, и сами они раздетые и разутые сидят.

Старик помолчал, потом добавил: — Бог даст, кончится война, лучше будет.

— А когда война кончится?

— Скоро. Куда уж дальше воевать? Напобеждались! Хватит. Вас жалко, — с горечью продолжал он, — вам бы жить да жить, а вас на убой гонят. Из нашего хутора сколько уж народу побили. По всем станицам вой идет. Было бы за что, а то...

Лодка мягко ткнулась в песок. Давыдов выпрыгнул из нее, а старик, сердито гремя цепью, стал возиться с причалом. Попросив его не уходить далеко, капитан пошел по берегу. Вскоре он увидел небольшой паром и около него свернутый стальной трос.

Чумазий казачонок, которого он встретил на улице, вызвался найти председателя колхоза. Они прошли весь хутор. На окраине из колхозной конюшни доносились голоса. Мальчишка прошмыгнул вперед, заглянул в ворота и вернувшись заговорщицки подмигнул капитану:

— Здесь. Рыжий, в очках. Это и есть председатель.

Давыдов остановился в воротах. Рябой мужичонка с острой бородкой, в очках стоял перед двумя казаками и за что-то их ругал. Александр Николаевич кашлянул и вошел в конюшню. Казаки, увидев его, оборвали разговор на полуслове и поспешно отошли в сторону. Председатель, подняв рыжую бороденку, выжидающе смотрел из-под очков на Давыдова.

— Вы председатель колхоза?

— Я, товарищ командир.

— Мне с вами нужно поговорить. Пройдемте куда-нибудь.

На пути к дому председателя Давыдов спросил его:

— Не хотят люди работать?

— Председатель повернул к нему хитрое изъеденное оспой лицо и жалобно заговорил:

— Не хотят, товарищ командир. Никак не хотят. И раньше силой надо было на поле выгонять, а теперь и вовсе из рук отбились.

Оглянувшись на хаты, словно опасаясь, чтобы его не услышали, шопотом добавил:

— Немцев ждут. Несколько человек уже пропало. Дома говорят что куда-то по делам уехали, а куда им ехать? Прячутся где-нибудь. Боятся, чтобы их в армию не взяли. С немцами хотят остаться.

В небольшой мазанке на глиняном полу сидел мальчишка и мастерил что-то из палочек. Около него бродили две курицы, собирая рассыпанные зерна. При появлении хозяина с капитаном они бестолково заматались и с кудахтаньем выскочили в открытую дверь.

Председатель подошел к столу, торопливо смахнул с него крошки рукой и, пододвинув капитану табуретку, уселся на широкую деревянную скамью.

Мальчишка, отложив в сторону свою игру, поднял огненную рыжую, как у отца, голову.

— Почему у вас паром не действует? — прямо перешел к делу Давыдов.

— Он действует, только трос сняли. Никак не соберемся снова поставить. Времени нет.

— Сколько в хуторе лодок?

— Лодок-то? Раньше, почитай, в каждом доме были, а теперь мало осталось, все негодные.

— Так вот что, товарищ председатель. Вы должны выделить людей, привести в полный порядок все имеющиеся в хуторе лодки и переправить их на левый берег через пять дней, к тринадцатому июля, к двенадцати часам дня. К этому же времени восстановите паром.

Председатель безнадежно заматал руками:

— Что вы, товарищ командир. Ничего я не могу. Люди на работу не выходят.

— Нужно сделать, — перебил его Давыдов. — Снимите колхозников с других участков. Это сейчас важнее.

— Господи Боже мой! Я же вам говорю, что и на других работах они ничего не делают. Какие тут лодки, когда немцы вот - вот придут.

— Поэтому - то я с вами здесь и говорю.

В двери показался здоровенный казак и нерешительно остановился у порога. Увидев его, председатель, как будто обращаясь к нему за поддержкой, жалобно заговорил:

— Аким Матвеевич, скажи вот товарищу командиру, что у нас людей совсем нет. Заставляют все хуторские лодки отремонтировать. Нет у нас людей, товарищ командир, одни бабы остались.

— Сейчас вы говорили другое. Вы говорили, что люди у вас есть, но они не хотят работать.

Председатель виновато заморгал глазами.

— Вот что: — в толосе капитана прозвучала угрожающая нотка, — мне нужно ехать, времени у меня нет. Повторяю в последний раз: к тринадцатому июля лодки должны быть готовы. Уговаривать я вас больше не буду, но предупреждаю, что если вы этого не сделаете, вам будет плохо. Сейчас война, законы существуют военные, ответственность тоже. Всего хорошего, до тринадцатого!

Козырнув, он вышел из хаты.

До середины реки перевозчик молчал, сердито буравя веслами воду. Капитан смотрел на порозовевший в лучах заходящего солнца Дон. Угрюмо нависшие отроги правого берега чем-то напоминали лицо старика. Такие же корявые, обожженные солнцем, в глубоких морщинах, как и сам перевозчик, они принимали самые разнообразные, самые причудливые очертания.

— Кто дома остался? — подняв голову, спросил старик.

— Мать.

— Больше никого нет?

— Нет. Была сестра, да погибла. На фронте, под Москвой.

— А где же отец? Умер?

У капитана что-то застряло в горле. «Расстрелян в 1937 году» — чуть было не сказал он и прикусил губу, чтобы не сказать этого. Старик сразу показался близким и родным человеком, ему захотелось открыть всё, что на протяжении долгих лет он тща-

тельно скрывал от самых лучших друзей.

— Умер. Давно уже, — после некоторого молчания ответил Александр Николаевич и опять подумал о том, что этому старику можно рассказать всё — как «без права переписки» был арестован отец, как его самого исключили из института и как он должен скрывать всё это в армии, где, по течению обстоятельств, ничего не известно о его прошлом. Ему захотелось рассказать старику о том, как замирало сердце, когда его вызывали за чем-нибудь в политический или особый отдел. Чтобы удержать себя от этого желания, капитан торопливо достал портсигар с табаком и протянул его перевозчику. Тот выпустил весла, достал трубочку с вычурным чубуком и стал ее набивать. Лодка медленно поплыла по течению.

За поворотом выступил глинистый обрыв, своими очертаниями поразительно напоминающий человеческую голову. На вершине его росли курчавые кусты, образуя зеленую гриву волос, посередине, похожий на нос, прилепился выступ, по бокам темнели глазные впадины.

Заметив, что капитан пристально смотрит в ту сторону, перевозчик пояснил:

— На голову смотришь? Старики говорят, что на этом месте парень брата убил из-за девки, а потом сам в Дон бросился. А здесь голова выросла, убийца на воду смотрит, брата своего ищет.

Лодку отнесло далеко вниз, когда старик снова взялся за весла. Несколькими сильными рывками он быстро достиг берега. Давыдов достал из кармана пять рублей и протянул их перевозчику.

— Ну, спасибо дед. Не поминай лихом, если обидел тебя чем-нибудь. Только другой раз будь осторожнее, а то нарвешься на кого-нибудь, затаскают.

— Э-э, сынок, кого мне теперь здесь бояться. Скоро пойду на другой суд, ко Всевышнему, а за совет спасибо. Ты деньги-то спрячь, они тебе еще пригодятся. У меня тоже сыны,

вроде тебя, где-нибудь сейчас по свету блукают.

Высыпав на сиденье весь табак, капитан выпрыгнул на берег и быстро зашагал к мотоциклу. Оглянувшись, он увидел, что старик попрежнему сидит в лодке, опустив узловатые рабочие руки, с грустью глядя ему вслед. Он кивнул головой и стал заводить мотоцикл.

*

На рассвете следующего дня полк сосредоточился в станице Тимофеевской, там, где Давыдова угощали варениками. Утром, когда подразделения размещались по квартирам, высоко в небе появились немецкие самолеты.

Днем всё замерло. Глядя на широкую, пустынную улицу, трудно было представить, что в этой станице остановилось более трех тысяч человек. Нигде не было видно ни души. Укрывшись от палящих лучей солнца, люди, разметавшись, спали в тени кустов, под навесами, в хатах. Около домов стояли обозы, замаскированные увядшими уже ветками. В стороне бродили стреноженные лошади.

На Дону появились первые группы отступающих войск. Полуодетые, без оружия, с перекошенными от страха лицами, они производили жалкое впечатление. Глядя на них, можно было подумать, что немцы гонятся за ними по пятам. Довольно часто, не дождавись парома, они бросались в реку и перебирались через нее вплавь. В то же время никто из них не мог точно сказать, где находится фронт. Даже очутившись на левом берегу, они не могли освободиться от чувства паники, и первым их желанием было бежать дальше, на восток.

Из штаба пришел боевой приказ на оборону. Подполковник Потапов, нахмутив брови, прочитал его, сверился с картой, опять начал внимательно читать, как будто не веря тому, что там написано. Подняв голову, с недоумением пожал плечами.

— Что они там, с ума посходили? Какая же это оборона? Пограничные посты и то гуще устанавливают.

Комиссар полка, батальонный комиссар Прокопенко, пододвинул к себе бумагу, посмотрел на нее, глубоко-мысленно что-то промышчал в нос и нерешительно спросил:

— А что здесь такое, товарищ гвардии подполковник?

— А то, товарищ комиссар, что нам приказывают оборонять участок в тридцать пять километров.

— Это что, много?

— Не мало. Этот фронт в худшем случае должен занимать корпус.

— Гм... А сколько занимает полк?

— Три километра. Кроме того, у нас всего полкомплета боеприпасов. Подразделения не укомплектованы, в стрелковых ротах нехватает 20% личного состава.

— Так нужно позвонить в штаб дивизии! Что же это такое? — всполошился комиссар. — Вызовите мне командира дивизии! — обратился он к сидевшему в углу телефонисту и с необычайной для его тучной фигуры легкостью выскочил из-за стола.

— Товарищ ноль один? Говорит река два. Мы с хозяином не совсем понимаем письмо, которое вы нам прислали. Почему так много?... Не понимаете? Почему так широко? Опять не понимаете? Почему так много километров? Ведь нам полагается только три... Ах, Потапова? Он здесь. Его к телефону? Одну минуточку, товарищ ноль один. Товарищ гвардии подполковник, вас к телефону.

Командир полка, слушавший весь разговор с плохо скрытой усмешкой, подошел к аппарату.

— У телефона река один... Нет, я всё понимаю, только мне кажется, что выполнить возложенную на меня задачу имеющимися в моем распоряжении средствами очень трудно, чтобы не сказать невозможно... Понимаю, товарищ ноль один... Есть, прибыть к вам... Слушаю, есть... Есть...

Положив трубку, командир полка подошел к столу.

— Придется занимать. Александр Николаевич, подготовьте боевой приказ. Границы батальонов я вам сейчас помечу на карте. В резерве останутся спецподразделения полка и од-

на рота третьего батальона. Другая рота третьего батальона должна занять оборону на той стороне реки, вот в этом месте. Нам приказано оставить предместное укрепление. Собьют его, конечно, определенно собьют, да ничего не поделаешь. Боевое охранение выставить вот в этих пунктах. Я еду к командиру дивизии, вернусь в восемнадцать ноль ноль. К этому времени соберите командиров батальонов и спецподразделений, а сейчас дайте предварительное распоряжение на марш, к месту сосредоточения.

Командир полка вышел. Через несколько минут послышался топот копыт. В окне мелькнула высокая широкоплечая фигура Потапова верхом на рослой рыжей кобыле, которая шла широкой рысью. За ним галопом скакал коновод.

— Эх, вот посадочка! — с восхищением протянул кто-то в углу.

*

Время стремительно полетело вперед. Рокот войны, как нарастающий шум оркестра, всё ближе и ближе подходил к полку. Тяжелая, ритмическая поступь фронта, заглушая все остальные звуки, всё настойчивее и настойчивее отдавалась в ушах.

Подразделения лихорадочно роют окопы. В некоторых местах работа продолжается и ночью, при свете фонарей. Специальные команды обслуживают паромы и лодки на перевозах. С запада на восток сплошной лавиной катятся отступающие воинские части, эвакуированные, гурты скота. На переправах — заторы, брань, крики, стрельба. Отступающие части нельзя больше назвать частями — это деморализованные остатки их, потерявшие управление, внешний воинский облик и оружие. Они смешались с группами гражданских беженцев, набили машины разным барахлом и мчатся без цели, без маршрута дальше, на восток.

Полк разбогател. Вместо пресного горохового супа и сухарей, бойцы до отвала едят мясо. Лица у всех лоснятся от жира, в походных кухнях варят-

ся бараньи туши. Санчасть переполнена больными желудком. Начальница аптеки не успевает отпускать касторку. Помимо того, что приобрели батальоны, хозчасть полка собрала огромные гурты скота. Особенно много имущества оставалось на правом берегу. Многие, подъехав к переправе и увидев, что у паромов образовалась пробка, бросали подводы, машины, скот и перебирались на левый берег вплавь.

По Дону мечется начальник ветеринарной службы полка, ветврач третьего ранга Балашов. Это очень толстый обрюзглый старик с отвисшими бульдожьими щеками и свирепым взглядом крошечных глазок. Он отчаянный пьяница и матерщинник. Его пропитой рокочущий бас слышен издалека. Горе бойцу, не досмотревшему за конем. Хорошо, если он отделается словесным внушением, многие испытывали на себе тяжесть балашовского кулака. Его несколько раз вызывал командир полка, отчитывал за рукоприкладство, — Балашов каялся, обещал никогда никого не трогать пальцем, но стоило ему увидеть где-нибудь потертую спину лошади или побитые ноги, все обещания выскакивали у него из головы, и он, брызжа слюной, с ревом кидался на виновного. Командир полка очень ценил Балашова и при возникновении инцидентов всегда старался защитить чудаковатого старика. Начальник ветслужбы был великолепным врачом и с какой-то болезненной страстью любил лошадей. Свои отношения с людьми он строил в зависимости от отношения этих людей к лошадям. Хорошо относился к тем, кто их любил и разбирался в них, и считал кровными врагами тех, кто бил коня или, того больше, по недосмотру калечил. Брюзга и грубиян с людьми, ветврач преображался, когда попадал к лошадям. Откуда брал он столько ласковых и нежных слов, когда, глядя по морде какую-нибудь савраску, привычно ощупывая ноги и холку, — ворковал что-то под нос сквозь свои колючие прокуренные усы.

Несмотря на грубость и нелюдимо-

сть, его очень любили в полку и за глаза называли дедушкой. Сейчас он собирал лошадей везде, где только можно было. Сутками пропадая на переправах, выклячивая коней у отступающих красноармейцев, гуртовщиков, а иногда — просто забирая вместе с подводой из-под носа какого-нибудь зазевавшегося ездового из отступающих.

Все заболели шпиономанией. В каждом незнакомом человеке, который появлялся на линии обороны, видели провокатора или агента. Боевые донесения батальонов запестрели сообщениями о тайнственных световых сигналах, замеченных в разных районах полка.

Как-то перед вечером в штаб привели человека, задержанного в первом батальоне. Он плыл по Дону в маленькой лодочке, внимательно осматривая левый берег. На нем была красноармейская форма, но слишком новая, и это навело на подозрение бойцов, рывших окопы. Его окликнули, приказали пристать к берегу. Выйдя из лодки, человек сказал, что его послал командир батальона в соседнюю станицу купить яиц, и в доказательство предъявил увольнительную записку. Это еще больше навело на подозрение: на фронте увольнительных не дают. Назвать фамилию командира батальона он не мог. Во время обыска у него обнаружили грубо набросанную схему обороны полка. Ему было 25-30 лет и рядом с маленьким сморщенным уполномоченным особого отдела Кузнецовым он казался великаном. Он стоял, широко расставив ноги, высокий, красивый и, насмешливо улыбаясь, смотрел на беснующегося Кузнецова. Уполномоченный особого отдела, устав кричать, размахнулся и ударил арестованного по лицу. Тот дернулся, как будто приготовившись к прыжку, мускулы на его широкой груди вздулись большими узлами. Одним ударом он мог бы убить тщедушного Кузнецова. Тот, поняв это, поспешно отпрянул назад, бросив сопровождающим красноармейцам:

— На машину!

Задержанного вывели во двор. Он шел, осторожно ступая босыми ногами по колючей траве. У грузовика, едва коснувшись руками борта, легко и упруго вскочил в кузов. Следом за ним забрались и конвоиры. На следующее утро его расстреляли в особом отделе дивизии.

Рано утром где-то за Доном раздались глухие мощные взрывы. Стекла в окнах жалобно зазвенели. Через некоторое время высоко в небе послышался шум мотора. Самолет с черными крестами на плоскостях, блестя оперением, делал над станицей красивый широкий разворот. На правом берегу медленно оседали три столба дыма, земли и пыли.

Все как-то сжались и притихли. Не от страха перед этими разрывами. Дивизия около полугода не видела фронта, отдыхая и пополняясь в тылу. Люди невольно отвыкли от него. Последнее время в утомительных переходах, лихорадочной суете, связанной с подготовкой позиций, все как-то забыли о самом главном — о том, зачем их пригнали сюда на Дон, зачем заставляют лихорадочно копать землю. Как будто бы у себя дома, они рылись на берегу, строя землянки, заботливо, похозяйски накладывали накат, спорили из-за нарядов, делились батальонными новостями и в этих заботах невольно забывали о том, что их ждет впереди. А когда этот вопрос все-таки поднимался, в голове мелькала глупая, слабая надежда — а может быть, ничего не будет, может быть, до Дона они не дойдут, может быть, завтра кончится война, может. . . Утешительных «может» и «авось» набирался целый ворох, и они притупляли тревогу, помогали не думать о завтрашнем дне. А эти разрывы разбили у людей их последние наивные иллюзии. Они всколыхнули в памяти уже забытые ужасы фронта, властно напомнили о завтрашнем дне. Было ясно, что немцы все-таки идут, скоро будут здесь и с ними придется встретиться.

Подразделения мобилизовали все средства для перевозки людей и скота с правого берега на левый. Работа идет лихорадочно, круглые сутки.

Бойцы, общаясь с теми, кто вырвался из харьковского окружения, и сами заражались паникой. Из второго батальона вместе с отступающими бросилось бежать на восток около ста человек. Их удалось остановить и вернуть уже в тридцати километрах от реки.

Ночью на западе появились багряные зарева пожаров и мертвенно белые вспышки ракет. На следующее утро разведка полка обнаружила передовые немецкие танки в пятнадцати километрах от Дона.

*

Подполковник Потапов с группой командного состава последний раз выехал на рекогносцировку правого берега. Переправившись на пароме, они медленно поднимались на высоты, ведя лошадей в поводу. Здесь расположились одинокие окопчики бойцов боевого охранения. Они сидели притихшие и подавленные. В перспективе было два выхода: плен или смерть. Если у тех, кто был на левом берегу, была еще какая-то надежда на отступление или на возможность сопротивления, то у этих людей не оставалось ни того, ни другого. Выброшенные далеко вперед от своих позиций отделениями или группами по три-пять человек, вооруженные трехлинейками и двумя — тремя ПТР, они как будто сознательно отдавались на растерзание немецких танков. Подразделения бессмысленно теряли несколько десятков человек. Когда командир полка попросил командира дивизии разрешения выставить боевое охранение только перед районом обороны седьмой роты, занимающей оборону на том берегу, командир дивизии лаконично посоветовал не мудрить, а делать то, что приказано.

Сейчас подполковник Потапов, глядя на затерявшиеся в степи маленькие кучки людей, хмурился и нервно перебирал поводья. Группа всадников подъехала к одному из окопчиков. Низенький коренастый красноармеец в мятной, выцветшей пилотке, на-

двинутой на самые уши, нерешительно спросил у командира полка:

— Скоро немцы придут, товарищ гвардии подполковник?

— Скоро, наверное. Сегодня или завтра нужно ждать. Ну, как у вас? Встретим фрицев?

— Встречать-то нечем, товарищ гвардии подполковник. Этой вот много не навстречаешь ... — красноармеец пренебрежительно кивнул на винтовку, лежащую на бруствере.

— Ничего, вы только пообщипайте немного их разведку, а потом сразу подавайтесь к реке.

Красноармеец потер квадратный подбородок, поросший колючей рыжей щетиной, покосился через плечо на поле, которое нужно перейти, прежде, чем попасть к Дону, и, зябко передернув плечами, с озлоблением проговорил:

— Эх, скорее бы, к одному уж концу!

С тяжелым сердцем возвращались командиры к парому, часто оглядывались назад, как будто навсегда прощаясь с высоким правым берегом.

В этот день к Давыдову в штаб несколько раз заходила Лена Шилова, военврач третьего ранга, командир медсанроты полка. Они выходили вместе в поле, гуляли несколько минут, и потом он возвращался в штаб, а она в свою роту. Последние дни они встречались редко, главным образом — на совещаниях командного состава и, не успев сказать друг другу пары слов, опять расходились по своим местам.

Прочная, теплая дружба завязалась между ними давно, около года назад, когда ее прямо из Института направили в их часть. Эта дружба не была похожа на легкомысленные фронтовые сближения командиров с женщинами. В большинстве случаев знакомства обрывались так же быстро, как и завязывались. В их основе лежало не чувство, а желание найти в суровых, опасных буднях войны маленькую личную радость, которая могла бы немного согреть человека, заставить его, хоть на короткое время, забыться.

В эту ночь никто не ложился спать. Немцы остановились в большой станице, в четырех километрах от Дона. В стороне, приглушенный расстоянием, слышен ровный гул машин. На восток отходят последние остатки частей Красной Армии. Небольшое помещение штаба полка набито людьми. Окна наглухо закрыты одеялами. Жарко и душно. От керосиновой лампы на стены падают огромные уродливые тени. Сейчас неприятно оставаться одному. Поэтому все сбились вместе и молча сидят, опустив головы. На подоконниках, у стола лежат противогазы, автоматы, винтовки. На полу, вповалку, расположились посыльные.

В углу бубнит телефонист, отвечая на вызовы. Каждый раз, когда гнусавит номер телефона, все поднимают головы, вопросительно оглядываясь на него, словно ожидая каких-то новостей.

Период времени, когда отданы все распоряжения и нужно ожидать противника, ничего не делая, особенно неприятен и тягостен.

Командир полка сидит за столом, уставившись невидящими глазами в развернутую перед ним карту ...

— Павел Петрович, — говорит ему Давыдов, — не хотите ли немного пройтись?

— Пойдемте, Александр Николаевич, сам хотел вам предложить ...

Увидев в освещенном прямоугольнике двери командира полка, часовой у входа щелкнул каблуками. Неловко звякнула винтовка. Подполковник и капитан, миновав его, тихо пошли темной деревенской улицей. Далеко в стороне попрежнему надоедливо гудят моторы. Где-то в соседнем хуторе лает собака, за околицей монотонно скрипит дергач. Потапов с Давыдовым вышли в степь. Молча шли по росистой траве, думая каждый о своем. На западе трепетало зарево пожарищ, время от времени вспыхивали ослепительные шары ракет, обливая тусклым, мертвым светом широкую ровную степь.

В штабе сидела Лена, ожидая капитана Давыдова.

— Вы здесь, Елена Даниловна, — встретил ее Потапов со своей обычной, несколько старомодной галантностью. — Вот хорошо. Приходите ко мне ужинать. Спать нам сегодня много не придется, посидим вместе, поговорим.

— Спасибо, товарищ гвардии подполковник, придем.

— Замечательно. Сейчас я прикажу своему Коле приготовить что-нибудь, а вы, Александр Николаевич, передайте оперативному дежурному, что останетесь у меня на всю ночь. В случае чего, пусть позвонит ко мне.

Вскоре они сидели у Потапова за накрытым столом. Его коновод, толстый добродушный мордвин, подавал тарелки.

Подполковник разлил водку в большие граненые стопки.

— Ну, дети мои, — сказал он, торжественно поднимая свой стакан, — выпьем за завтрашний день. Чтобы все было благополучно.

— Будем надеяться, Павел Петрович. Не первый раз. Выкрутимся и теперь.

От выпитой водки по всему телу разлилось приятное тепло. Окружающие предметы стали ярче, выпуклее. Потапов, поудобнее устроившись на неуклюжем деревянном кресле, откинулся назад и, закулив папиросу, задумчиво сказал:

— Люблю я эти предбоевые ночи. Страшно. Очень страшно, а все-таки хорошо. Есть в них какая-то особая сосредоточенная, торжественная тишина. И не хочешь, а думаешь, много думаешь о прошлом, о будущем. Вся жизнь проходит перед глазами. Вспоминается всё, что давно забыто, что в другое время насильно из памяти не выжмешь. Что сделал в жизни плохого, что хорошего. Потом, когда бои идут каждый день, эта острота стирается, а первый день не забываешь никогда.

Из соседней комнаты показалась голова телефониста.

— Товарищ гвардии подполковник, вас товарищ комиссар просят к телефону.

Командир полка недовольно вышел из-за стола.

— Я у телефона. Да, слушаю вас, Владимир Николаевич... Мне написать заявление о вступлении в партию? Ах, перед боем... Я уже вам говорил, Владимир Николаевич, я еще не подготовлен, я чувствую себя недостойным к несению этого высокого звания. Мне еще нужно много учиться. Вот буду Героем Советского Союза, тогда.. Нет я не шучу... Об этом мы поговорим когда-нибудь после. Всего хорошего, Владимир Николаевич, спокойной ночи..

— Комиссар перед боем предложил вступить в партию, — с усмешкой сказал подполковник, возвращаясь к столу. Этот разговор как будто выбил его из колеи. Он расстроено потянулся к бутылке и снова наполнил стаканы. На этот раз он налил себе почти до верху чайный стакан и залпом осушил.

— Раньше как-то проще было, — продолжал он, — перед боем люди белье меняли, Богу молились, а теперь в партию вступают.

— Вы тоже молились, Павел Петрович? — спросила Лена.

— Молился, Елена Даниловна. Я и сейчас хотел бы молиться, да... не могу... Не верю больше. К сожалению. Потому что с верой легче жить было.

Он достал из кармана маленький серебряный образок.

— Это мне жена, когда на фронт уходил, украдкой положила. Она тоже не религиозная, да и много ли у нас осталось людей по-настоящему верующих в Бога, а положила. Еще под Москвой, стал я вещи разбирать — смотрю этот образок лежит. И не верю больше, а оставил его у себя. Не хватило силы выбросить. Скажите, может, это смешно? — настороженно спросил он вдруг.

— Нет, Павел Петрович, — тихо сказал Давыдов, — это не смешно... Это совсем не смешно.

Лена отошла к окну и украдкой вытирала глаза.

Желая как-то разрядить настроение, капитан снял со стены гитару и подал Потапову.

— Спойте вашу любимую, Павел Петрович.

Подполковник взял гитару, привычно тронул струны, и аккорды полились, заметались в небольшой, низенькой комнате.

Выхожу один я на дорогу,

Предо мной кремнистый путь блестит..

Голос у него сочный, сильный, песня крепнет, разливается, наполняя сердце сладкой истомой.

Что же мне так больно и так трудно

Жду ль чего, жалею ли о чем...

Из соседней комнаты показались старый казак, женщина, вышел телефонист. Казак, осторожно став у двери, долго слушал, понутив голову, и со вздохом сказал:

— Хорошо вы поете, товарищ командир. За сердце ваша песня хватает.

— А не разбудил я вас, дедушка? Подходите, выпейте с нами, сами, может быть, споете.

Старик, чинно пригубив стаканчик, сел на лавку.

— Я отпелся. Когда молодой был, тогда действительно... В германскую...

— А где вы служили в Германской?

— Вахмистром Его Величества Донского казачьего полка, — приосанившись, с гордостью ответил старик.

— Значит мы с вами соседями были. Я служил в 10 армии. Штаб ее в Восточной Пруссии стоял, в Маркграбов. Вы, если не ошибаюсь, в состав 1-ой армии входили и, кажется были сезернее нас

— Так вы тоже в германской участвовали?

— Участвовал.

— Кем же вы там были?

— Подполковником. Командиром батальона.

— Старик вскочил, вытянув руки по швам.

— Как же так, ваше благ... товарищ командир. Я думал из старых офицеров никого больше не осталось.

— Нет, встречаются еще. Я-то сам форму только в прошлом году надел. Больше двадцати лет гражданским был.

— Понимаю, понимаю, — задумчиво произнес старик. — Вот ведь судьба какая. Опять вам с немцами пришлось столкнуться. Я-то уж стар стал. Больше не выдержу, а вы... Господи Боже мой, думал ли я когда-нибудь, что опять старых настоящих офицеров встречу. Вы простите старика, если я какую-нибудь глупость сказал, есть у меня наливка. Тридцать лет хранил. Разрешите вас на такой радости угостить.

Не дожидаясь ответа, старик торопливо вышел. Через некоторое время он вернулся с двумя темными бутылками, покрытыми густой плесенью, и со старинным граммофоном. Опять вытянулся перед полковником.

— Не побрезгуйте угощением... Товарищ начальник.

Видно было, как трудно ему сдерживать себя, чтобы опять не назвать подполковника «благородием».

Потапов растроганно обнял старика, усадил его на лавку. В комнате стало оживленнее. Граммофон гнусаил какие-то старинные мелодии. Подполковник и вахмистр вспоминали старую армию, бои, командиров.

Давыдов выбрал среди пластинок вальс «На сопках Манчжурии». Капитан подошел к Лене и, поклонился, щелкнув шпорами.

Подполковник и старик, прекратив разговор, с улыбкой смотрели на танцующих.

У Александра Николаевича приятно кружилась голова. Всё стало необычайно просто и ясно. Тревога и страх перед завтрашним днем растворились, ушли куда-то на задний план. На самом деле, какая может быть тревога, если рядом такие замечательные люди, как Лена, подполковник Потапов, старик вахмистр. Если он любит и его любят, если за плечами всего двадцать шесть лет.

— Хорошо тебе, Леночка? — спросил он.

Она едва заметно кивнула головой и крепче прижалась к нему.

Долго еще в эту ночь сидели они за столом, пели песни, вспоминали о прошлом, и только когда стрелка ча-

сов перешла за двенадцать, подполковник поднялся и сказал:

— Пора, пожалуй, отдыхать. Забот у нас завтра будет много. Вы оставайтесь у меня. Как-нибудь устроимся.

Лена задремала в углу дивана. Светло - золотистые волосы мягкой волной рассыпались по щеке. Давыдов с Потаповым остались еще за столом. Подполковник, полулежа на лавке, медленно достал папиросу, долго мял ее в пальцах и не спеша закурил. Лицо у него осунулось, под глазами появились мешки, по углам рта залегли тяжелые, резкие складки.

— Завидую я вам, Александр Николаевич, — тихо проговорил он. — Может быть, это эгоистично, но хотелось бы, чтобы рядом, так же, как и у вас, был любимый человек. Женщинам здесь не место, я понимаю, а все-таки должно быть легче, если она идет рядом.

— Не завидуйте, Павел Петрович, мне приходится переживать за двоих, за себя и за нее. Последнее еще мучительнее. Сколько бы я дал за то, чтобы отправить ее куда-нибудь в тыл.

— Может быть, вы и правы, — согласился подполковник, — да, чтобы не забыть, — небрежно сказал он, — я хотел вас попросить ... Знаете, всякое может быть ... Если со мной случится что-нибудь, отошлите это письмо по этому вот адресу.

— Что за глупости, Павел Петрович, вы мне третий раз такие письма даете. Помните, еще под Москвой? Думать об этом не следует.

Лена подняла голову.

— Вы думаете, что я сплю? Дайте-ка сюда конверт, Павел Петрович. Быстро, быстро. Саша, где у тебя спички? .. Больше не будете писать?

Подполковник рассмеялся. Он поднялся с лавки и, снимая ремни снаряжения, проговорил:

— Хорошо мне с вами. Как будто сам моложе становлюсь. А сейчас давайте немного отдохнем.

Александр Николаевич вытянулся на диване. Лена пристроилась рядом, положив голову ему на плечо. Подполковник, привернув в лампе огонь, улегся на лавку. Давыдов лежал с

раскрытыми глазами. Сон не приходил. Лена, как будто задремала, ее спокойное ровное дыхание касалось его щеки. У него затекла рука, но, опасаясь потревожить ее, он лежал, подавляя боль. Через некоторое время она открыла глаза и прошептала:

— Знаешь, с тобой мне не страшно. Совсем не страшно. Если завтра будет очень тяжело, я приду к тебе, как тогда, под Вязьмой.

— Спи, Леночка, ты должна отдохнуть.

За окном раздался топот копыт, потом всё смолкло. В соседней комнате слышался приглушенный голос телефониста.

— Урал, я — река, почему не отвечаете?

Лавка, на которой лежал командир полка, еще долго скрипела.

Пропело несколько петухов, когда Давыдов забылся коротким, беспокойным сном. Его разбудил подполковник. Он был совсем одет, затянут ремнями, чисто выбрит.

— Ну, вставайте, Александр Николаевич. Скоро гости придут.

Капитан поднялся. Лена у зеркала приводила в порядок волосы.

Через несколько минут они ушли из дома. Около санчасти девушка остановилась и, обняв Давыдова, поцеловала его.

— Прощай, Саша. Ради Бога, будь осторожнее.

★

Наблюдательный пункт командира полка разместился на высоте, поросшей небольшим зеленым кустарником. С него был хорошо виден весь правый берег, правда, не на всем участке тридцатикилометрового фронта. Как раз напротив НП, на правом берегу, от самого Дона и далеко вверх широко и свободно раскинулась станция Синявинская. Улицы ее словно вымерли, как будто все до одного человека этой ночью оставили ее и перекочевали в другое место.

Командир полка с начальником штаба сидели в верхнем колодце сруба, разложив перед собой карту

и бинокли. Внизу, в укрытии, помещались два телефониста.

Время как будто остановилось. Оно не летело на крыльях, как несколько дней назад, а медленно ползло по пыльным дорогам, растворяясь в знойном июльском мареве. Хотелось его подогнать. Хотелось, чтобы скорее пришли эти самые немцы, чтобы кончилось неопределенное и томительное ожидание.

Где-то далеко, справа послышалась глухая канонада. Подполковник встрепенулся.

— Это у Александрова. Уже пришли.

Загнусавил дивизионный аппарат. Начальник оперативного отделения штаба дивизии сообщил, что в «хозяйстве» Александрова появились немецкие танки с мотопехотой.

Канонада усилилась. Она была глухой и далекой, как будто бы из-под земли, но от ее могучего рокота заметно дрожал колодец НП.

Снизу показалась голова часового.

— Товарищ гвардии подполковник, вас какой-то нужной полковник спрашивает. Разрешите пропустить?

— Конечно, конечно. Пропустите.

Из хода сообщения донеслись неуверенные шаги. Кто-то споткнулся, затем осторожно по лестнице забрался наверх. Потапов наклонился к нему навстречу.

— Осторожно, товарищ полковник, лестница неустойчивая. Простите, не могу вас встретить.

— Ничего, ничего, я уже здесь.

Высокий черный полковник появился на верхнем помосте. Он — командир отдельной бригады, которая в это утро, по приказу командующего фронтом, сосредоточилась в хуторе Завьяловском. Этот хутор находится на участке полка подполковника Потапова. Бригада дальнейших задач не имеет, поэтому ее командир решил связаться с ближайшими войсковыми начальниками.

Подполковник Потапов обрадовался, как ребенок.

— Вот здорово... Может быть, фронт сократят. Подумайте только: я без снарядов, без людей должен обо-

ронять полком 35 километров. А боеприпасы у вас имеются?

— Немного есть. Сегодня придут еще.

Стало спокойнее. За спиной встала новая, крупная часть, которая в случае прорыва может оказать поддержку. Командир полка с командиром бригады договорились установить между собой постоянную связь.

Далеко на горизонте с севера на юг проплыло несколько косяков немецких бомбардировщиков. Артиллерийская канонада приближалась. Равномерный гул орудий разразился короткой, но ожесточенной вспышкой огня. Как будто на землю посыпалось градом что-то тяжелое, гремящее, и вскоре после вспышки загудел дивизионный телефон.

Начальник штаба дивизии срывающим тenorком объявил, что на участке Александрова немецкие танки форсировали Дон и двигаются по направлению к штабу дивизии. Потапов весь свой резерв должен бросить на прорыв.

— Чорт, когда же они успели! Что они, на крыльях, что ли летают? — недоумевает подполковник.

Жалкие остатки его резерва на подводах потащились к штабу дивизии. До него более тридцати километров. А немецкие танки будут там через полчаса.

Командир первого батальона, а затем и второго, сообщили, что к ним также подошли немцы. Немецкие колонны идут вдоль Дона, занимая его сверху вниз.

Наконец, как раз напротив НП командира полка далеко на горизонте закурилась дорожная пыль. Справа налево ползли крошечные, черные точки. Пальцы впились в бинокль. Точек становится всё больше и больше. Они идут бесконечной вереницей, скрываясь за высотками и появляясь вновь на открытых дорогах. Часть точек отделилась от колонны и пошла по дороге вниз, к Дону, к станции Синявинской. Остальные попрежнему двигались дальше. Те, которые свернули к реке, начали вырастать. В бинокль ясно можно различить очер-

тания танков с игрушечными башенками, автомашины с пехотой. Донесся слабый шум моторов. Не доходя до станицы, танки развернулись фронтом и пошли целиной.

— Красиво идут, — бросил подполковник, не выпуская из рук бинокля.

Передние машины остановились на окраине станицы, постояли немного, затем медленно поползли вниз по улице. Теперь их хорошо видно даже невооруженным глазом. Шум моторов становился все более мощным.

Давыдов спустился к телефону — передать обстановку в штаб дивизии.

— Александр Николаевич, — идите сюда! — донесся взволнованный голос подполковника, — смотрите, колхозники немцев встречают. Ах, сволочи!

Потапов нервно кусает губы. В Синявинской из лощины на дорогу, навстречу немцам, вышла большая толпа. Яркие, праздничные платья, белые рубахи, впереди старик несет что-то в руках, наверное хлеб и соль. У многих казачек букеты цветов. Танки подошли к толпе и остановились. Солдаты, спрыгивая с машин, смешались с людьми.

— Товарищ гвардии подполковник, вас товарищ комиссар просят к телефону.

Снизу телефонист протянул телефонную трубку. Из нее слышен визгливый голос батальонного комиссара Прокопенко:

— Павел Петрович, нужно открыть огонь! Что за безобразие! На виду у бойцов!..

— Владимир Николаевич, у нас нет снарядов. Мы должны экономить каждый выстрел. Впрочем, если хотите, прикажите сами. Вы находитесь на артиллерийском НП.

— Хорошо, я их сейчас проучу.

Давыдов с Потаповым снова уткнулись в бинокли. Толпа не убывает. Напротив, со всех сторон подходят все новые и новые люди. Несколько танков снялись и медленно поползли к Дону. В это время позади и правее НП глухо охнуло орудие. Через несколько секунд еще раз — и батарея разразилась дружными залпами, следующими один за другим. Снаряды

с визгом полетели на ту сторону. Кажется, что толпа на мгновение замерла, и как раз в это время, немного в стороне от нее, а потом посередине, там, где было особенно много людей, выросли курчавые облачки разрывов. Через несколько секунд донеслись тяжелые, раскатистые взрывы.

Когда они разметали людей, когда в воздухе мелькнули яркие платки и толпа врассыпную бросилась в разные стороны, Давыдову послышался душераздирающий женский визг. Он знал, что этого не может быть. За два километра нельзя услышать человеческого голоса, тем не менее этот визг продолжал стоять в его ушах, визг надрывный, отчаянный, на одной высокой ноте. По спине пробежал мороз.

Подполковник Потапов, опустив бинокль, невидящими глазами смотрел на ту сторону.

Первый залп по своим, — сказал он глухо.

Синявинская мгновенно опустела. Только на дороге остались лежать убитые, да немецкие танки спокойно спускались в лощину.

Капитан Давыдов начал войну зрым, сознательным антибольшевиком. Когда немцы перешли советскую границу, он, как и многие другие люди, вздохнул с облегчением. Кажется, что коммунистической тирании пришел конец. Смутно вырисовывались перспективы будущего. Было ясно — хуже не будет. Он радовался успехам немецких войск. Они приближали развязку. И тем не менее, когда он увидел своих, русских женщин, протягивающих немцам цветы, ему стало больно. Больно — потому, что за весь страдный фронтовой путь, который пришлось ему проделать, наступая и отступая, его так не встречали ни разу. Ему вспомнилась зима под Москвой, морозы, занесенные снегом деревни, машины, брошенные около дорог. Штурм немецких позиций четвертой ударной армии. Он вспомнил группы людей, которые отчужденно жались около домов, испуганно поглядывая на проходящие мимо подразделения Красной Армии, только

что освободившие их от немцев. Ни те, ни другие не подходили друг к другу, как будто это были люди разных, враждебных наций. Как сильно должен был ненавидеть русский народ советскую власть, если он радуется поражению армии, защищающей эту власть, несмотря на то, что в этой армии находятся отцы, братья и дети!

Снова и снова, который уже раз, в голове Давыдова поднимался мучительный вопрос — зачем воевать дальше?

На Дону слышались ружейные выстрелы, короткие пулеметные очереди. В районе обороны седьмой роты завязалась ожесточенная перестрелка. Недалеко от НП в воздухе разорвалось несколько шрапнелей. На фоне темносинего неба повисли рваные красные, черные и желтые облачки дыма. С визгом пронеслись где-то пульки, хлестнув по густому зеленому кустарнику. Немцы властно заявили о своем приходе.

Беспокоило сообщение из штаба дивизии о том, что немецкие танки прорвались на участке у Александрова. Давыдов связался с оперативным отделением. Начальник отделения смущенно заявил, что сообщение было ошибочно: Дона немцы еще не переходили. Они окапываются на правом берегу. Резерв можно вернуть назад.

Было очевидным, что в этот день немцы останутся еще на той стороне. Командир полка приказал штабным командирам пообедать и выехать в батальоны для изучения обстановки.

*

Конь, ёкая селезенкой, бойко бежал по дороге к Дону. Давыдов направился в восьмую роту. Она занимала оборону левее седьмой, которая должна была удерживать предместное укрепление на правом берегу. В донесении командира третьего батальона было сказано: вся седьмая рота полностью уничтожена. Только единицам удалось переправиться через Дон. Теперь около семи километров фронта остались открытыми.

Дорога шла мимо хутора Егорьевского. Там несколько дней тому назад Давыдов разговаривал с председателем колхоза. Он свернул к берегу и осторожно, стараясь не высовываться из-за кустов, посмотрел на ту сторону. Как и прежде, около самой воды стояла маленькая избушка перевозчика. Там было пусто. Небольшие охровые ставни плотно закрыты. Одинокая корова лениво бродила на огороде, пощипывая траву. Он долго смотрел туда, в надежде увидеть старика — перевозчика, но на всей улице не видно было ни души. Только в стороне от хутора догорал одинокий дом. Ветер доносил сюда горький, сухой дым пожарища.

Недалеко в лесу изредка раздавались резкие ружейные выстрелы. В ответ на это с той стороны дробным густым басом огрызнулся немецкий пулемет. Словно передразнивая его, из леса доносилось эхо пулеметных очередей. Птиц, и тех взбаламутили, — подумал Давыдов. За поворотом слышалось тарахтенье колес, из-за кустов показалась двуколка. Укрытый окровавленной шинелью, на ней лежал раненый боец, его запрокинутая бледная голова бессильно качалась от тряски из стороны в сторону, как будто он нарочно мотал ею, упрямо не соглашаясь с чем-то. Ездовой, увидя посторонившегося капитана, подобрал возжи и неуклюже козырнул.

— Из какой роты? — спросил его Давыдов.

— Из восьмой, товарищ гвардии капитан.

Командный пункт командира восьмой роты размещался в двух небольших землянках. Командир, лейтенант Комаров, высокий, флегматичный, с лицом, усеянным черными точечками, сидел у входа в блиндаж. Около него на перевернутом ящике стояла тарелка с мясом, огурцы и бутылка самогона.

Увидев подъезжающего капитана, он поднялся, неловко поддерживая левую руку.

— Вы что, ранены? — спросил Давыдов, устало слезая с коня.

— Немного оцарапало, товарищ гвардии капитан. Миной.

— Почему не направились в медсанроту?

— Ничего, пройдет и так. Миша, — крикнул он в сторону, — возьми коней у начальника штаба. Может быть, присядете, товарищ гвардии капитан? Разрешите вас с дороги угостить.

Давыдов опустился на траву. Комаров пристроился около ящика и разлил по стаканам самогон.

— Ну, вот и встретились с немцами, — продолжал он, закусывая водку огурцом, — что-то теперь дальше будет. Пока еще легко отделались.

— Как сказать, вся седьмая рота уничтожена.

— Это верно, жалко. И Трофимов погиб.

— Да, вы не знаете, при каких обстоятельствах погиб командир седьмой роты?

— Разное говорят. Один красноармеец говорил мне, что видел собственными глазами, как Трофимов стоял с поднятыми руками и его обыскивали немцы. Другой утверждает, что он отстреливался из пистолета от автоматчиков и его убили. Не поймешь, где правда.

Как живой, встал перед глазами капитана командир седьмой роты, лейтенант Трофимов, с озорными глазами, огромным рыжим чубом, который буйно выбивался из-под лихо надвинутой набок фуражки. Подвижный, как вьюн, весельчак, плясун и запева-ла на коротких привалах и на отдыхе, Трофимов был душой полка. Как-то трудно было представить его сейчас неживым, затоптанным где-нибудь на дне окопа в грязный песок.

Давыдов с Комаровым пошли смотреть передний край. В лесу раздавался стук топора.

— Сегодня я одного офицера срезал, — говорил Комаров, шагая рядом с капитаном, — подъехали на танках, а потом вышли из них и прямо к Дону. Человек десять. Впереди идет важный, толстый, весь в серебре. Подошел к реке и давай в разные стороны руками показывать. Стоит во весь

рост, как на параде. Ну, я его из снайперовской и стукнул. Остальные по кустам разбежались, а он до сих пор на песке лежит.

— Части, видно, подошли непуганные, — задумчиво произнес Давыдов, — привыкли к легким маршам, без боев. Вот и суются на рожон. Это у вас пулеметный блиндаж? Зайдемте.

По ходу сообщения они спустились вниз. После яркого солнечного света глаза залепил влажный полумрак темной землянки. Навстречу поднялись два силуэта.

— Как у вас дела? — спросил Комаров. Боец, посторонившись, ответил степенно:

— Ничего, товарищ командир. Германец всё землю копает. По всему берегу, а так всё в порядке. Пока тихо.

Давыдов осторожно подошел к амбразуре, у которой тускло поблескивал тупорылый «Максим». Впереди расстилался широкий спокойный Дон. В его водах, как в зеркале, отразился немецкий берег. На узкой песчаной косе, раскинув руки, лежал убитый немец.

— Комаров, это не ваш крестник лежит? — спросил Давыдов, внимательно всматриваясь в бинокль.

— Мой, товарищ гвардии капитан, он самый.

— Вам не повезло, это не офицер, а фельдфебель.

— Не может быть! Посмотрите, сколько на нем серебра нашито!

— У них фельдфебели нашивок больше, чем генералы, имеют.

— Жалко, а я думал, что по меньшей мере капитана ухлопал.

Немцы окапывались. По бурым выгоревшим высоткам там и сям раскинулись кучки яркожелтого песка. Они росли на глазах. Было видно, как снизу выбрасывались горстки земли, над одним окопчиком показалась голова в каске, опять скрылась. Из-за кустов вышел солдат и, согнувшись под тяжестью какого-то ящика, направился в ложину.

Мир далекий, недоступный, совсем другой отделялся сейчас не железными кордонами государственных границ, а узкой полоской воды. Раньше

о нем читали в газетах, мельком видели в кино, а теперь он подошел вплотную, и люди того мира копают землю на берегу Дона, устраиваются на ночлег в украинских хатах. На высоту напротив блиндажа вышел немец и остановился у одного из окопчиков. Оттуда показалась голова. Немец, продолжая стоять во весь рост, начал что-то объяснять. Наверное, он сердился. Жестикуляция его становилась все горячее. Это было так близко, что в бинокль ясно были видны круглые очки. Его силуэт в характерном прусском шлеме, тяжелых коротких сапогах с широкими голенищами, резко очерченный на фоне неба, поразительно напоминал карикатуры из советских газет.

«Может быть, это он убил мою сестру и многих моих друзей», — мелькнуло в голове у Давыдова, и острая, жгучая злоба стала подниматься против этого тяжелого и грубого солдата. Он, как хозяин, стоит на нашей земле, показывая своему солдату, как лучше устраивать окоп. Из этого окопа он будет стрелять в нас, в меня, в Лёну, в Потапова...

Капитан резко повернул пулемет, продернул ленту, тщательно установил прицел и долго, внимательно целился. Плавнов нажав спусковой рычаг, он пустил в немца длинную очередь. Немец неловко взмахнул руками и упал.

— Здорово срезали, товарищ гвардии капитан, — послышалось за его спиной. Лейтенант Комаров из-за спины начальника штаба смотрел в амбразуру.

— Ну, теперь немец начнет мины бросать, — робко сказал кто-то в углу землянки.

В самом деле, через несколько минут с той стороны послышался минометный выстрел. Над блиндажом прошелестела мина и разорвалась где-то позади. Стены дрогнули, с потолка посыпалась земля. Вслед за первой разорвалось еще несколько мин. Одна из них упала в Дон. От вспененной воронки расходились широкие круги. Как клочья пены, забелели всплывшие наверх оглушенные рыбы.

— Вот видите, товарищ гвардии капитан, — укоризненно обратился к Давыдову красноармеец, — убили вы одного Фрица, так они нам за него ни минуты покоя не дадут.

— Конечно, не дадут. Какой может быть на фронте покой? Я сейчас убил немца, одним солдатом у них стало меньше. Другого вы подстрелите, третьего ваш сосед. Если каждый из нас по одному немцу убьет, то и война будет окончена.

— Так-то оно так, — как будто согласился, чего-то не договаривая боец.

Находясь в обороне, многие бойцы не открывают огня по солдатам противника даже тогда, когда те открыто появляются на переднем крае. Это вызывается страхом ответного обстрела, и с этим явлением командованию Красной Армии не раз приходилось бороться самыми решительными мерами.

*

Вечером в штабе полка состоялось совещание командиров батальонов и спецподразделений. У командира роты автоматчиков рука висела на черном платке, голова начальника штаба первого батальона была перевязана окровавленным бинтом. Командир полка скупно доложил собравшимся об обстановке, не пытаясь скрыть своей тревоги.

— Если немцы перейдут в наступление на нашем участке, мы, занимая такой большой фронт, не сможем его оборонять, — закончил он.

Комиссар полка беспокойно заерзал на лавке, уполномоченный особого отдела сумрачно, исподлобья посмотрел на подполковника.

— Я решил в корне перестроить систему обороны, — продолжал командир полка, разворачивая перед собой карту. — Необходимо укрепить возможные места переправ, — там, где раньше находились паромы, где правый берег отлогий, с хорошим подъездным путем.

— Разрешите, товарищ гвардии подполковник, — поднялся командир третьего батальона, огромный, неуклюжий капитан Медведев, «суровый

капитан», как его называли в полку. — Чем мы будем упреплять эти места. У меня в резерве остался один взвод.

— Я хотел сказать об этом. Снимите огневые средства с других участков, совершенно оголите те места, где берега высокие и обрывистые. Спускаться по пятидесятиметровым скатам немцы, конечно, не будут. Оставьте там патрули с сигнальными ракетами. Имейте в виду, товарищи командиры, помощи вам не будет — даже огнем. Надейтесь только на себя. Вспомните Москву. Здесь мы должны воевать так же, как и там.

Подполковник тяжело опустился на скамью. Когда командиры разошлись, он взял Давыдова за руку и прошел с ним в соседнюю комнату. Опершись на стол, закурил, долго о чем-то думал и, пытливо посмотрев на капитана, сказал:

— А ведь помочь-то нам могут. Как вы думаете, Александр Николаевич?

— Вы имеете ввиду бригаду, командир которой был у вас на НП?

— Угадали. Я нарочно не говорил командирам. Может быть, с этой бригадой ничего не выйдет, а попытаться все-таки надо. Приказа она пока не имеет. Возможно, командир бригады согласится помочь нам, если немцы перейдут Дон. Как вы думаете?

— Тоже так, Павел Петрович. Нужно будет проехать в хутор Завьяловский и встретиться с командиром бригады.

— Я об этом думал. Сначала хотел сам съездить, да в такой обстановке полк бросать не хочется. С другой стороны, может быть возникнет необходимость принять на месте какое-нибудь решение вместе с командиром бригады. Дурака, вроде моего заместителя по строевой, пускать не хочется.

— Разрешите, я проеду, Павел Петрович.

Подполковник на мгновение задумался.

— Не хотелось мне без вас оставаться. Но, пожалуй, на самом деле

придется вам проскочить. Мотоцикл у вас в порядке?

— Нет, зажигание испортилось.

— Тогда верхом. Только поезжайте в обход. Немного дальше, зато безопаснее. На прямой дороге вдоль Дона наших подразделений больше нет. Может быть, там еще немцы. Возьмите охрану. Вообще, будьте осторожнее. Ну, ни пуха, ни пера, Александр Николаевич.

Через полчаса Давыдов, одетый, с автоматом на шее, вышел из дома. Коновод с двумя лошадьми уже стоял у крыльца. Совсем стемнело. Следом за Давыдовым в шинели внакидку на крыльцо вышла Лена.

— Ради Бога, Саша, будь осторожнее. Поезжай окружной дорогой, — попросила она, когда капитан садился на коня.

— Посмотрю, Леночка. Ты не беспокойся. Часа через четыре вернусь. Петя, — обратился он к коноводу, возьми у оперативного дежурного штуки четыре гранаты.

Засунув пару гранат за пояс, он нагнулся, поцеловал Лену и прищипорил коня. Отъехав несколько шагов, обернулся и помахал ей рукой.

Окружная дорога на Завьяловский проходила по глубокому тылу, но была километров на десять длиннее той, которая шла вдоль немецких позиций. Немного подумав, капитан резко повернул коня направо и поехал к Дону.

У околицы стояла группа людей. Когда Давыдов поравнялся с ними, они молча посторонились.

— Куда так поздно направляетесь, товарищ гвардии капитан? — услышал он в темноте голос командира второго батальона.

— В Завьяловский нужно съездить.

— Что же вы один? Без охраны?

— Ничего, проеду и так.

— Ну, счастливого пути!

Капитан тронул коня. Пройдя несколько шагов, конь, испугавшись темного куста, шархнулся в сторону, едва не свалив седока, и стал, беспокойно выгнув шею и перебирая

ногами на одном месте. Пришпорив его, Давыдов тронул поводья, конь захрапел, стал пятиться назад и боком, прижимаясь к плетню.

— Пути не будет, товарищ гвардии капитан. Лучше вернитесь, — услышал он голос командира второго батальона.

— Будет! — с сердцем проговорил Давыдов и, сильно хлестнув коня хлыстом, галопом вылетел на дорогу.

На Дону и около, над озерами, широкими, мягкими лентами лег белесый туман. Проехав через узкую длинную гать, около которой стояло оружие и несколько пулеметов, Давыдов попал в район, откуда была выбита седьмая рота. Сейчас в этом месте не оставалось ни одного красноармейца. Дорога шла вдоль берега. С правой сторны, скрытый кое-где высоким кустарником, пролегал Дон. Ночью он казался гораздо шире, чем днем. Другой его берег, утопая в туманной дымке, призрачно сливался с темным, звездным небом. От воды тянуло прохладой и сыростью. В холодном густом тумане было трудно дышать. Все кругом погрузилось в глубокую, мирную тишину. Только кулик беспокойно метался в стороне у озер, да время от времени на реке раздавался всплеск играющей рыбы. Топот коней, грубо ломая эту тишину, далеко разносился кругом. Копыта то звякали подковами о камни, то с чавканьем погружались в болотную грязь.

Давыдов ехал с гранатой в руке, настороженно всматриваясь вперед. Его коновод трусил чуть позади. Конь коновода часто касался мордой ноги капитана. Через каждые 300 — 400 метров они останавливались и внимательно прислушивались. Осталось недалеко до чернеющего в стороне леса. Там дорога от Дона уходит в тыл, и будет не так опасно, как здесь. Капитан резко осадил коня. Открывшаяся за горой деревушка была ярко освещена. Во всех окнах горели спокойные, ласковые огоньки. У самой реки полыхал костер. Около него двигалось несколько фигур.

В то время как на советской стороне даже в глубоком тылу, проводилась тщательная светомаскировка, немцы на передовой вели себя, как дома, нисколько не смущаясь тем, что огни их далеко видны со всех сторон. Капитан невольно залюбовался этим зрелищем, и как раз в это время на дороге ясно послышался шум.

— Товарищ гвардии капитан, — шопотом произнес коновод и показал рукой в ту сторону, откуда доносился шум.

— Тихо! — тоже шопотом ответил капитан, — за мной! Они поспешно свернули в сторону от дороги, схоронившись за высоким кустарником. Шум прекратился, затем послышался совсем рядом. Кто-то ехал верхом, мелкой рысью. Привстав на стременах, Давыдов выглядывал из-за кустов, приготовив автомат и гранату. Вскоре на фоне светло-молочного тумана показался силуэт всадника. Он ехал, оглядываясь по сторонам, держа на изготове карабин. Еще до того, как всадник поровнялся с ними, капитан по общим очертаниям формы узнал красноармейца. Свой. Тронув коня, он выехал ему навстречу.

— Стой! — напуганным шепотом скомандовал он. — Кто едет?

Всадник поспешно осадил коня и испуганно, тоже шопотом, ответил:

— Свои! Ствол...

— Кто это? — опять спросил Давыдов осторожно приближаясь к нему.

— Посыльный третьего батальона, товарищ гвардии капитан! — уже обрадованно ответил красноармеец, узнав начальника штаба.

— По какой дороге ехали?

— Через Завьяловский, товарищ гвардии капитан.

— Никого на дороге нет? Все спокойно?

— Никого нет, товарищ гвардии капитан. Вы тоже никого не встретили?

— Нет... Ну, Петя, тогда поехали дальше. Пришпорив коней, они широкой рысью тронулись дальше.

Не доезжая до леса, Давыдов че-

рез плечо оглянулся назад. Огоньки, отражаясь в воде, как будто лукаво мигали на прощанье.

Напряженное ожидание возможной встречи с немцами прошло. Сразу навалилась усталость, глаза начали слипаться. Въезжали в лес. Еще больше потемнело. Запахло грибами и сыростью. Капитан залюбовался маленькими точечками светляков у дороги, и как раз в то время, когда меньше всего можно было этого ожидать, впереди послышался шорох, лязг затвора и резкий властный окрик:

— Хальт!

Лошадь испуганно шарахнулась в сторону. Давыдов наотмашь хлестнул ее плетью и, швырнув гранату через плечо в сторону, откуда послышался окрик, прилег к гриве коня. Конь сделал большой скачок и галопом помчался по лесу. Ветки больно хлестали со всех сторон. Позади послышался взрыв гранаты, какое-то немецкое ругательство и несколько длинных автоматных очередей. Пули защелкали по веткам.

Нога больно ударилась о ствол дерева. Деревья неожиданно вырастали из темноты, и, чтобы не разбиться, пришлось задержать коня.

— Петя! Ко мне! — Крикнул капитан.

— Есть! — послышалось в темноте, и Петя подъехал.

Они остановились, лошади тяжело поводили боками.

— Вот, мать честная, влипли! — отдуваясь проговорил коновод, позади не прекращалась ожесточенная автоматная стрельба.

Они поехали шагом. Компаса с собой не было, даже по звездам нельзя было определить, в каком направлении хутор Завьяловский. Начался дождь. Тяжелые капли звонко шлепали по листьям деревьев, стало совсем темно.

— А здесь немцев не встретим, товарищ гвардии капитан? — послышался из темноты испуганный голос коновода.

— Не знаю, Петя, наверное нет.

Это, повидимому, разведчики были.

Капитан с коноводом еще долго ехали без дорог по неприветливому, мрачному лесу. Ушибленная нога нестерпимо ныла. Дождь монотонно шумел по верхушкам деревьев. Наконец, впереди мелькнул рассвет, лес расступился, и они выехали на опушку. Остановившись, капитан стал пристально всматриваться вперед. Там, смутно вырастая из темноты, громоздилось что-то черное, бесформенное, далеко раскинутое по сторонам. Нельзя было понять, деревня это, лес или что-нибудь другое. Неожиданно лошадь коновода, разорвав напряженную тишину, заржала звонко, вызывая, на весь лес. Где-то далеко, в стороне отозвалось эхо.

— Ах, чтоб тебя! — испуганно проговорил коновод, резко передергивая поводья. Они схватились за автоматы, но кругом попрежнему было тихо.

Проехали еще немного, и тогда впереди выступили силуэты хат, пришлось опять остановиться. Это должен был быть хутор Завьяловский, где сосредоточилась бригада. Удивляло отсутствие сторожевого охранения. Осторожно пробираясь, они выехали на чей-то огород. Привязав коней к плетню, пошли дальше. Вскоре забелела стена мазанки. Давыдов подошел к калитке и попытался ее открыть. Не удалось. Тихонько постучал, начал стучать громче. Никто не выходил. Попрежнему стояла глубокая, гробовая тишина. Они вышли на улицу. Сомнений больше не оставалось. Это был хутор Завьяловский. Постучались еще в одну хату, потом в другую, третью; окончательно осмелев, коновод оглушительно барабанил в ставню прикладом автомата. Трещало дерево, жалобно звенели стекла, но на стук никто не отзывался. Уже в конце хутора в одной из хат сквозь щели ставни мелькнул огонек.

— Ну, здесь я от вас не отстану, — проговорил коновод и решительно подошел к окну. Вынув наган, Давыдов стал у двери. Через несколько минут в коридоре послышались не-

уверенные шаги, и кто-то робко, через дверь спросил:

— Кто там?

— Откройте, — сказал капитан.

— А кто вы будете?

— Всё равно вы меня не знаете, мне дорогу спросить нужно.

Дверь чуть приоткрылась, Давыдов нажал ее плечом и вошел в сени. Какая-то фигура, закутанная в тряпье, испуганно посторонилась. Ещё не войдя в комнату, он, пораженный, остановился в сенях. Сквозь полураскрытую дверь было видно, что все помещение забито людьми. Сквозь сизый махорочный дым, освещенный слабым светом коптилки, были видны беспорядочно разбросанные человеческие фигуры, на скамейках и просто на полу, вповалку. Когда он переступил порог, некоторые из них приподнялись, испуганно на него поглядывая. Какая-то баба расталкивала мужика, растянувшегося на полу, шептала ему на ухо, показывая пальцем на Давыдова, а он сердито от нее отмахивался, натягивая на голову тулуп.

— Старик с жиденкой длинной бородой взял со стола коптилку и, высоко держа ее над головой, шаркая опорками, направился к капитану.

— Ты кто же будешь, касатик? — спросил он, внимательно всматриваясь в лицо Давыдова и в его форму.

— Как кто? Командир.

— А какой командир ты? Германский аль русский?

— А ты, дедушка, разве сам не видишь?

— Не разбираюсь я в этом.

— А какого командира вам хотелось бы увидеть? — рассмеялся капитан.

— Да нам всё равно, только бы скорей покой, — дипломатично ответил дед.

— Зачем же вы все в одну хату набились?

Какая-то бойкая бабенка высунулась вперед.

— Чай, страшно дома одним оставаться. Вот мы все в одну кучу и сбились.

— Так кто же ты всё-таки будешь? — не отставал неугомонный старик.

— Русский я, дедушка, свой.

— А - а ... — протянул старик и направился обратно к столу. — Ну тогда проходи, садись, гостем будешь.

Кто-то потеснился на лавке, и Давыдов подошел к огоньку. Колхозники подтвердили опасения капитана. Части бригады, располагавшиеся здесь сегодня утром, после обеда ушли в неизвестном направлении. Поездка оказалась бесполезной, последняя надежда на постороннюю помощь рухнула.

Засиживаться было опасно. Могли явиться те немцы, которые встретились по дороге сюда.

Петя подвел коней к дому, Давыдов простился с колхозниками и вышел из хаты. С трудом усевшись в седло — так болела ушибленная нога — он тронулся обратно, но теперь окружной дорогой.

Когда подъехали к станице, где располагался штаб полка, совсем рассвело. На околице у журавля конный связной поил лошадей. Увидев начальника штаба, он, забыв даже поприветствовать его, остановился и раскрыл рот от изумления.

Капитан подъехал к нему.

— Как прошла ночь? Всё в порядке?

— Здесь всё в порядке, товарищ гвардии капитан. А что с вами случилось? Вы живы?

— Как видишь.

— А вас уже погибшим считают. Вчера посыльный из третьего батальона приехал, рассказал, что в той стороне, куда вы поехали, стрельба слышалась, да сильная. Командир полка, как услышал, к вам на выручку взвод конной разведки послал, а товарищ врач всю ночь около штаба просидела. Плакала. И сейчас сидит.

Давыдов тронул коня. На крыльце штаба, накинув на плечи шинель, сидела Лена, низко опустив голову. Услышав топот копыт, она посмотрела на дорогу, увидела Давыдова и

бросилась к нему навстречу, плача и смеясь.

— Лена, успокойся, успокойся! — говорил он, глядя ее по голове, а она, обхватив его ногу, говорила что-то быстро, горячо и непонятно.

— Ничего страшного не произошло, — сказал он, прыгивая с коня, и охнув присел на землю! Ушибленную ногу резнула резкая нестерпимая боль.

— Ты ранен? — уже спокойным, деловым тоном спросила Лена.

— Нет, это только ушиб. Помоги прийти, пожалуйста.

Командир полка бурей ворвался в штаб.

— Александр Николаевич! Живы? Ух, слава Богу... Я столько переволновался за вас. Утешал Елену Ивановну, а сам, откровенно говоря, сильно беспокоился. Отдыхайте теперь. За то, что по прямой дороге поехали, вам попадет... После, а сейчас спать ложитесь. Говорят, немцы сегодня начнут наступление.

ГЛАВА 3

Первый раз за неделю выпал спокойный день. Немцы как будто ушли под землю и не отвечали на огонь даже, когда минометы покрывали веером разрывов высоту, на которой, по показаниям пленных, находился НП их командира полка.

Небо было чистым. За весь день не появлялись ни «Юнкерсы», ни «рамы», ни «костыли».

Над фронтом спустилась мирная тишина и после ожесточенных многодневных боев казалась какой-то непривычной и неестественной.

Командир батальона, капитан Василий Иванович Чугунов, решил воспользоваться затишьем и хоть немного привести в порядок стрелковые роты. Они пострадали больше, чем другие подразделения. В четвертой роте осталось всего пятнадцать штыков, в шестой — около двадцати.

Он сидел у входа в блиндаж, просматривая строевые записки. Июньское солнце жарило непокрытую голову, больно ныла шея, задетая осколком несколько дней назад.

Напротив сидел старший адъютант батальона, тщедушный лейтенант, с реденькими зачесанными назад светлыми волосами.

— Оставьте в хозвзводе десять человек. Остальных — в четвертую.

Из санитарного взвода тоже возьмите. Сколько у вас писарей? Три? Двух в шестую.

— Товарищ капитан...

— Ничего, обойдетесь с одним. Не сегодня-завтра немцы начнут наступление. Нужно укрепить стрелковые роты.

— Боеприпасов мало осталось, товарищ комбат.

— Будем стрелять немецкими минами. Они хоть на миллиметр меньше, а стрелять ими из наших минометов все-таки можно. Сколько раз вам говорил, почему укрытия для лошадей неготовы?

— Будут сделаны, товарищ капитан.

— Хорошо. Людей перевести в роты сегодня же. Я пройду в четвертую. Посмотрю, как у них дела. Если будут звонить из штаба полка, сообщите туда.

Адъютант почтительно посторонился. Чугунов спустился в блиндаж, снял со стены автомат, перекинул через плечо, надел фуражку. Протянул было руку застегнуть ворот гимнастерки — и отвел обратно: мешал бинт.

Он сильно изменился, с тех пор как вышел из тюрьмы. Поправился, окреп. На лицо лег здоровый коричневый загар, скрыв мелкую сетку

морщинок около глаз. Вряд ли кто-нибудь из его бывших товарищей по заключению смог угадать в подтянутом капитане того Чугунова, который вместе с ними спал на вшивых нарах, дробил камни, копал землю.

Против ожидания, в Куйбышеве ему пришлось пробыть немного.

Он получил назначение в 38 армию, принял там батальон и уже с апреля месяца находился на фронте.

Весеннее наступление, предпринятое советским командованием в районе Харькова, захлебнулось; немцы сами перешли в контратаки и прорвали фронт в нескольких местах. В своем районе Чугунову немцев удалось отбить, но танки пошли в обход где-то севернее.

На позициях валялись немецкие листовки: «Мы в кольце, вы в кольце, неизвестно, кто будет купаться в Донце» ... Пропагандист полка с бойцами из конной разведки под насмешливыми взглядами красноармейцев собирал их на поле и сжигал на костре.

Дорога к четвертой роте проходила по открытой местности. Чугунову несколько раз пришлось ложиться под пулеметным огнем. Заметив командира, немцы нарушили тишину, пустив несколько длинных очередей.

В ходе сообщения встретились красноармейцы. Они с охотной не принужденностью вытянулись перед комбатом, весело глядя ему в лицо. Так встречаются только любимых командиров.

— Ну, Иванов, как дела? Зажила нога?

— Зажила, товарищ капитан. Можно вторую фрицу подставлять.

— Погоди! она еще пригодится. Где комроты?

— У себя в блиндаже.

— Попросите его ко мне. Я буду в первом взводе.

— Есть, товарищ капитан, попросить к вам комроты.

Василий Иванович, пристроив локти на бруствер, внимательно рассматривал немецкие окопы.

Впереди тянулась полоса земли, покрытая большими и маленькими

воронками; наспигованная кусками металла, изодраным человеческим мясом. Ветерок доносил оттуда сладковатый трупный запах. На ничьей земле стояло несколько подбитых немецких танков. Один из них продолжал дымиться. Из открытого люка свесился обугленный немецкий танкист. Уродливо задрав вверх направляющие полозья, уткнулась в канаву разбитая «катюша».

Здесь пристрелян каждый метр земли, с каждым предметом связаны какие-то воспоминания. У расщепленной на две половинки одинокой березы три дня назад погиб комиссар батальона. Его труп до сих пор не могли вынести оттуда.

Застрелявший в нашем окопе немецкий танк едва было не смял наши цепи. Когда это было? Кажется, в прошлый вторник. Тогда батальон потерял больше половины своих людей. «Штуки» налетали партиями, одна за другой, они, как рассерженные осы, кружились над окопами, пикируя с зловецим воем. От дыма и пыли небо подернулось густой ядовитой пеленой. Бойцы лежали на дне окопов, оглушенные грохотом разрывов. А потом пошли танки. Два были подбиты перед нашим передним краем, а один упорно полз дальше и дальше. Снаряды кончились, люди дрогнули и побежали по ходу сообщения назад. Некоторые подняли руки вверх.

Когда танк подошел к окопам, бронбойщик из первого взвода оттуда, где стоял сейчас Чугунов, угодил ему из ПТР прямо в бок. Немцы долго не хотели выходить из машины и открыли люки только тогда, когда у мотора подожгли принесенную солому.

Здесь батальон потерял больше половины своих людей, и тем не менее бойцы чувствовали себя сейчас гораздо увереннее, чем раньше, когда в ротах было по сто человек и не было недостатка в боеприпасах. Они привыкли к местности. Здесь удалось отбить немецкие атаки, здесь они привыкли к каждому бугорку и поверили в силу своего оружия. Пе-

ребрось батальон на новое место — может быть, этой уверенности уже не будет.

Всё здесь знакомо. Каждый кустик, каждый бугорок имеют свои имена. Развилку дорог за немецкими окопами прозвали мельницей, хотя от мельницы давно не осталось ничего, кроме маленькой кучки золы. Высоту у ручья — Пироговской: на ней погиб командир взвода, лейтенант Пирогов.

На стороне противника было тихо. Только за бугром, далеко на горизонте, время от времени появлялись машины.

Василий Иванович задумчиво смотрел на ту сторону. Перед его глазами прошли последние месяцы фронтовой жизни. Когда он получал назначение в действующую армию, у него было только одно желание: как можно скорее попасть на фронт и перейти к немцам. Ненависть к большевикам была настолько сильной, что он даже не думал о том, как он это сделает и что будет дальше.

Чем ожесточеннее ругали фашистских захватчиков советские газеты, тем сильнее укреплялся он в своем решении. За долгие годы советской власти люди привыкли делать заключения, обратные тем, которые делала советская пропаганда. Если «Правда» и «Известия» громили кого-нибудь — значит этот кто-то доставил большевикам какую-то неприятность и уже поэтому заслуживает симпатии и сочувствия.

Не страх перед немцами помешал Василию Ивановичу перейти к ним в первые же дни. Узкая полоса «ничьей» земли оказалась куда более широкой, чем он думал сначала, и перешагнуть ее просто так оказалось не легко.

Фронт разделял два мира, и когда Чугунову захотелось порвать с одним из них, чтобы перейти в другой, он почувствовал, как много нитей связывает его с постылым прошлым и тяжелым, безрадостным настоящим. На этой стороне оставалась его Родина, его народ, неприглядный, но привычный уклад жизни. Там, за изры-

тыми высотами, таилось неясное, неопределенное. Что? — он не знал. Что немцы сделают с Россией? Как они на самом деле относятся к народу? Если бы знать это!..

Пробыв некоторое время на фронте, капитан привязался к батальону, к людям, и мысль о переходе на сторону противника всё реже и реже приходила в голову. Восемьсот человеческих жизней, доверенных ему, заставили его с особой осмотрительностью относиться к своим поступкам. Он отвечал не только за себя, но и за них. Если можно было рисковать собственным благополучием и собственной жизнью, то судьбами подчиненных он распоряжаться не считал себя в праве. Можно было бы построить батальон и объявить о переходе к противнику. Все бы пошли за ним. Он это знал. Но что — потом? Вдруг на самом деле немцы постреляют их: Даже если не постреляют, а просто посадят в лагеря военнопленных. Из-за проволоки смотреть, как будет решаться судьба родины. Все эти вопросы тревожили капитана, и сейчас он угрюмо смотрел в немецкую сторону, словно пытаясь найти ответ своим сомнениям.

— Товарищ капитан, по вашему приказанию явился!

— А, Денисов, здравствуйте. Хорошо, что пришли. Как у вас дела?

— Людей мало, товарищ капитан.

— Знаю, знаю! Как немцы?

— По-моему, снимаются. Всё меньше и меньше остается. Пулеметов на мельнице и у лысой горы больше нет. Хоть в наступление переходи.

— Как бы нам самим бежать не пришлось. Не нравится мне это спокойствие.

В окопе показался связной.

— Товарищ капитан, разрешите обратиться. Звонили из штаба полка, вас немедленно вызывают к майору Василевскому.

— Хорошо, передайте, что скоро приду. Что у них там такое?..

Когда капитан явился в штаб полка, совещание командного состава уже окончилось. Из помещения выходили командиры подразделений,

начальники служб, оживленно о чем-то разговаривая.

На столе перед командиром полка лежала большая карта, склеенная из четырех листов, с жирной красной чертой маршрута на восток. Взглянув на нее, Василий Иванович сразу понял: отступление. «Наверно, окружение!» — мелькнуло у него в голове.

Начальник штаба полка, майор Василевский, с тонким интеллигентным лицом, пригласил его в соседнюю комнату.

— Совецание уже кончилось, Василий Иванович. Мне придется вам доложить обстановку отдельно. Мы попали в неприятное положение. Вот здесь... — длинный тонкий палец начальника штаба уперся в Старобельск, — уже немцы.

— Когда же они успели? — вырвалось у Чугунова.

Василевский иронически улыбнулся.

— У них танки, автомашины, техника. Не то, что у нас. Расстояние не такое уж большое. Штаб дивизии уже снялся. Не знаю, сможем ли мы поддерживать с ним связь и существует ли она вообще. Там как будто бы сброшен десант. Будем отходить самостоятельно. Вы пойдете в авангарде. Приказ вам сейчас дадут. Выступать сегодня вечером. Если полку не удастся сохранить свою монолитность, идите с батальоном самостоятельно, пока не соединитесь с нашим фронтом.

Майор блеснул стеклами пенсне:

— Желаю вам всего хорошего, Василий Иванович. Будем надеяться на благополучный исход.



Начались тяжелые, страдные дни. На первом же марше полк был разрезан немецкими танками на несколько частей. Связь со штабом нарушилась. Все утонуло в паническом хаосе.

Подразделения катились на восток, не зная, где находятся соседи, штабы, немцы, фронт.

У дорог стояли брошенные орудия, танки, обозы. Командиры смешались с бойцами, многие, сорвав знаки различия, надели красноармейскую форму. Не было больше приказов, не было и порядка. Действиями людей двигали страх, желание, как-нибудь выбраться из кольца или смешаться с местными жителями.

Несколько армий перемешалось, части разделились на группы, и чем дальше уходили они на восток, тем малочисленнее становились эти группы, тем реже можно было встретить их.

Стоило прозвучать где-нибудь впереди одиночному выстрелу, как люди рассыпались в разные стороны, шарахались в другом направлении или забивались куда-нибудь в щели.

Только очень немногим командирам удалось сохранить власть над людьми. Бойцы перестали слушать приказаний начальников, шушукались между собой, все чаще и чаще сворачивали в стороны деревень, напяливали на ходу припасенную раньше гражданскую одежку.

Чугунов несколько раз пробивал немецкие заслоны. Пользуясь авторитетом, некоторое время сохранял из батальона видимость войсковой единицы. Однако, боеприпасы кончились, идти по дорогам всем батальоном стало невозможно. Пришлось разбиваться на группы и двигаться дальше по ночам и без дорог. Днем забирались куда-нибудь в рожь, ожидая темноты.

Несколько раз возникало у него желание: выйти куда-нибудь, на встречу немцам, и сдаться в плен, но каждый раз, взглянув на обращенные к нему лица бойцов, он отказывался от этого желания.

Около него осталось всего 25 человек, но и они таяли с каждым днем. Однажды, когда отдыхали в глубокой балке, к нему подошел бронебойщик, подбивший на окопе танк, и, глядя прямо в глаза, сказал:

— Я дальше не пойду, товарищ капитан. Здесь останусь.

Чугунов промолчал.

— Жалко мне с вами расставаться,

— боец неловко загнулся, — люблю я вас, а дальше идти некуда.

— В примачи собираешься?

— Может, и в примачи. Не сердитесь на меня. Я хотел сначала тайно уйти, да с вами захотелось проститься.

— Ну, что ж, иди — просто ответил Василий Иванович. — Желаю тебе счастья.

— Не сердитесь на меня, товарищ капитан, — повторил боец. — Хорошо было с вами, да делать видно нечего.

Он растерянно развел руками. Чугунов крепко пожал ему руку. Бронбойщик, опустив голову, пошел к дороге, обернулся, молча кивнул головой и скрылся во ржи.

Адъютант, укрывшись за кустами, сосредоточенно спиливал звезду с пряжки комсоставского ремня. На петлицах у него темнели следы только что снятых кубиков.

Василий Иванович долго наблюдал за ним, затем подошел и опустился рядом на землю.

— Линяем, товарищ лейтенант? — иронически спросил он.

Адъютант виновато вскинул белевые глаза.

— Блестит она очень, товарищ капитан. Далеко видно.

— А кубики тоже блестят? Почему кубики сняли?

— Отвалились. Нечаянно.

— Слушайте, лейтенант. Если вы задумали что-нибудь, делайте это один, не на виду у бойцов.

— Ничего я не задумал, товарищ капитан. Честное слово. Просто на всякий случай.

— На всякий случай! — передразнил его Чугунов. — Немедленно прикрепить кубики. Пусть они у вас больше не отваливаются. На нас смотрят люди. Мы должны с ними идти до конца, они надеются на нас, а вы на виду у них свои знаки отличия срываете.

— Простите, товарищ капитан, больше не буду ...

— И бриться вам нужно чаще. Парень молодой, а борода скоро до колен вырастет, да еще и рыжая. Ну а

теперь поднимайте людей, дальше пойдем.

В дороге кормились главным образом зернами из несозревшего еще хлеба. Шли, растирая на ходу колосья, бережно отправляя в рот восковые крупинки ржи.

Чистого бинта не было. Рана на шее Чугунова стала гноиться. Противная липкая жидкость узкой струйкой протекла под гимнастерку, больно стянув кожу на спине.

В маленьком перелеске группа неожиданно натолкнулась на начальника штаба полка, майора Василевского. Он лежал на траве, сосредоточенно счищая щепочкой землю с большой красной моркови. Услышав хруст веток, приподнялся, схватившись за пистолет. Пенснэ на нем не было, близорукие глаза беспомощно щурились на солнце.

— Свои, товарищ майор, свои! — поспешил успокоить его Чугунов.

— Кто это? Боже мой! Никак вы, Василий Иванович? Какими судьбами?

— Судьбы-то у нас, кажется, у всех одинаковые, Евгений Константинович. Как это вы один остались?

Василевский махнул рукой.

— Давно уже. Поехал на марше в третий батальон и прямо на немецкие танки наскочил. Еле выбрался. Вернулся, смотрю — на дороге, по которой пошел штаб полка, уже немцы стоят. Заметили меня. Открыли стрельбу. Коновода убили, лошадь ранили. Пенснэ потерял, ничего не вижу теперь. Хорошо, что вас встретил, теперь не один. Что же дальше будем делать, Василий Иванович?

— Дальше пойдем, на восток. Степи эти проклятые. На десять километров кругом видно. Скрыться некуда. Придется по ночам идти.

— А куда идти?

— Пойдемте на Миллерово, а дальше видно будет. Вы, Евгений Константинович, ели что-нибудь?

Василевский беспомощно развел руками.

— Морковку на одном огороде стащил. Больше ничего.

— Ну это не еда. Мы сами этим промышляем, а сегодня повезло. В одной деревне хлеба удалось получить. В других местах не давали. Немцев, что ли, они боятся, не знаю. Как только подойдешь к дому, сразу грозятся собаку натравить или полиция позвать. А сегодня разжалобилась одна баба — два коровы вынесла и кусок сала. Мы сейчас устроим. Петров! — позвал он своего ординарца. — Принеси-ка нам закусить. Начальник штаба ничего не ел!

Василевский жадно схватился за хлеб. Он ломал его своими длинными пальцами, дрожащими руками собирал рассыпанные крошки, время от времени оглядываясь на кусок, как будто сожалел о том, что он становится меньше и меньше.

— Скоро стемнеет — оглянувшись на солнце, сказал Василий Иванович — отдохнем еще немного и пойдем...

Василевский был прекрасным штабным командиром. Кончил академию. Долго работал в крупных войсковых соединениях. Никогда не выходил из себя, оставаясь всегда одинаково спокойным и во время боя, и в частных общениях с людьми. Интеллигентный, очень начитанный, он помимо военного дела хорошо разбирался в литературе, живописи, театре. Будучи храбрым, сейчас он растерялся. Не перед угрозой возможной гибели. Смущало его отсутствие знакомых привычных форм, предусмотренных уставами, наставлениями, инструкциями.

Идти дальше стало веселей. Днем, забравшись куда-нибудь в рожь или в кусты, Василевский и Чугунов много говорили о прошлом, о службе, о знакомых, о семье. Когда Василий Иванович рассказывал о советских тюрьмах, майор Василевский становился необычайно серьезен, начинал волноваться, глаза суживались, приобретая зловещий оттенок. Однажды он сказал:

— Ничего, они еще за это рассчитаются.

Чугунов понял, кто это «они». Подумав немного, он усмехнулся:

— Мы сейчас, Евгений Константинович, как будто бы в самой демократической республике находимся: никакой власти, никакого надзора. Идем, куда хотим, делаем, что хотим. Можем ругать всех: и немцев, и большевиков.

— Не рано ли, Василий Иванович? Может, завтра — послезавтра из окружения выйдем?

*

В группе осталось всего восемь человек. Все они оборвались, обросли бородами. Только Чугунов, несмотря ни на что, брился регулярно каждый день. Форму и оружие он приказал сохранить. Еще находясь в Куйбышеве, он слышал рассказы других командиров об отношении особых отделов к военнослужащим, выпавшим из окружения в форме и с оружием, и к тем, кто переодевался в гражданское платье и свое оружие где-нибудь оставлял. Если по отношению к первым чекисты были относительно снисходительны, то вторых почти всегда обвиняли в измене родине, в шпионаже и дезертирстве. Поэтому, хотя в гражданском можно было бы значительно легче идти по вражеской территории, большинство старалось остаться в советской форме. Особенно придирались особисты к тем, кто выходил из окружения в одиночку.

Как-то расположились на берегу небольшой реки в густых высоких камышах. Невдалеке проходила дорога. По ней то и дело сновали тяжелые немецкие машины. В стороне, у мостика прилепилось несколько деревенских хат. Хлеб кончился. Хотелось есть. Идти в деревню было страшно. У околицы стояли немецкие танки, двигались зеленые фигуры солдат. Чугунов решил переждать в камышах до вечера и ночью двигаться дальше.

На воде послышался всплеск. Из-за поворота медленно выплыли два гуся. Передний, огромный белый гусак, остановился и недоверчиво покосился на камыши. Оттуда, осторож-

но раздвинув осоку, высунулся сержант Пирогов и, протянув руку, подзывал его к себе.

— Тега, тега! Иди сюда, дурак. Иди, не бойся.

Гусь отплыл к другому берегу и, беспокойно выгнув длинную шею, настороженно косился на Пирогова! А тот, скроив на своей сморщенной лисьей мордочке возможно более сладкую мину, шептал:

— Тега, теганька, иди же сюда. Смотри, что я тебе дам. — Не идет, сволочь! Абрам, у тебя крошек в кармане не осталось?

— Какие - такие крошки? Я их еще на прошлой неделе съел.

— Ах, какой обед пропадает! Товарищ капитан, разрешите пристрелить?

— Вы с ума сошли? Немцы рядом.

— Эх, жалко. Уплывает, анафема. Тега, тега... — Уплыл!.. Уплыл обед. Абрам, ты с чем больше всего гуся любишь?

Из осоки послышалось сопенье.

— А я с картошкой. Знаешь, на противне, чтобы она в жире плавала, поджаренная, с корочкой, и на зубах хрустела.

— Да отстань ты, пожалуйста. И без тебя тошно. У тебя случайно немецкого чинарика не осталось? Курить смерть охота. Я видел, как ты на дороге поднял.

— Остался. Только его не хватит. Давай с листьями смешаем. На, мастери. Оставь сорок.

Над осокой появился легкий синий дымок...

Майор Василевский лежал на спине, закинув руки за голову. Долго смотрел на бегущие облака, потом, повернувшись к Чугунову, сказал:

— Как в сущности мало нужно человеку. Мы часто не обращаем внимания на обстановку, вещи, которые в других условиях могут показаться прекрасными какими-то. Я не могу представить себя сейчас в ресторане, в Метрополе, например, за хорошим обедом, за столом со скатертью, музыкой. Или дома, вечером. Жена рядом сидит, Юрка, сын, у ног крутится. Свет от абажура — мягкий,

теплый, розоватый такой. Письменный стол, этажерка с книгами. Не нужно прятаться от пуль, от немцев. Если хочешь, можешь принять ванну, заказать обед, пойти на концерт, в кино. И все это раньше воспринималось, как нечто совершенно естественное, нормальное. И обед, и квартира, и семья, и чистое белье. А когда вы дали мне в лесу кусок хлеба, я почувствовал такую радость, такое наслаждение, какого не испытывал в лучшие годы моей жизни. Порой мне кажется, что всё это сон. Настоящее, с постоянным страхом за жизнь, этот голод, грязь, или — прошлое. Как будто всю жизнь скитаемся по этим вот полям, спим на земле, голодаем, прячемся от немцев и полицейских, как затравленные звери. Скажите, неужели мы сидели когда-нибудь в комнате, чистые, выбритые?..

— Сидели, повидимому.

Василевский помолчал.

— Больше всего мне сына, Юрку, жаль. Хороший он у меня, умный. Четыре года ему, а уже все буквы знает. Неужели он теперь один останется? А останется наверное. Есть у меня такое предчувствие. Фотографировал его, в прошлом году, до войны еще. Во дворе дома. Фотография неудачной вышла. Недодержка или освещение в этом было виновато, не знаю, только жуткое что-то получилось. Он ярко освещен, стоит один, маленький такой, посередине двора, темного, мрачного, а кругом тяжелые, сумрачные корпуса.. И лицо у него почему-то грустное было. Понимаете: получилось так, будто он, освещенный, с опущенной головкой, стоит ночью на пустынной мертвой площади. Я эту фотографию жене не показывал. Мой Юрка на ней был такой одинокий, покинутый, несчастный. Как будто над ним повисла неотвратимая беда. Эту фотографию я все-таки порвал. Но не сразу. Заглядывал на нее много раз, и каждый раз на душе оставалось тоскливое, неприятное чувство, и я подолгу оставался под впечатлением этого чувства. Об этой фотографии я почему-то часто вспоминаю последнее время.

— Бог знает, что вы говорите. Какое отношение к судьбе человека могут играть фотографии, освещение, недодержки, передержки. Нервы у нас расшатались. Этим и всё объясняется.

— Может быть, Василий Иванович. Дай Бог, если так.

Он опять вытянулся на земле. Над ним по камышинке ползла какая-то маленькая зеленая букашка. Она сосредоточенно поводила длинными усиками, обегала стебелек кругом, останавливалась, беспокойно поворачивала крохотную головку и упрямо ползла дальше. Василевский сорвал травинку и преградил ей путь. Насекомое нерешительно остановилось, повернуло было в сторону, затем, ухватившись лапками за травинку, перелезло на нее. Майор поднес ее к лицу и начал внимательно рассматривать.

— Вот, смотрите, Василий Иванович, на этого зверя. Живет, дышит, чувствует. Чувствует ведь он, что-нибудь?

— Наверное чувствует.

— Думает, может быть. Дескать — я царь земли. Все остальное только для меня. Делаю, что хочу, ползу, куда хочу. А я вот возьму тебя и раздавлю. Что тогда? Ну, ну, не бойся, это я пошутил.

— Вы сегодня расфилософствовались, Евгений Константинович. Не лучше ли нам отдохнуть.

Василевский удивлял Чугунова происшедшей с ним переменой. Раньше, в части, он был холодноватым, безукоризненно вежливым и с бойцами и с командирами. Но за этой вежливостью стояла заметная стенка отчуждения и замкнутости от всего, что его окружало. Сейчас же он говорил охотно и много, о себе, о своей семье, как будто вознаграждая себя за долгое воздержание.

С берега слышался взволнованный шопот:

— Ой! смотрите, пленных ведут!

Чугунов осторожно выглянул из-за камышей. По дороге вытянулась большая колонна советских военно-

пленных. Голова ее ушла далеко вперед, а от деревни шли все новые и новые партии. По сторонам цепью двигались немецкие конвоиры с автоматами в руках. Пленных было несколько тысяч человек. Они шли в колонне по-четыре, тесно сбившись друг к другу.

— Боже мой, на кого они похожи! — воскликнул Василевский.

Посмотрев на их лица, Чугунов обомлел. Как будто скелеты, обтянутые кожей, вылезли откуда-то с кладбища и заполнили дорогу бесконечной и жуткой вереницей. На лицах темнели огромные впадины глаз, запавшие рты обнажили зубы в неподвижном и страшном оскале. Из рукавов, казавшихся непомерно широкими, как палочки, торчали кисти рук.

Все еле передвигали ноги. Некоторые оперлись на плечи товарищей.

— Василий Иванович! Так это правда! Правда, что пишут советские газеты про немецкий плен. Я думал, что они по обыкновению врут...

— Смотрите, Евгений Константинович! Они довели их до этого состояния в какие-нибудь сорок дней. Эти люди попали в плен немногим больше месяца назад.

Один военнопленный остановился, шагнул в сторону, покачнулся и медленно упал на землю. К нему подошел толстый с красным лицом немец, не спеша снял автомат с плеча, поставил его к голове упавшего. Глухо прозвучала короткая очередь.

— Сволочь! — скрипнул зубами Чугунов и судорожно схватился за пистолет.

На его руке повис майор Василевский.

— Голубчик, ради Бога, не надо! Что мы можем сделать? У нас же одни пистолеты. Вы видите, сколько их. Не из-за трусости говорю. Если откроем огонь, уничтожат и их, и нас.

Конвоир, убивший пленного, повесил автомат на плечо и стал рыться у себя в карманах. Достал сигарету, аккуратно вложил в мундштук и зажег спичку. Она погасла. Он повер-

нулся к ветру спиной, зажег другую и, прикурив, спокойно пошел дальше.

Василий Иванович лежал на земле, сотрясаясь от беззвучных рыданий.

— А я-то, идиот, думал... Я думал..

Василевский пристально смотрел на дорогу.

— Знаете, Василий Иванович, — задумчиво сказал он. — Мне в первый раз пришлось это в голову. Немцы войну, пожалуй, проиграют...

*

В эту же ночь они вышли к какой-то деревушке. Сарай неожиданно вынырнули из темноты. От них вел длинный узкий прогон, огороженный жердями. Чугунов хотел было обойти кругом, но голод был так силен, что он решил все-таки зайти в деревню и попытаться достать хлеба. Они перелезли через изгородь и попали на чей-то огород. Осторожно, с пистолетами в руках, стали пробираться дальше. Забелела стена мазанки. Кругом было тихо. Только на другом конце таякала собака, да в хлеву возился кто-то, шурша соломой.

Сержант Пирогов подошел к окну и осторожно постучал в ставню. Почти сразу после этого скрипнула дверь, и на крыльцо с фонарем в руках вышел здоровенный мужик.

— Кто там? — неприветливо спросил он, всматриваясь в темноту. Сержант отделился от стены ему навстречу.

— Дяденька, дайте хлеба, пожалуйста. Из окружения выходим.

— А-а... — многозначительно протянул мужик. — Ты один?

— Нет, еще семь человек. Здесь ожидают.

— Ну что же, — мужик на мгновение задумался, — проходите в хату. Где остальные-то?

В помещении все сели за стол. Хозяин шепнул что-то девочке, та сползла с полатей и юркнула за дверь. Сам он остановился посередине избы, почесывая брыхо.

— Ну, как здесь с немцами живете? — спросил его Василевский.

— Ничего, слава Богу. Лучше, чем при большевиках.

— Не обижают?

— Зачем они нас будут обижать.

— Колхозы распустили?

— У нас распустили. В других селах попрежнему сообща работают. Там погано.

Чугунов беспокоило поглядывать на хозяина, ожидая когда же он даст, наконец, поесть. Оставаться было опасно. Тот мялся и явно затягивал время.

За окном послышались торопливые шаги. Мужик настороженно посмотрел на дверь. Василевский приподнялся из-за стола. На пороге появился еще один крестьянин, перепоясанный ниже пояса широким комсоставским ремнем. В руках у него был карабин, на рукаве белела какая-то повязка.

Чугунов тоже встал из-за стола и сощурившись посмотрел на хозяина.

— Послал, значит... — злобно проговорил он и потянулся за пистолетом. — В ловушку затянул, Иуда.

— Погоди трошки, не горячись... — угрожающе сказал вошедший, наставив на Чугунова винтовку. — Собирайтесь, пошли... Немцам вас сейчас отдадим.

Василевский побледнел, как мел. Подбородок у него затрясся от негодования. Крепко выругавшись, выхватил пистолет и, близоруко щурясь, раз за разом всадил несколько пуль в полиция. Тот выронил из рук карабин и, схватившись за живот, осел на землю. На печи истошно завизжала баба. Хозяин метнулся было к двери, но стоявший у входа сержант Пирогов ударил его прикладом по голове, и он, как куль, свалился на пол.

— Ну, что же, дальше идем? — спокойно обратился к Чугунову майор, засовывая пистолет в кабуру...

Уже на огородах их догнал сержант Пирогов. С трудом удерживая в руках какие-то свертки и огромный каравай хлеба, он семенил, поддерживая подбородком кульки.

— Товарищ капитан. Вот, захватил. Чего с такими гадами церемониться.

Расположившись на отдыхе, Чугунов улыбаясь обратился в Василевскому:

— А я признаться, Евгений Константинович, никогда не думал, что вы так ругаться можете. Полагал, что и слов-то вы таких не знаете.

— Разозлил он меня очень. Опуститься до такой степени! Если не хочешь дать хлеба, скажи прямо, прогони, наконец, но не делай гадостей. Видят ведь, как обращаются немцы с нашим братом.

— Испортили людей, развратили за годы советской власти. Из ябедника героя сделали, а теперь самим плоды пожинать приходится. А больше всего — потому, что наш мужик большевиков ненавидит.

— Послушайте, Василий Иванович. Я с вами сейчас говорю так, как с родным братом не говорил. Не знаю, останемся мы живы или нет. Досадно будет умереть и не сказать того, о чем думал долгие годы. Вы говорите: наш мужик большевиков ненавидит. А разве я их люблю? Вы их любите? Какие мы с вами большевики? Правда, я член партии, но ведь вступил-то я в нее только потому, что нельзя было не вступить. Может быть, я ее больше, чем этот мужик, ненавижу. Но что же мне делать? Идти к немцам в плен и подохнуть там с голода? Видели мы с вами вчера эту колонну. Откровенно говоря, несколько раз хотел вам предложить: Василий Иванович, идемте к немцам, а после того, что вчера видели. . .

— Значит, сильна эта ненависть против большевиков, если русский мужик отказывает в куске хлеба таким же русским, как и он сам, если он предпочитает немецкий сапог большевистской системе. Мы остались между молотом и наковальней, Евгений Константинович. Защищая большевиков, мы защищаем тюрьму, заведомо зная, что после победы нас самих в эту тюрьму посадят. А не защищать нельзя. Немцы уморят с голода или пристрелят на дороге, как пристрелили того у реки.

— Не понимаю: неужели они думают победить Россию только своими руками? Без помощи самих русских? Неужели считают, что в прошлом году и сейчас наши дивизии переходили на их сторону только из-за страха перед крупшовской сталью и прусской организованностью. Люди за большевиков воевать не хотели. Не хотели и не хотят. Но теперь будут воевать.

— Ну их к Аллаху, Евгений Константинович. Давайте лучше решим, куда теперь деваться. Я думаю, на юг идти нет никакого смысла, немцы, наверное, всё северное черноморское побережье заняли. Идемте лучше к Дону, на Сталинград.

Рядом выросла фигура сержанта Пирогова.

— Разрешите доложить, товарищ капитан: в районе нашего расположения появились партизаны.

— Что ты мелешь? какие партизаны?

— Наши партизаны, товарищ капитан. Вернее, не партизаны, а партизан, или еще вернее — партизанка. До вашего приказания содержится под стражей за тем вон кустом.

— Ничего не понимаю? Какая партизанка? И если она наша — почему под стражей?

— Так что я собирался на одном хуторе в огород залезть, капуста наворовать и там же ее встретил. Сидит в траве и плачет. Увидела меня и говорит: возьмите меня с собой. Хочу к своим. Ну я ее и взял. . .

— Попроси ее сюда.

Через несколько минут к ним подошла девушка 19-20 лет, смуглая, круглолицая, с большими темными глазами.

— Ну, садитесь к нам, — пригласил Чугунов, — расскажите вашу историю. Что у вас случилось?

— А вы кто такие будете?

— Свои, русские. Вы не смотрите, что все они такие большие бороды отпустили. На самом деле ребята молодые, красивые. Как вас зовут, прежде всего?

— Галя.

— Ну вот, Галя, расскажите всё по порядку.

Девушка еще раз обвела всех испуганными глазами и начала рассказывать. Она работала в одном из городов Донбасса в райкоме комсомола. Перед приходом немцев состоялось большое секретное совещание партийного актива. Секретарь райкома партии объявил, что все должны вступить в партизанский отряд, раствориться среди местного населения и после прихода немцев всячески им вредить. Назначили командиров, связных, дали задания, а как только немцы пришли — все разбежались. Осталось всего несколько человек, самых активных, и те на службу к немцам поступили. В полицию, в городские управления.

— Как же они могли поступить? — перебил ее Чугунов. — Их ведь, наверное, в этих местах все знают.

— Они в другие города переехали.

— Неужто немцы берут на службу людей, не проверяя их?

Галя пренебрежительно махнула рукой.

— Какая там проверка. Если человек хорошо одет, немцы к нему хорошо относятся. Они считают, что коммунисты должны быть обязательно рваные и грязные.

— Что же ваши партизаны у немцев делают?

— Ох, не спрашивайте! — вздохнула Галя. — Немцы много безобразий творят, русские полицаи, бургомастеры — тоже, а эти «партизаны» особенно зверствуют. Отбирают всё, в тюрьму сажают, расстреливают. Выслуживаются, что ли, не знаю. Вызывает меня как-то инструктор райкома партии, он сейчас бургомайстером вон в той деревне за горой, и говорит: напиши в немецкую комендатуру донос на пять человек. Укажи, что они коммунисты и партизаны. Я сам, говорит, хотел, но мне неудобно. Я на многих уже указывал.

— Что же, написали? — поинтересовался Василевский.

— Нет, конечно. Спрашиваю: зачем? Это хорошие люди, а немцы их

за это повесят. А он мне говорит: дура, я сам знаю, что они хорошие люди и не партизаны, но они пользуются авторитетом среди местного населения, и если их повесят, то колхозники обозлятся на оккупантов. Мы, говорит, должны восстанавливать людей против оккупантов и для этого толжны наталкивать немцев на новые и новые зверства. Я говорю: восстанавливать нечего, и так все восстановлены, и никаких доносов писать не буду. Взорвать что-нибудь у немцев, поджечь — пожалуйста, а гадостями заниматься не намерена. Он говорит: подумай, как следует. Если не будешь выполнять приказов, мы тебя уберем. Мы, говорит, с изменниками родины расправляемся без пощады. Я говорю: неизвестно еще, кто изменник, хлопнула дверью и ушла, а теперь боюсь дома оставаться. Убьет он меня. Хотела к своим уйти, да одна дороги не найду. Возьмите меня с собой, не могу больше...

— Что ж, идемте. Только ведь опасно с нами.

— Ничего, опасностей я не боюсь.

«Партизанка», как все единодушно окрестили ее, оказалась девушкой веселой и энергичной. Стала душой этой небольшой измученной группы людей. Все как-то подтянулись, начали бриться, внимательнее следить за собой. Василевский на привале даже решил постирать в ручье белье и форму, после чего, ожидая, когда всё высохнет, голый сидел в кустах, отмахиваясь веткой от наседающих слепней.

Голодать теперь почти не приходилось. Люди оставались где-нибудь в поле, а партизанка отправлялась в село и возвращалась оттуда нагруженная хлебом, салом, яйцами. У нее была удивительная способность доставать всё это.

Накормив всех, она присаживалась к красноармейцу Гушину, тихому, застенчивому парню, и старательно списывала на клочках бумаги есенинские стихи, которые тот диктовал ей.

Фронт остановился где-то на Дону. Все чаще и чаще встречались немецкие танки, машины, транспортеры. Двигаться стало труднее. Изредка доносились глухие далекие разрывы. Как-то прямо над головой пронеслись три красноразвездных «ИЛА», и сразу после этого на большаке послышалась ожесточенная стрельба зениток, нарастающий рокот мотора и несколько взрывов. Пирогов вскочил во весь рост и, жадно всматриваясь вперед, завопил:

— Так их, Илюха, крой их по головам!

Снова послышался рев моторов. Наверное, самолеты делали второй заход. Опять началась трескотня, взрывы, и в стороне над землей пронеслись обратно теперь уж только два самолета. За бугром появился столб дыма.

— Сбили, гады... — упавшим голосом сказал Пирогов.

— Машины скверные, — заметил Василевский. — Помню, в прошлом году немцы листовки сбрасывали: «Летчики у вас отважные, только самолеты бумажные». Правильно это. На таких ящиках только парады проводить. Возьмите хотя бы немецкого Фоке-Вульф, Раму, — по ней стреляют, а она плывет в воздухе, как ни в чем не бывало. Защита хорошая.

— Да, авиацией похвастаться не можем, — сказал Чугунов. — Я за всё время только второй раз наши самолеты вижу.

Ночью они вышли на большак. Шли осторожно, при каждом звуке сворачивая с дороги. Впереди время от времени вспыхивали ракеты.

— Теперь скоро, — говорил Василевский. — Еще километров двадцать пройдем — и фронт. Там как-нибудь переберемся.

— Скорее бы! — ответил Чугунов. — Только бы к своим добраться. Покажу я тогда этим самым немцам. До сих пор в глазах пленные стоят. Никогда, кажется, не забуду...

У дороги в предразсветном сумраке вырос телефонный столб. На нем качался какой-то темный короткий предмет.

Старшина Фельдман свернул к нему, и из темноты послышался его взволнованный сдавленный шопот.

— Ой, товарищ капитан! Посмотрите, что это такое!

Все подошли к столбу. На нем висел человек. Неестественно повернутая голова свесилась набок. Руки напряженно вытянулись по швам, как будто пытались найти какую-то опору. На груди висела дощечка с надписью.

— Негодяи! — прошептал Василевский. — Может быть, еще живой?

— Нет, где уж там! — ответил Чугунов. — Давайте все-таки снимем. Пирогов, есть у вас нож, веревку перерезать?

— Есть, товарищ капитан. Абрам, зажги спичку, посвети.

— Нельзя! — торопливо приказал Василевский, но огонь уже вспыхнул, осветив на мгновение босые ноги повешенного с опущенными вниз ступнями и людей, столпившихся у столба.

Из темноты послышался тяжелый топот шагов и резкий окрик:

— Halt! Wer ist da?

— Влипли! — прошептал Чугунов, выхватывая пистолет.

Глаза ослепил яркий свет электрического фонарика, вслед за этим застрочил автомат, кто-то вскрикнул и упал на землю. Чугунов выстрелил в сторону, откуда светил фонарь. Огонь погас. Туда бросилось несколько человек. Старшина Фельдман вернулся, отирая травой штык винтовки.

— Готов, товарищ капитан, — коротко сказал он.

— Уходить нужно. Сейчас другие придут. Все целы? Кто упал?

— Кажется, Гуцин.

Василий Иванович наклонился. Голова красноармейца закинулась назад. Рядом на траве валялась фуражка. На бледном лице даже в темноте можно было увидеть две черные дырочки: на переносице и на щеке. Рука Чугунова наткнулась на теплое, липкое месиво: весь затылок был раздроблен.

— Готов... — тихо сказал Чугунов.

— Ничего не поделаешь. Идемте. Евгений Константинович, где вы?

Со стороны столба послышался хрип и какое-то булькающее клоко-танье.

— Ранен! — ахнула Галя.

Василевский стоял, широко расставив ноги и крепко обняв столб. У него в груди что-то хрипело, изо рта струилась кровь.

— Быстро на шинель! — распоря-дился Чугунов.

Галя мягко разняла руки майора, обхватившие столб, двое бойцов положили его на шинель и торопливо пошли в сторону от дороги.

Остановились во ржи, у одинокой березы. Начинало светать. Василевскому разрезали гимнастерку. На груди чернела маленькая аккуратная дырочка. Рана была не сквозной. Из рта выходили кровавые пузыри, лопались, опять надувались. Из угла рта тоненькой струйкой стекала кровь. Дышал он тяжело, надрывно, с хрипом, жадно хватая воздух широко раскрытым ртом.

— Легкие прострелены, — тихо сказал Фельдман.

— Бинт! у кого есть бинт? — спросила Галя.

Василевский открыл глаза, обвел всех помутневшим взглядом, опять закрыл их. Лицо у него посерело, нос заострился. Из рта продолжали выскакивать кровавые пузыри. Он хотел что-то сказать, напрягался, раздраженно шевелил пальцами.

— Что вы, Евгений Константинович? — наклонился к нему Чугунов.

— Ух-ходите... Скорей. Бро-осьте меня... — прошептал он наконец.

— Никуда без вас не уйдем. Не говорите глупостей. Во всяком случае я и Галя останемся здесь, пока вам не будет хорошо. Правда, Галя?

— Конечно, конечно.

Майор упрямо потряс головой, пытаясь возразить, но сморщился от боли. На лбу его большими прозрачными каплями выступил пот.

— Пи-ить... — чуть слышно попросил он.

Фельдман осторожно приподнял голову. Лязгая зубами об алюминий-

вую кружку, Василевский жадно пил воду.

— Может быть, ему нельзя? — нерешительно спросила Галя.

Чугунов пожал плечами. Василевский снова открыл глаза и едва заметно кивнул головой Чугунову. Тот наклонился над ним.

— Конеч... Кон... — чуть слышно прохрипел он.

— Успокойся, Женя. Всё пройдет...

Майор отрицательно кивнул головой.

— Нет... Не пройдет. Конеч... Передай там сыну...

Губы его чуть дрогнули, и он опять закрыл глаза. По телу прошла легкая дрожь, руки беспокойно затеребили карман гимнастерки.

— Кончается... — прошептал Пирогов.

Василевский вздрогнул еще несколько раз, потянулся, как будто собираясь повернуться на бок, потом судорожно вытянулся. Рука медленно соскользнула с груди и упала на землю. Тело обмякло, гримаса страдания сошла с лица. Оно стало спокойным и радостным.

Взошло солнце, обрызгав поля и верхушку березы нежным золотистым светом. Потянул утренний ветерок. Он него качнулись тяжелые ржаные колосья, будто прощаясь с майором.

А он лежал на земле, важный, спокойный и сосредоточенный, довольный тем, что нашел наконец долгожданный покой.

На меже под березой штыком вырыли могилу.

Чугунов достал из кармана майора бумажник. В нем лежало несколько любительских фотографий, отдельно была завернута белокурая прядь волос. На одной из фотографий Василевский был снят с сыном и высокой стройной женщиной в Московском Парке культуры и отдыха, около парашютной вышки. Он держал мальчика на плече и весело улыбался.

Они долго стояли над холмиком, опустив головы. Галя набрала большой букет васильков и положила рядом с оставленной на могиле фураж-

кой Василевского. Скоро придут крестьяне жать рожь и увидят маленький бугорок земли, один из бесчисленных бугорков, раскинутых по всей многострадальной Родине. Никогда, может быть, не узнают близкие этих безвестных павших в бою или неволе людей, где находятся дорогие их сердцу останки. Долго станет ожидать Юрка своего отца, и только береза будет ласково шелестеть листочками, нашептывая последнюю колыбельную песню Евгению Константиновичу Василевскому, нашедшему под ее тенью вечный покой.

— Хорошее себе место выбрал товарищ майор, — тихо сказал сержант Пирогов.

— Прощай... Прощай, Евгений Константинович... — не то прошептал, не то только подумал про себя Василий Иванович и, надев фуражку, медленно пошел на восток... Понурился головы, тронулись следом за ним и остальные.

Они шли навстречу встающему солнцу, к своим, а над их головой, в чистом утреннем небе, разливался жаворонок, провожая их звонкой, заморающей в вышине трелью.

(Конец первой части)

ПРИ ВЗЯТИИ БЕРЛИНА

Рассказ

Свет из полузаваленной двери не хотя пробивался в убежище. Вблизи от двери еще можно было увидеть нахохлившиеся фигуры женщин, стариков, детей, сидевших на чемоданах и узлах, дальше всё пропадало во тьме. То, что темь тоже полна людьми, угадывалось по шорохам и по какому-то особенно гнетущему настроению, пропитывающему кислый вонючий воздух. Тишину изредка прерывал вздох, плач или крик ребенка, громкий шопот: если говорили, то почему-то только шопотом.

Сверху доносилась винтовочная и пулеметная стрельба, автоматная трескотня, ухали оружейные взрывы: в городе шел бой.

Борис Васильевич Обухов, когда-то капитан царской армии, а потом шофер берлинского такси, сидел неподалеку от двери, прислонившись к стене и сжав руками опущенную голову. Голова болела, тело ныло: в шестьдесят пять лет не легко просидеть в подвале четверо суток безвыходно. Выходить было некуда: над подвалом развалины, вокруг тоже развалины, а в них рвутся снаряды и пронизывают воздух пули.

Теперь взрывы удалились, значит — подходят. За много лет в Берлине Борис Васильевич так и не научился сносно говорить по-немецки: жить кое-как жил, а мыслями оставался в России. Сейчас Россия входила в Берлин, Россия пришла к нему. Это вол-

новало, влекло, но было и жутко. Какая она? Что сделает с ним? За четверо суток он всё передумал: «Расстреляют как белогвардейскую сволочь. Хорошо, если на месте, а может, потащат в Чеку. Как она нынче называется? НКВД? Будут мучить. Или что еще?» Но в мучения и смерть не верилось, почему-то казалось: не может быть. Но что же может быть? И страшно было не за себя, не за свою жизнь, — хватит, пожил, — а за что-то еще, быть может за свою мечту, за свою двадцатипятилетнюю изгнанническую и наверно слишком сентиментальную, а поэтому и немного стыдную любовь.

Но проходили часы, дни, наверху не утихало, и мысли уже перепутались, притупились. Он сидел среди насмерть перепуганных немцев, в нудной паутине страха и ожидания, и тупо смотрел в одну точку.

Борис Васильевич задремал и не видел, как в изломанной дыре двери показался красноармеец. Прижимаясь к стене, солдат осторожно переступал камни, выставив перед собой нацеленный в тьму подвала автомат. В подвале тихо охнуло, шелестнулось: люди непроизвольно сжались, подались назад. Солдат щелкнул фонариком: в снопе света на мертвенных лицах засветились десятки застывших в нечеловеческом страхе глаз.

Смелее переступив, с автоматом наизготовку под правым локтем, солдат

повел фонариком по подвалу, потом обернулся и крикнул:

— Давай сюда, камень есть!

Спустились еще двое. В невиданных Борисом Васильевичем пилотках и в кофтах-телогрейках с тесемками вместо пуговиц, еще держа автоматы наготове, они стояли и оглядывались по сторонам. Вошедший первым был невысок и широк, похож на катыш, второй, худощавый, должно быть был подвижным и юрким, третий, высокий и спокойный, наверно, был самым серьезным.

— Подколымить можно богато! — тонким голосом воскликнул юркий и пошел вглубь.

— Не бойсь, фрицы, мы вас от Гитлера освобождаем! — хохоча, кричал первый, с круглым курносым лицом и веселыми глазами, и тоже подался к сжавшейся толпе, фонарем разрезая себе путь. Третий остался стоять у двери.

Со смехом и прибаутками, будто они были на прогулке, двое быстро шарили среди людей и барахла. Не прошло минуты, как Борис Васильевич услышал хватающий за сердце женский вскрик:

— Was wollt ihr von mir? *) — и хохочущий ответ курногого:

— Не бойсь, голубка, давай добром!

Борис Васильевич поднялся. Сердце колотилось, тело трясла нервная дрожь, но он собрал силы и сказал, громко передохнув:

— Вы что безобразите, вы?

Солдаты мгновенно обернулись. Три автомата нацелились на Бориса Васильевича. Катыш, светя фонариком, быстро подкатился к Обухову.

— Ты русский?

— Кто бы я ни был, а безобразничать с мирным беззащитным населением не позволю, — твердо ответил старик.

— Власовец? — не веря, протянул катыш, разглядывая седую голову, морщинистое лицо и потрепанный пиджак Бориса Васильевича.

— Не. Наверно эмигрант. Из беляков, я таких видал, — тихо сказал юркий.

*) Что вы хотите от меня?

— А что ты за немцев заступаешься? Что они тебе? — уже не так смело спросил катыш. Видно было, что солдаты смущены. Высокий тянул юркого за рукав и говорил: «Бросьте, ребята, пошли. Чего вы...»

— Я русский и мне стыдно за русских, если они позорят свою солдатскую честь, — продолжал Борис Васильевич, чувствуя себя, как в бреду.

— Да мы что... Мы же только так... совсем смутились двое, только катыш, скрывая смущение, еще тараторил:

— Что ты, старик! Мы что, грабители? Да нам всё равно время нет прохлаждаться с вами! Подумаешь! Пошли, хлопцы! — и один за одним они исчезли в двери.

Борис Васильевич перевел дух и сел на прежнее место. Теперь болело и сердце. «Пришли. Россия пришла. Что ж, радоваться таким?» Как будто то, что говорили всё время о советских, оправдывалось. Хорошего ждать не приходилось. Возникла и досада: «Я же хотел не выдавать себя, сначала присмотреться. Выскочил, неизвестно зачем.» Но и радовало сознание, что удалось защитить немцев: солдаты всё-таки ушли? Значит, не такие они плохие, на них можно повлиять? Немцы еще не оправались от волнения и сидели окаменело.

Через несколько минут в двери опять показался красноармеец. Не входя в подвал, он крикнул:

— Кто здесь русский, выходи!

Борис Васильевич встал, перекрестился. С трудом передвигая тяжелые ноги, пошел к выходу. Солдат посторонился, пропуская его. Карабкаясь по камням, завалившим ступеньки, Борис Васильевич приготовился: сейчас будет расплата и за защиту немцев, и за то, что он белый, и за его двадцатипятилетнюю любовь. Сразу за всё.

Во дворе ослепило солнце. Только минуты через две он разглядел, что стоит перед двумя военными, о чем-то его спрашивающими. Они были тоже в телогрейках с тесемками, в шапках-ушанках и грязных стоптанных сапогах с керзовыми голенищами. По

ремням с пистолетами на боку и по планшеткам Борис Васильевич заключил, что они офицеры. У одного было худое, заросшее рыжеватой щетиной лицо, серое от пыли, на правой стороне пот проделал в пыли неровную дорожку от виска до подбородка. Второй, пониже ростом, блестел возбужденными глазами на широком лоснящемся лице. Нахмуренный и энергичный, первый хлопал по левой руке планшеткой с раскрытой картой.

— Шевелись, отец! Ты здешний? Местность знаешь? — повторяя, спрашивал высокий офицер.

— Знаю. Двадцать лет в этом доме живу.

— Вот и отлично! Смотри, можешь провести вот сюда? — ткнул офицер в карту и тотчас же захлопнул планшетку: — Да чорт тут разберет! Смотри, лучше так расскажу...

Офицеры торопились. Фланги по другим улицам давно ушли вперед, и только на этом участке продвижение задержалось. Впереди была почти уцелевшая школа, в ней засели эсэсовцы и простреливали из пулеметов и автоматов все подходы. Подойти в лоб невозможно, артиллерийский обстрел вызвать нельзя: слишком близко свои. Сил мало, а продвигаться необходимо: еще несколько часов — и конец! Победа, которую ждали сотни дней и ночей миллионы людей — вот она, за этой школой! Офицеры были распалены и нетерпеливы: школа должна быть взята. Но в развалинах ничего не понять: груды битого камня и кирпича завалили город; где улицы, дворы, проходы, не разобрать.

Оглянувшись, Борис Васильевич не узнал, где он: всё лежало в развалинах. От дома осталась половина боковой стены. Впереди на высокой гряде кирпича и по сторонам примостились солдаты и куда-то стреляли, должно быть в школу, невидную за кучей. Слева короткими очередями, нервно, в том же направлении бил пулемет.

— Скорей соображай, отец! — то ролил офицер. — Ты военным не был? Нам надо...

Он не договорил и, качнувшись, упал на Бориса Васильевича. Старик

инстинктивно распахнул руки и подержал; он еще успел увидеть, как странно захлопнулись глаза офицера на неизменившемся лице: словно офицер очень устал и мгновенно уснул.

Подбежали солдаты, вместе со вторым офицером подхватили убитого и опустили на землю. Шальная пуля угодила в спину, пробила сердце: на телогрейке уже расплылось красное пятно. Офицер снял шапку, нагнулся над товарищем.

— Эх, Коля, не дотянул! — воскликнул он. — Тысячи километров прошел, пустяка не осилил!

Солдаты на груди кирпичей оглядывались. Один, круглый и крепкий, немного сполз вниз и крикнул, еще не веря:

— Капитана убило?!

Борис Васильевич узнал в нем того, который первым вошел в подвал. Катыш поднялся; распахнув телогрейку, будто разрывая на себе рубаху, он вскочил на гребень кучи и, полосуя из автомата по невидимой снизу цели, с бешенством кричал:

— Получай, гады! За моего капитана, тады! — потом взмахнул автоматом и скovyрнулся вниз.

— Готов! — словно с ноткой восхищения сказал один из стоявших рядом с Борисом Васильевичем солдат.

Офицер провел по лицу, будто стирая с него пот и гримасу горя. Взяв Бориса Васильевича за рукав, он отвел его немного в сторону от трупa. Продолжая начатое другим, он говорил также нетерпеливо:

— Нам надо обойти школу и взять. Понял, батя? Это пустяк, их там немного: от отчаяния палят, с перепугу. Обойти — вылезут. Проведешь там, правее? — показал он рукой. — Ты не военный?

— Капитан русской армии.

— Ну, чего больше! Батя, я тебе дам взвод, действуй! А мы с того бока пойдем. Договорились?

— Но я не знаю ни нового оружия, ни новой тактики, — ошеломленно, не поверив ушам, сказал Обухов.

— Э, тактика!.. Ну, ладно, поведешь только. Старший сержант Се-

менчук! Ко мне! Бери своих людей, слушай задачу...

Еще через пять минут Борис Васильевич пробирался со старшим сержантом Семенчуком, таким же широколицым и курносым, как убитый солдат, среди развалин в обход школы. За ними, где пригибаясь, где ползком, двигались солдаты Семенчука. Кто-то сунул Борису Васильевичу винтовку, — он сжал ее в руке и почувствовал, как захолонуло сердце: трехлинейная, образца 1893 года! На секунду остро вспомнилось, как брал винтовку в военном училище, почти полвека тому назад.

Он не понимал, что происходит с ним. Эти две простые солдатские смерти, точно такие же, какие так часто ему приходилось видеть когда-то самому, тоже ежечасно подвергаясь смертельной опасности, и то, как офицер реагировал на смерть друга, жалея, но ни на минуту не забывая о своем военном долге, родили чувство, что он сам — на месте этих офицеров. Что он такой же, как они, — а то, что он взял в руки винтовку и ведет за собой русских солдат, вдруг спутало всё, странным образом стерло последние тридцать лет, зачеркнуло его изгнанничество, бездомность, и он опять оказался среди своих и сам тоже свой. Конечно среди своих: на них, на этих солдатах, что ползут сейчас за ним и Семенчуком, незнакомые пилотки, у некоторых даже со звездочками, но под пилотками такие же точно лица, какие были и у солдат его роты в первую мировую войну. Это ведь те же Гришки, Петьки, Ваньки, Саньки, Семенчуки, Обуховы, Сидоренки, Степановы, грубые, нескладные, неотесанные, но и такие живые, непосредственные, умеющие так мирно и лихо принимать смерть. Борис Васильевич с трудом понимал, где он и что с ним.

Семенчук вопросительно оглянулся: впереди стена, справа и слева бесформенная куча камней. Куда? Усилием воли прогнав мешавшие мысли, Борис Васильевич осмотрелся. На углу полуобваленной стены висел клок плюща, под ним вдавался зеленый жолоб водосточной трубы. Борис Василье-

вич вспомнил: третий дом от угла. Если обойти, справа, через переулочек — выйдешь к боковой стене школы. Он кивнул Семенчуку и, почувствовав давно забытый боевой азарт, нагибаясь, полез по камням в обход стены...

Через полчаса со школой было покончено. Офицер с чувством потряс руку Бориса Васильевича, благодаря за помощь. Семенчук, левой рукой вытирая пилоткой пот с лица, тоже жал ему руку и говорил:

— Пойдем с нами, папаша, из тебя солдат на все сто! Сильно воюешь! — Солдаты шутили, как со своим, на прощанье совали ему кто пачку махорки, кто папиросы, кто банку консервов. Но прощанье было недолгим: они торопились. Путь к победе был расчищен, надо идти вперед. И они спешно двинулись дальше, к центру.

Посмотрев им вслед, Борис Васильевич повернул назад. Горело справа, слева, впереди, пахло гарью, под ногами из-под развалин тоже кое-где курился дымок. Перебираясь через кучи камней, Борис Васильевич чувствовал себя странно. Ещё трудно было освоиться с внезапным возвратом в молодые годы, на тридцать лет назад, в нем ещё бродило недоумение: что произошло? Он чувствовал себя усталым и от этого внезапного превращения и от только что пережитой схватки в школе. Но усталость была приятной, освежающей: и схватка — часть превращения. В ней он ещё раз увидел, что он среди своих. Сколько у солдат ловкости, смелости, но и умения, осторожности! Как просто они шли в бой, этот последний для них бой, которым они были разгорячены до опьянения, и не жалели себя, не боялись смерти, но и как они были ловки и умелы! Такими же были его солдаты тридцать лет тому назад, таким же был и он сам. И Борис Васильевич чувствовал, что будто бы нашел завершение своим тяжелым многолетним думам, оправдание своей доселе безответной любви.

Около остатков своего дома он увидел других солдат. Наверно, это была резервная часть; они никуда не тор-

пились и располагались по-домашнему. Некоторые спали, прямо на грудях кирпича, другие сидели группами и курили, разговаривали, третьи закусывали. Из подвала ещё пугливо выглядывали немцы. Но и из них кое-кто уже осмелел: чуть дальше среди неё, после грохота гранат и выстрелов в школе, был удивительно мирный вид, и рыжий рябой солдат раздавал немцам, должно быть, остатки пищи. Перед кухней, кучкой человек в пятнадцать, стояли с мисками и тарелками старики, женщины, подростки, солдат вываливал им в посуду что-то дымящееся, наверно вкусно пахнущее, и добродушно разглагольствовал:

— Не толпись, всех оделю. Оголодали с Адольфом, ну, я досыта покормлю. Теперь нацизме вашей крышка, в людей вас будем перекрещивать. Тото, садовые головы. Чего совались? Шутка вам, на Россию переть? Ма-

китры у вас на плечах замест голов поодеваны?

Он взгляделся в старика, протягивающего миску, и взмахнул черпаком: — Ты что, во второй раз? А совесть у тебя есть? Как всем, так и тебе, за добавком к Адольфу иди. Тут по справедливости, несознательный ты старик. Иди, иди, а то тресну по черепку, разом перевоспитаешься. Малого пропусти! — указал он черпаком на нерешительно мявшегося позади подростка. Немцы, словно понимая всё, что говорил кашевар, раздались и пропустили мальчика.

Посмотрев на раздачу, Борис Васильевич почувствовал, как ком подкатил к горлу. Он сходил в подвал, достал из вещей кастрюльку и пошёл к кухне. Обождая своей очереди, протянул кастрюльку кашевару и, с трудом справившись с волнением, сказал:

— Ну, плесни и мне нашего варева ...

СТИХИ ЭМИГРАНТСКОГО РАССЕЯНИЯ

Лидия Алексеева (США)

Гроза

Далекий гром, как встрепанный медведь,
Ворочался в глухом, берложьем гнев.
Скользила зыбь по выжженной траве,
И содрогались шорохом деревья.

И мгла сгустилась — и удар упал,
Короткий, ослепительный и грубый;
Ему навстречу, радостно сильна,
Земля раскрыла жаждущие губы.

И шумный ливень рухнул и приник,
Запах листвою, резаной и свежей,
И вымыл корни, и насытил пни,
И ослабел — стал ласковее, реже...

Затих совсем. И над сияньем луж,
И над узором млечно - рыжей пены
От ветки к ветке, от ствола к стволу
Встал ветерок, прохладный и блаженный.

Г. Вербицкий (США)

* * *

Мы шли вдвоем по черным городам,
Мы шли вдвоем — две тающие тени.
Шептались люди смутно по углам,
Шептали в храме, стоя на коленях.

И нас никто не видел, не слышал.
Мы шли вдвоем змеистыми тропами.
И только Третий, кто обоих знал,
Смотрел на тень, ползущую за нами...

Р. Воробьев (Германия)

Старая дева

Сердце неласково к шуму.
Жизни размеренный ход,
Как нелюбимую думу,
Скудную старость ведет.

Выцветла бледная шея,
В складках сухая рука
Ждет, всё попрежнему млея,
Ласковых губ жениха.

Те же в шкафах безделушки,
Тот же линялый диван,
Тот же павлин на подушке,
Тот же семейный роман.

А в шифоньерке меж окон —
Память объятий и слез —
Бережно свернутый локон
Школьной подруги волос...

† Юрий Галь (Австрия)

Петербург

Мой город! Вечность! Молодость моя!
Гранит Невы, холодный шпиль Трезини...
Какая ширь! Какая четкость линий!
Всё в серебре... и где его края?

Бессонная воздушная струя
Прошелестит в развенчанной вершине.
Решетку Фельтена покрыл мохнатый иней,
Под снегом полукруглая скамья...

От летнего до самого Сената
Иди, иди... целебный воздух пей!
Усталая душа опять богата.
Не будет ни раздумий, ни скорбей,
Останется багровый свет заката,
И лягз к реке спадающих цепей.

Юрий Грознов (США)

Раненый

В голове с орудийным грохотом
взрывы мыслей...

И вновь, и вновь
я ползу бесконечными чертополохами,
лепестками роняя кровь.

Я ползу в багровую бездумь,
и все ближе чего-то край...

Я кричу во все горло
«ПО-БЕ-ДА!..»

А выходит чуть слышное:
«Умира...»

Я вгрызаюсь зубами в воздух,
боль, как гадину, в пальцах сжав.
А над степью, над миром — звезды,
вечности сторожа.

Николай Н. (Индо-Китай)

* * *

Если знаешь, что туча над нами,
Если знаешь, что сердцем я смёрз,
Улыбнись мне одними глазами
Через сотни, тысячи верст.

Слышишь гул грозового раската,
Видишь синее пламя зарниц,
— Улыбнись мне, как в мае когда-то,
Тихой дрожью пушистых ресниц.

Улыбнись — и в суровую сечу,
В ночь неласковую, в ураган
Я пойду всем свинцам навстречу,
Глядя нежно холодный наган.

Что дороги наши сойдутся —
Предназначено мудростью звезд.
Лишь глаза твои пусть смеются
Мне за сотни, тысячи верст...

А. Парфёнов (Африка)

В Марокко

Утро тихое. Степь марокканская.
Гор атласских вершины горят.
На верблюдах, совсем африканских,
Арабчата в бурнусах сидят.

На суку незатейливым рядом —
Апельсины, орехи, миндаль,
И крикливым восточным обрядом
Покупаются жены в сераль.

Всё идет по обычаям древним,
Муэдзин возглашает: Аллах!
И скандирует криком напевным
Очищение в райских садах...

О. Скопиченко (США)

Памяти погибших

Где-то в небе несколько страниц
Исписала гибель до конца.
Молчаливая угрюмость лиц...
Скованные холодом сердца...

И тянулся лентою обоз
Ледяной, застывшею тайгой.
Хоронили мертвецов без слез
Под снегами чащи вековой.

Горе тем, что не смогли дойти!
Горе тем, кто выбился из сил!
И росли бессчетно на пути
Снеговые насыпи могил...

Екатерина Таубер (Франция)

* * *

Былое — вырубленный сад,
Где пни, обрубки и могилы.
И всё мучительней разлад
Меж тем, что есть, и тем, что было.

И уцелевших не узнать,
И встречи — словно расставанья...
Возьмешь знакомую тетрадь —
Чьи здесь пометки, восклицанья?

Каких пришельцев карандаш
По милой проходил странице?
Вот этот завиток «не наш» —
Вовек с ним сердцу не сродниться.

Когда же всё-таки найдешь
Черту нетронутую, слово —
С какой к ним жаждой припадешь,
Вернуться к прежнему готова.

М. Чехонин (США)

Пирамида

Нужно кормить терпенье
Коркой голодных лет,
Нужно носить смирение
К тем, у кого его нет.

Ночью вопросы немые
Долго спать не дают —
Кто же эти другие,
Что над тобой живут?

Так же прощенья просят
За несвятое житье?
Так же кому-то носят
Злое смирение свое?

Ну а над ними — обидой —
Тоже какие-то есть?
Так и живет пирамидой
Ложь, унижение и лесть?

Кто же тогда — не знаю,
Как и сказать в строку —
Держит и проверяет
Тех, что на самом верху?

Галина Шитц (Германия)

* * *

Под скрип осенний голых тополей
Я с мола в дали жадно провожаю
И рвущийся дымок ушедших кораблей,
И чаек зыбкую в полете стаю.

Мне не уйти за ними. Не догнать
Неясных чувств, с мечтою уходящих.
— Лишь провожать счастливых и манящих,
Да на молу в осенний день стоять...

УГАСШИЕ ЗВЕЗДЫ

Часть вторая*)

I.

Петербург встретил по-обычному — Невский блистал витринами, мехами дам, великолепными барскими выездами; гранитные набережные величавой Невы сверкали зеркальными окнами и беломраморными колоннами дворцов; купол Св. Исакия взлетал к небу символом православия, сочетавшего благолепие древней Византии с классикой европейского Запада. Только тонувшая в речном тумане Петропавловская крепость показала Охолдину обветшалой, пережившей свое время, неспособной больше служить надежным оплотом самодержавия.

Его еще угнетали вынужденный отъезд из Риги, трагический оборот дела Фридманов, — оборот, в котором и он оказался замешанным, печальное расставанье с Раей. Он приехал в Митаву проститься с ней уже после приговора, но до приведения его в исполнение. Пришел в магазин, где она служила, и узнал, что она больна. Разыскал ее на дому и понял сразу, что делать этого не следовало.

Всё время она рисовалась ему нежной, прекрасной, любимой... Ее несчастья и редкие встречи с ней подогревали воображение. Ее надо было увезти, помочь забыть непоправимое. Даже женитьба на ней казалась не такой уже несбыточной, хотя Охолдин и сознавал в глубине души, что вряд

ли решится на такой шаг. И только увидев Раю в домашней обстановке, он понял окончательно, что увлечение и жалость — одно, а любовь — совсем иное.

Маленький домишко на Большой улице стоял хмурый, убогий. Старая еврейка на дворе выглядела грязной и безобразной. В бедных комнатках (Охолдин стукнулся лбом о притолоку, переступая порог) пахло кухней и стиркой. Охолдин не знал, куда себя девать; вместо сердечных слов с его уст срывались дешевые утешения, он незримо ощущал за жиденькой покосившейся дверью присутствие той жирной и неряшливой девицы, которая сперва испархнулась от него, а потом трясла его руку и занимала развязными разговорами, пока одевалась ее сестра.

Рая тоже почувствовала фальшь положения, и это оставалось последним светлым воспоминанием о ней. Она сидела в продырявленном кресле, худая и желтая, улыбалась слабо и тоскливо, искала слова.

— Не унывайте, Рая, может быть, всё еще обернется к лучшему. Мне надо ехать, но я не забуду вас, — говорил Охолдин (он вновь старался уверить себя, что так и будет, но сидел неподвижно и обращался к ней «на вы»).

— Спасибо за всё, Сергей Платонович, и... прощайте, — сказала Рая.

— Не надо говорить «прощайте». Я соглашаюсь только на «досвидания»

*) См. «Грани» № № 9 и 10.

— пытался ободрить ее Охолдин, но Рая повторила чуть слышно и правдиво: — «Прощайте, Сергей Платонович, и еще раз большое, большое спасибо».

Она закашляла тем сухим, отрывистым кашлем, какой бывает у чахоточных. На висках явственно проступили синие жилки, и протянутая Охолдину рука была горячая и потная. Он спросил о причине нездоровья и охотно поверил, что это бронхит. Уходя, решил обеспечить ей по крайней мере возможность лечиться, но прекрасная северная столица как-то быстро заслонила собой маленький домик провинциального городка.

Охолдин побывал в военном министерстве и военном суде. Его приняли как своего, избегали копаться в истории с Кошелевым, предложили должность помощника прокурора в Москве. При том особом положении, которое продолжала занимать «первопрестольная», это было нечто вроде повышения, и Охолдин согласился с радостной готовностью.

Он навестил своего дядю Андрея Илларионовича, сделал ряд визитов в знакомых домах, и опять повторилось то же самое. Ему были рады, его приглашали на вечера начинающегося зимнего сезона. Знакомая среда беспечных, хорошо воспитанных людей, атмосфера старой, веками налаженной культуры затягивала его. — Та праздная атмосфера, бессодержательность которой он так часто осуждал, и красота которой все же влекла. И растворялась в ней подавленность, росла уверенность в себе, жизнь вновь начинала переливаться красками.

Отец приглашал к себе в деревню и приложил к письму обычный ежемесячный перевод на пятьсот рублей. Это была сумма, которою Охолдин добровольно ограничил себя (его младший брат Кирик служил в кавалергардах и получал из дому вдвое больше, да еще делал каждый год долгов тысяч на двадцать). Охолдин пытался одно время обойтись жалованьем и согласился на приплату, скрепя сердце, убедившись на деле, что

жалованья едва хватает на квартиру, портного и разные мелочи. Он избегал кутежей и карт и завел расходную книжку, повторял себе неоднократно, что каждый должен содержать себя собственным трудом и что целые семьи недурно существуют на гораздо меньших окладах. Но даже при самом скромном образе жизни нельзя было обойтись без участия в товарищеских ужинах, нужно было посылать букеты по случаю именин, дней рождения и разных других торжественных событий, которые не прекращались в знакомых домах, казалось слишком мелочным тащиться туда на конке, — расходную книжку пришлось забросить.

Сейчас деньги опять нужны были дозарезу, и чтобы они не растаяли сами собой, Охолдин принял решение, не выходя из почты. Он тут же переадресовал свои пятьсот рублей Шаблинскому и приписал на бланке перевода, что просит вручить их «мадмуазель Фридман от неизвестного». Отцу же телеграфировал, что выезжает на другой день, и остался более или менее довольным собой.

Перемена места службы давала месячный отпуск. Этот месяц среди соблазнов петербургского света наверное стоил бы гораздо больше. Теперь же вопрос исчерпывался сам собой, не говоря уже об удовольствии посетить родное гнездо.

«А если опять будут лишние деньги, можно будет послать еще,» — подумал Охолдин, мешаясь с людским потоком, который нес его к Знаменской площади.

Уже вечерело, и народу на улицах было очень много. Одни торопились домой со службы, другие выходили из магазинов со множеством свертков, по мостовой сплошной лентой двигались извозчики и собственные экипажи. В этот час и в этой части города преобладал средний, служилый люд, попадались также совсем простые женщины в платочках и мужчины в рабочих картузах. Но и они одеты были прилично, улыбались и оживленно переговаривались, почти

не видно было изможденных, мрачных лиц.

На площади движение разбивал волнорезом памятник Александру III. Могучий император, в военном кафтане русского покроя, сидел на неуклюжей, ушедшей толстыми ногами в цоколь лошади и смотрел на восток, куда уходил заложенный при нем великий сибирский путь. В свое время это творение князя Трубецкого вызвало много насмешек и споров. Охолдину приходилось слышать, что сиятельный скульптор просто доказал свою бездарность, или — что им руководила глубокая идея показать грубого царя, давящего Россию тяжелой своей властью. Он и сам склонялся к последнему толкованию, но теперь, на фоне громадного и богатого города, среди моря людей всех состояний, захваченных кипеньем жизни и видимо довольных, оно становилось неубедительным.

Почему на самом деле даже памятник искусства следовало рассматривать сквозь эту политическую призму вечной русской критики, уничтожения, в которой находила такое удовольствие русская интеллигенция? И если уж искать тенденцию художественного замысла, то не естественней ли, не красивее ли продолжить мысль Пушкина. Острые шпоры Петра Великого разбудили Россию от спячки московского периода. Подняли на дыбы, заставили возрастить из финского болота «полночных стран красу и диво». И нашелся Фальконет, который увековечил этот исторический поворот бессмертной фигурой медного всадника. Прошли века, возвеличилась Россия, вошла в берега взбудораженная Петром стихия. И явился император, который одним своим словом мог обеспечить мир всему миру, и снова нашелся художник, под резцом которого родился монумент спокойного могущества. «Опять противоречия!» — упрекнул себя Охолдин, возвращаясь к тому, что заставил его передумать Кошелев, и к неприятному чувству, которое расшевелила в нем по приезде Петропавловская крепость. Но таков уж

был великодержавный воздух этого города, что трудно было противиться его очарованию.

Охолдин обошел памятник, нанял лихача и приказал вести себя в казармы, при которых жил его брат.

У Кирика собралось после вольтижировки несколько однополчан. Все успели переодеться и готовились ехать на малый прием к старой княгине Архалуковой, которую Охолдин также знал очень хорошо (в этом кругу все вообще не только знали друг друга, но и находились в более или менее отдаленных степенях родства и свойства, точно разветвления одной невероятно разросшейся семьи). Охолдина встретили шумными восклицаниями, предложениями разделить компанию, отговорки не принимались.

— Подумаешь, его не пригласили и он не может ехать! — рассмеялся маленький ротмистр Данилов, подвижной брюнет, ходячая история полковых заветов и преданий. — Ты совсем отбилсЯ от рук в своей Чухляндии и забыл, что к Архалуковой ездят без приглашений. Кроме того никто ей не докладывал, что ты изволил осчастливить нас своим возвращением.

— Но тогда мне по крайней мере надо тоже переодеться, — начал сдаваться Охолдин.

— Никаких переодеваний! Это малый прием. Ты понимаешь: ма-а-лый. Подсаживайся на полчаса и едем, и, пожалуйста, без отговорок, — продолжал настаивать Данилов.

Он сидел за овальным столом и сдавал карты. Кроме него и Кирика здесь были еще светловолосый гигант — барон Беренфельс, несколько чопорный, как большинство остзейцев; только что выпущенный в полк корнет Позднышев, еще весь начиненный остротами и замашками кавалерийского училища; молчаливый, несколько болезненный, но чрезвычайно благодушный поручик Барцев, одного выпуска с Кириком. Все сидели, расстегнув мундиры, лениво потягивали красное вино и играли в макао. Судя по кучкам золотых мо-

нет, которые все росли около Данилова, в выигрыше находился он один.

— Ты ведь знаешь, что я не играю, — сказал Охолдин, которому точнее содержимое кошелька подсказало твердость хоть в этом пункте.

Кирик придвинул ему кресло и налил вина. Он отпил несколько глотков, прислушался к отрывистым замечаниям, касавшимся почти исключительно происходившей игры, встал и перешел в кабинет брата.

— Мне кажется, на сегодня хватит. Да и Лёвушке скучно, если он один не играет, — поднялся вслед за ним Беренфельс (он был одноклассником Охолдина по корпусу и продолжал звать его «Лёвущкой» по давнишней кадетской привычке).

— Скажи лучше, что ты продулся и не надеешься отыграться. Впрочем не мне быть в претензии... — сказал Данилов, небрежно сгребая со стола свой выигрыш и пересыпая его в карман рейтуз.

Все перешли в кабинет, и разговор принял общий характер. Говорили о лошадях, ожидаемых к Рождеству производствах, — всё было совершенно так, как до отъезда Охолдина в Прибалтику, как до поступления его в академию, как и во времена отцов и дедов, также служивших в этом полку и живших его интересами.

«Сейчас заговорят о женщинах, и начнет «шевалье»...» — подумал Охолдин, имея в виду Беренфельса, которого прозвали так в корпусе, потому что он постоянно ссылался на традиции своих предков, ливонских рыцарей, и порядочно надоедал этим.

— А пропо, вы слышали, господа, как отличился наш знаток женщин Позднышев? — грацируя начал Беренфельс и принялся рассказывать, что Позднышев познакомился в театре с какой-то девицей, безмерно восхищался ею и добивался всё новых свиданий. А когда явился в цветочный магазин, чтобы заказать для нея букет, то она сама встретила его и ей пришлось приготовить самой себе подношение.

— И совсем не так было, совсем иначе, позвольте, я расскажу... — оп-

равдывался корнет и покраснел до корня волос, но все смеялись, начали вспоминать другие похожие случаи, и ему пришлось замолчать.

Смеялся также Охолдин, больше, впрочем, над совпадением своей мысли и выступления «шевалье». Было ему скорей приятно, нежели скучно. После разлуки маленький мирок только выиграл своей незамысловатой цельностью и прочной спайкой. Он с удовольствием перелистал лежавшую на рояле историю полка, памятную вплоть до последнего снимка и красивого золотого тиснения на мягком сафьяне переплета. Обвел глазами стены, где также ничего не изменилось. — Попрежнему висели над скрещенными пиками на персидском ковре ручной работы палаша, дуэльные пистолеты разнообразных образцов, несколько револьверов. Попрежнему хранили надменное выражение портреты сменявшихся командиров полка и первой гвардейской кавалерийской дивизии, в которой кавалергарды были первым полком первой бригады (обстоятельство, неизменно преисполнявшее сердце Кирика особой гордостью). Особняком — над камином красовался в золоченой раме портрет вдовствующей императрицы Марии Федоровны, августейшего шефа полка, с милостивой улыбкой тонкого лица — как бы в ответ на то обожание, которым окружали здесь ее имя.

Пониже были развешаны в последовательном порядке акварели, изображавшие эволюцию кавалергардских форм. Тяжелые всадники времен Анны Иоанновны и лейб-кампанцы веселой царицы Елизаветы Петровны сменялись изящными кавалерами в пудренных париках, одним видом своим воскрешавшими в памяти блестящий двор Екатерины. Дальше шли формы, которыми восхищался Париж, когда победоносная гвардия Александра Благословенного принесла ему мир, вместо ожидаемого варварства восточных дикарей. Еще богаче была представлена эпоха сурового императора Николая Павловича, попережку с полковыми значками

радовали глаз великолепные серебряные приборы самого последнего времени.

И как-то не хватало смелости, казалось легкомыслием махнуть рукой на эти символы славной истории, видеть за ними только муштру плац-парадов, офицерский разгул, спесь оторвавшейся от народа аристократии. Было и это, много было темных пятен, но были и геройские подвиги целых поколений солдат и офицеров, которые пронесли по Европе и Азии родные знамена. Под защитой этих знамен развивались науки и искусства, благодаря им русское имя звучало веско во всем мире. Надо было учиться на ошибках и работать над их исправлением, а не оплевывать то, что было хорошо, расчищая дорогу к земному раю бомбой доморощенного террориста.

Раздался звонок, появился синий кирасир Папареску и объявил, что внизу дожидаются лошади. Все шумно двинулись в переднюю.

2.

Малые приемы Архалуковой собирали более изысканное общество, нежели большие. К ней ездили охотно, хотя многое в ее доме могло быть лучше, а сама она напоминала скорей скелет на шарнирах, чем живое существо.

— А, герой «Варяга», здравствуй, здравствуй, голубчик, давно у меня не был, — прошамкала старуха, но осталась недвижима в глубоких креслах, когда Охолдин склонился к ее высохшей руке.

— Ма тант, это не тот Охолдин, это Платона Кирилловича сын, — поправила ее племянница, старая дева лет шестидесяти, исполнявшая при ней обязанности компаньонки.

— Платона Кирилловича, повесы этого? да как же у него сын такой большой? Ты, мать моя, что-то путаешь ... — недоумевающе протянула Архалукова, и ее вставная челюсть зашевелилась под бескровными, синими губами. — Платона Кириллови-

ча я хорошо помню, он еще Неведомской шлейер оборвал, когда гвардия вернулась из турецкого похода. Такой был красавец и шармер, а проказник ужасный. На придворном балу, в присутствии государя, принялся мазурку танцевать и такие па выделял, что и описать невозможно. И оборвал шлейер, ухитрился, зацепил бальной шпорой и оборвал. А может быть выпил лишнего, от него станется... — продолжала она, ни к кому не обращаясь.

— Ну пойдем, она теперь долго будет расписывать, — потянул брата за рукав Кирик.

Они прошли в большую залу, где танцевала молодежь. Дальше в нескольких гостиных виднелись гости постарше, в смежной диванной раскладывали столы, и старички в голубых и алых лентах готовились играть в покер и винт. Несколько лакеев, почти таких же ветхих, как сама хозяйка, разносили на серебряных подносах фрукты и оранжад.

— Ты, братец, нам шампанского достань, понимаешь? — шампанского! — обратился Кирик к дворецкому, который стоял у неплотно прикрытых дверей столовой. Судя по звону посуды и стуку ножей, там накрывали к ужину.

— Не извольте беспокоиться, сию минуту будет-с ... — с достоинством поклонился дворецкий и исчез за дверью.

— Теперь больше носу не покажет, у нее ведь шампанское только ко дню тезоименитства Их Величеств, да еще разве в первый день Пасхи полагается. В остальное время поят лимонадом, а фрукты и закуски покупают у Елисеева порченные. Я нарочно и сказал, чтоб смутить его немного, — засмеялся Кирик, обнажая ряд великолепных, блестящих зубов.

— А ты обратил внимание на ее желтую робу? Всё одна и та же. Я уверен, что ее шили, когда наша милейшая Елизавета Борисовна была вот такой, — продолжал Кирик, мигнув на громадный, писанный масляными красками портрет юной краса-

вицы, занимавшей простенок между двумя зеркалами в старинных и вычурных бронзовых рамах. Она задорно улыбалась своим бело-розовым лицом, точеные плечи были смело оголены бальным туалетом, под левым плечом блистал бриллиантами шифр Смольного института, бедра скрадывали волны кринолина. Невозможно было поверить, что это — та самая Архалукова, которая недвижно сидела за три комнаты отсюда, — опекаемая своими приживалками, похожая на мощи, и только что приняла Охолдина за его двоюродного брата, служившего мичманом на погибшем в японскую войну «Варяге».

— Помнишь, отец рассказывал, что к ней был неравнодушен сам покойный государь Александр Николаевич и несколько лет не пропускал ни одного бала в ее доме. А шум, который наделала дуэль Архалукова с Сан-Меренштейном, который тоже был в нее влюблен! А роскошь, которой она окружила себя, когда овдовела и уехала в Италию. И такой закат... Жуткий вид, омрачение рассудка, такая скупость при миллионном состоянии. Как у нее хватает силы жить... — задумчиво сказал Охолдин.

— О, она цепляется за жизнь, как никто. Пожалуй, еще нас с тобой переживет. В ней есть что-то мистическое. Недаром ее прозвали «пиковой дамой», — ответил Кирик.

Из угольной гостиной донесся громкий голос генерала фон Рюдеркампа. Он сидел на пуфе, слишком ничтожном для его грузной фигуры, его толстое, красное лицо было еще красней обыкновенного; светлые на выкат глаза возбужденно сверкали. Он о чем-то спорил с тонким, вылощенным полковником генерального штаба, которого Охолдин видел впервые. Стоявшая вокруг гвардейская молодежь прислушивалась. По выражению лиц и отдельным замечаниям видно было, что она на стороне генерала.

— Вздор, чепуха, самое вредное для духа армии умствование! Честь мундира — святыня. Ее надо оберегать

всеми способами, — отрывисто басил генерал.

— Согласитесь всё-таки, ваше превосходительство, что есть известные границы, — мягко возразил полковник. — Офицера, допустим, оскорбили действием, и он тут же, на месте, в пылу, так сказать, гнева, убивает обидчика. Это я понимаю, нельзя в самом деле требовать, чтобы он ушел с пощечиной, оставался в офицерской среде и дожидался суда. Но в данном случае...

— В данном случае то же самое. Офицера оскорбили, у него не оказалось при себе оружия, но он достал его и восстановил честь мундира, — нетерпеливо перебил генерал.

Охолдин понял, что речь идет о происшествии, взволновавшем общество и не сходявшем со столбцов газет. Корнет одного из гвардейских полков поссорился в ресторане с чиновником гражданского ведомства, и тот дал ему пощечину. Корнет отправился домой, привез револьвер и убил своего противника наповал. Его предали суду, и вся либеральная печать требовала примерного наказания. В военных кругах, напротив, многие роптали и считали, что офицер иначе поступить не мог.

— Однако это уже убийство с заранее обдуманной намерением, хотя и при наличии смягчающих вину обстоятельств, — не уступал полковник, — так или иначе, граница дозволенного перейдена, и закон вступает в свои права. Надо также учесть общее настроение, оно уже не то, что было раньше, и такие расправы вызывают против армии озлобление...

— Ага, договорились: настроения штатской публики, брожение умов, — вот где собака зарыта! — торжествуя воскликнул Рюдеркампф. — На это я вам, полковник, отвечу просто, по-солдатски. Мы проливаем свою кровь за отечество, защищаем династию. Если бы не мы — ваши штафирки гнули бы шеи под игом каких-нибудь немцев и я не знаю кого... (сам Рюдеркампф происходил из немцев и потому особенно охотно выставлял на показ свою русскость). Мы

требуем беспрекословного преклонения перед честью русской армии. А если разным смутьянам угодно создавать брожение умов, так мы прочистим им мозги нагайками.

— Рябчики, а учить лезут, пусть сперва пороху понюхают! — сказал Кирик, закинув свою красивую голову.

Он стоял рядом со своим старшим братом, высокий, стройный и самоуверенный. Его широкую грудь стягивал точно из стали вылитый белоснежный колет. Не хватало только парадной кирасы и каски с раскинувшим крылья белым императорским орлом, чтобы писать с него картину сказочного всадника, покорителя неверных. Охолдин знал, что Кирик неумысел, последнее его замечание было просто глупо. Его политическое кредо строилось в виде лестницы, которую возглавлял Царь — Божий помазанник. За ним следовала гвардия, в первую очередь, конечно, кавалерия; ступенькой ниже стояла армия вообще; прочим дополнением был народ, который поставлял солдат, обрабатывал землю, трудился на фабриках, боготворил своего царя и армию. Такой народ Кирик любил, все же остальные казались ему ненужным, беспокойным придатком, нарушавшим законченную красоту лестницы. Отношение к ним отражала сложившаяся в корпусе песенка, и Кирик даже взрослым повторял, как бы шутя и все же достаточно серьезно:

«Всех штатских презираю я
И называю их шпаками,
И даже бабушка моя
Их била башмаками».

Охолдин понимал нелепость такого рода взглядов и видел в них серьезную опасность для России, которую любил и в которую продолжал верить. Он не надеялся переубедить Кирика, но не мог и молчать, когда эти взгляды высказывались так открыто, при таком общем одобрении. С другой стороны, Охолдин также не мог себе представить, чтобы кто-нибудь ударил Кирика или его самого, — ударил и ушел бы живым...

— Ваше превосходительство, —

начал он, подбирая слова и сильно волнуясь, — я тоже считаю честь мундира неотъемлемой принадлежностью армии. Без этого она превратилась бы в разнузданное сборище. Но армия принадлежит народу и пополняется им. И чем больше разрастаются современные армии, тем менее допустимо, я сказал бы даже пагубно, такое разделение на военных и штатских. Сегодня штатский, он завтра может стать членом нашей семьи, и мы должны искать с ним общий язык.

— Эк куда хватили, батенька! А что же прикажете делать, если этот будущий член семьи даст вам сегодня по физиономии? — Тащить его к мировому и требовать денежного штрафа? — сказал генерал скорее насмешливо, чем сердито.

— Надо себя так поставить, чтобы никто не осмелился этого сделать, — возражал Охолдин, пропуская мимо ушей раздавшиеся смешки и неодобрительные реплики.

— Я не понимаю ... по-твоему, надо сидеть под стеклянным колпаком, что ли? — недовольно пожал плечами Беренфельс.

— Тогда уж лучше уйти в монастырь, — улыбнулся Кирик.

— Особенно в женский, рекомендую, капитан, — перешел генерал на тот фривольный тон, которым поддерживал свое реноме лихого кавалерийского начальника.

— Мы едем в «Самарканд», ты конечно с нами? — сказал Охолдину Беренфельс, когда кончили ужинать.

Ужин был обильный, но, как и предвидел Кирик, не слишком изысканный. Особенно по части вин. Кроме того, первую скрипку за столом играли сановные старики и гофдамы прошлого царствования, елейными голосами велись благонамеренные беседы, было скучно.

— Вот что значит привычка. Сколько раз давал себе зарок не ездить в этот паноптикум, а вот поди же. Бываю чуть не каждую неделю, — вздохнул Кирик.

— Но почему в «Самарканд», разве нельзя выбрать что-нибудь получше?

— спросил Охолдин, которому тоже захотелось поветриться.

— В другом месте кто-нибудь встретится и подумает, что мы после ужина приехали есть. Как хочешь, — некрасиво. А в «Самарканде» только пьют и слушают цыган, — пояснил Беренфельс.

— Ах ты, арбитр элганциарум! — засмеялся Охолдин, ища глазами племянницу Архалуковой (сама она, по заведенному ею обычаю, исчезла еще до ужина).

Полетели за город тройки, мелкой россыпью звенели бубенцы, тускло мерцали в белой ночи каски. Услужливо сгибались в отдельном кабинете половые, властно звучало знакомое «че-ла-эк, вина!» в один миг вырастали средь чахлах пальм росившиеся тающим льдом ведерки. Стреляли пробки, плохой тапер бил по клавишам расстроенного пианино. Затем явились цыгане — и всё изменилось.

Они пели по-цыгански и по-русски, верней — на каком-то странном наречии, мешавшем цыганские и русские слова. Пели приблизительно то же самое, что сотню лет зажигало гусарские сердца и заставляло загулявшего ремонтера бросать на деку гитары сотенные бумажки. Под всхлип струн, под этот гортанный напев, вещавший в лихих переходах и радость и тоску, и страсть, знойную и безудержную, шли с молотка дворянские именья, трещали и лопались купеческие состояния, рушились семьи и люди выходили к барьеру...

Охолдин много раз обещал себе не поддаваться этому дикому очарованию, и всё же затасканный кабинет «Самарканда» с его жалкими пальмами превращался в языческий сад, где в этих первобытных, как море, напевах черпала радость и рассеяние беспокойная русская душа.

3.

Скорый поезд мчался мимо нахолившихся в осенней слякоти полустанков. С затянутого безнадёжной

пеленой неба дождь то лился обильными потоками, то частил, мелкий и упорный, вперемежку с быстро тающими снежинками. Узкие полосы давно убранных крестьянских полей, жалкие перелески, вросшие в землю деревушки с разбухшей шапкой соломённых крыш над покосившимися избенками. Изредка — старый, деревянный помещичий дом среди оголенного сада, да золоченая маковка сельской церкви.

Две России — скудеющая дворянская и сермяжная крестьянская — стелились на сотни верст в недоверчивом, неверном объятии. Умирание одной воспел Тургенев, над страданиями другой взывал Некрасов. Трудно было себе представить, что позади осталась одна блестящая столица, а впереди ожидает другая, что где-то на юге цветут крымские виноградники и оживают в искусственном орошении пески Туркестана, что за могучей сибирской тайгой голубеют сопки Владивостока и что все это вместе тоже зовется Россией.

Москву Охолдин миновал, не задерживаясь. Едва хватило времени переехать с Николаевского вокзала на Курский и пообедать в большом зале первого и второго класса, переполненном шумной, торопливой толпой пассажиров. Громадный швейцар в обшитой галунами ливрее провозгласил громогласно: «курьерский поезд Москва - Курск - Харьков второй звонок!» Носильщик подхватил вещи. Охолдин прошел мимо сверкающего золотыми ризами иконостаса и каких-то истово молившихся перед ним старушек на перрон.

В купэ с ним оказался пожилой господин с желтым, геморoidalным лицом и необъятных размеров животом, колыхавшимся студнем на тоненьких ножках. Господин сперва обложился целой кипой газет и журналов, сосредоточенно курил, закрывшись номером «Русского Слова». Потом начал зевать и пытался заговорить, но Охолдин не разделял русской склонности к дорожным знакомствам и отвечал односложно. Тогда попутчик позвонил и приказал проводни-

ку подать чай. Он достал с верхней полки обшитый потемневшей кожей погребец, расстелил на столике чистую туго накрахмаленную салфетку и принялся выкладывать на нее всевозможные закуски — пирожки, ветчину, розово-желтую семгу, синюю круглую коробку с паюсной икрой, завернутую в пергамент жареную курицу. Затем появилась бутылка столового вина и плоская фляжка рома в кожаном футляре.

— Не угодно ли разделить трапезу, закусим, чем Бог послал, — сказал он, радушно улыбаясь.

Есть после сытного обеда не хотелось, но отказаться было неловко. Охолдин поблагодарил и взял румяный сленный пирожок.

— А винца не прикажете? Разрешите, налью вам, оно, право, недурное, — продолжал радушный путешественник, наполняя две круглые металлические стопки.

В конце концов он добился своего. Подъезжая к Туле, Охолдин уже знал, что его зовут Леонтьевым, что он курский помещик и председатель уездной земской управы. Он рассказывал о закоснелом невежестве местной администрации, с которой приходится бороться земству, возлагал все свои надежды на Государственную Думу и ругал на чем свет стоит правительство, которое само ничего не умеет, а Думе не дает развернуться.

— Однако и Дума пока еще ничем себя не проявила. Только критикует и требует, — пытался возразить Охолдин.

— Оставьте, капитан, извините, не имею чести знать вашего имени — отчества! — с жаром воскликнул Леонтьев, разбавляя поданный проводником чай порядочной порцией рома. — Оставьте, пожалуйста. Вам, военным, это трудно понять, вы на всё привыкли посмотреть сквозь шоры казенного воспитания. Мы, народные избранники, стоим ближе к народу, видим его нужды и знаем его чаяния. Вы говорите, что народ груб, вы ссылаетесь на эксцессы прокатившегося по стране революционного движения,

вы усматриваете в этом доказательство, что наш народ еще не дорос до гражданских свобод? так я вас понимаю?

Охолдин не говорил ничего подобного и смотрел на своего собеседника с выжидательным любопытством.

— Вы утверждаете, что народу опасно давать власть? — продолжал Леонтьев. — А подумали ли вы о том, как опасно оставлять власть в руках неспособных правителей, которые втравили нас в никому ненужную войну с японцами и постыдно ее проиграли? Подумали ли вы о военных жертвах? Вы меня, Бога ради, извините, что я говорю так откровенно, но поймите, нет сил больше терпеть. Повсюду насажали исправниками каких-то держиморд, повсюду губернаторы — помпадурсы, в Петербурге всем заправляют немцы. А наш великий, могучий русский народ только смотри и облизывайся, нет ему хода, негде развернуть свою молодецкую силу. Почитайте, что пишут газеты, послушайте, как бичуют нашу отсталость с думской трибуны — и с ваших глаз спадет завеса, вы сами ужаснетесь несправедливости, в котором мы прозябаем.

— Сомневаюсь, — пожал плечами Охолдин, которого начал раздражать этот тон и повторение обычных в прогрессивном лагере рассуждений. — Вот вы жалуетесь на несправедливость, а сами говорите совершенно свободно и газеты жалуются, и в Думе кричат. И добились того, что за границей нас считают совершенными азиатами. Там, вероятно, и не поверит никто, что у нас каждый может писать что угодно и заниматься чем угодно, если он только не призывает открыто к мятежу.

— Так, значит, по-вашему, у нас полное благоденствие, как говорится — «тишь, гладь и Божья благодать»? — насмешливо усмехнулся Леонтьев.

— Нет бедных, нет тюрем, фратерните, егалите и так дальше?..

— Разрешите вам заметить, что я этого не говорил, но, по-моему, недостатки есть повсюду, и я не верю в волшебную формулу, которая устра-

няет их одним мановением, — сухо сказал Охолдин.

Он слегка кивнул, взял несессер и пошел в уборную умываться. Нарочно задержался там подольше, пока проводник накрыл постели. Вернувшись, увидел Леонтьева переоблачившимся в цветную шелковую пижаму, с красной бархатной ермолкой на голове. Они холодно пожелали друг другу покойной ночи и начали укладываться.

А загоревшийся огнями поезд набирал скорость от узловой станции, патентованные пружины диванов мягко укачивали, уютно голубел под лакированным потолком затянутый абажуром фонарь.

Утром Леонтьев сошел, еле коснувшись своей плюшевой дорожной кепки, провожаемый низкими поклонами получившего щедрые чаевые проводника. Сквозь свинцовые тучи проглянуло солнце, унылые картины средних губерний постепенно сменялись более жизнерадостными — хлебобородной полосы. Леса здесь еще сохранили багряный убор, размытые распутицей дороги блестели жирным черноземом, умытые дождем деревни оживлялись фруктовыми садиками, попадавшимися здесь и там белыми мазанками. Церкви пошли всё больше каменные, мужики и бабы на промежуточных станциях были рослые, опрятные.

Охолдин позавтракал в вагоне-ресторане и непринужденно болтал остальную часть пути с какой-то молодой дамой, которая везла в Харьков двух прелестных детей, мальчика и девочку. Она мило описывала их шалости и привычки, слегка кокетничала, угощала шоколадными конфетами. С ней не надо было говорить о политике, как с тем забавным чудачком («какой-то незадачливый Мирабо, жаль только, что их так много», — улыбнулся Охолдин, вспомнив сибирствующего революционера).

— Здравия желаю, ваше сиятельство, Терентий ваш уже дожидается, — вытянулся станционный жандарм на той довольно большой станции, откуда надо было ехать дальше на ло-

шадях. И хотя до «Охолдина», оно же село Никольское, — было верст тридцать, все тут знали его владельцев, и Охолдину показалось, что он уже дома. Провожавший поезд начальник станции почтительно приложился к козырьку красной фуражки, кучка крестьян скинула шапки, несколько баб в пестрых цветных платках заулыбались, стыдливо прикрываясь локтем. С другого конца платформы спешил Терентий — статный кудрявый молодец в черной плисовой безрукавке, яркой лиловой рубашке и широких бархатных штанах, заправленных в лаковые сапоги.

— Ваше сиятельство, наконец-то, добро пожаловать! — заговорил он, снимая обеими руками свою круглую шапочку с павлиньими перьями и низко кланяясь. Его румяное широкое, чисто русское лицо с маленькими лихо закрученными усиками выражало неподдельную радость.

— Здравствуй Терентий. — Ну как папа, что подельывает тетушка, Ирина Илларионовна, все по-старому живете?

— Слава Богу, все в полном акурате. Их сиятельства изволят в добром здравьи обретаться и всенепременно приказали вас к вечернему чаю доставить, — сказал Терентий, надевая свою шапочку и берясь за чемоданы.

Он посадил молодого барина в покойную коляску, заботливо застегнул кожаный фартук, ловко вскочил на козлы и перебрал возжами. Застоявшийся коренник, крупный и могучий, сердито потрянул головой и тронулся в раскачку. Обе пристяжные, рыжие и горбоносые, сухощавой донской породы, изогнули шеи, скосили назад огненным глазом и пошли танцуя. Звякнули бубенцы, и на шоссе тройка выкатилась уже лихим крупным махом. Сразу ушли назад строения станционного поселка, быстрее замелькали телеграфные столбы.

— Разве тебе не холодно? — ты совсем налегке.. — спросил Охолдин, поднимая воротник шинели под напором ветра.

— Никак нет, наше дело привычное, — донеслось с козел.

Терентий точно прирос к своему высокому сиденью. Еле заметным движением рук придерживал тройку на разъезженных местах, коротким разбойничьим присвистом побуждал лететь. Он владел этим сиротеющим почтовым трактом, бегущим на юг, в богатую Таврию, хотя железная дорога давно уже убила своеобразную поэзию почтовых станций, бесконечных чаепитий, лихих фельдъегерей и подбострастно-неумолимых смотрителей.

От бывшего движения большой магистрали оставались только редкие крестьянские обозы, которые жались на обочину под властным окриком Терентия, да отдельные пешеходы, проводившие глазами его неподвижно застывшую фигуру с развешивающимися кудрями и пузырившимися по ветру рукавами.

Верст через десять пришлось свернуть на размытый степной шлях, и сразу взмокли крупы лошадей — коляска ушла по спицы в кашу липкой грязи. Терентий повернулся в полоборота, и как-то незаметно исчезла официальность первой встречи — перед Охолдиным опять был его сверстник, разбитной Терешка, выросший у них в доме, скакавший вместе с ним на охоту, проводивший с ним целые ночи на тетеревином току. И этот Терешка звал его теперь запросто Сергеем Платоновичем, передавал, как умел, новости. Прежде всего — о том, каким необыкновенных статей сосунком ожеребилась их знаменитая «Боярышня», кобыла действительно редкой резвости. Затем — о конфузе любимого отцовского кобеля Гремучего, который на последних заячьих угонках завяз в болоте и дал опередить себя собакам одной с ним смычки, чего никогда с ним не случалось. Попутно — о мужичках, которые продолжали «баловаться» и разгромили соседнюю усадьбу помещика Палицына, причем сам Палицын с семьей успел убежать в губернский город, а его управляющего привязали к дереву и засекли насмерть.

— Можно так сказать, что маленько свихнулся народ. Ну да у нас тако-

го, слава Богу, не слыхано. Только всего и было, что на заречных лугах два сарая спалили. Опять же их сиятельство, папаша ваш, в Никольском казаков доставили. Однако ребята они неподходящие, больно угрюмы и девкам от них нет проходу, — неодобрительно закончил Терентий и вернулся к более близкому — лошадям и собакам.

— А как же, по-твоему, без казаков лучше? — спросил Охолдин. Отец не писал ему ни об участии палицынского управляющего, ни о пожарах и казаках. И хотя на общем фоне аграрных беспорядков во всем этом не было ничего удивительного, но мысль, что так поступают и х крестьяне, дохнула неприятным холодком. Непонятным показался и товарищ детских забав, которому дикая крестьянская расправа представлялась «баловством», а вызов казаков излишним.

— Известно, без них, охальников, лучше. Они только народ даром злобят, а так люди побунтуются и остынут.

— Конечно, остынут. Это ты верно сказал. Разграбят Никольское, убьют отца и остынут — довольно неприятно сказал Охолдин.

— Батюшка, ваше сиятельство, не извольте сердчать. Может я, по глупости, не так сболтнул, потому нам от казаков этих вреда нету. Опять же и мужику нельзя давать волю, его, подлеца, в струне надо держать, — спохватился Терентий, но звучало это фальшиво...

— Поезжай скорей, темнеть начинает! — коротко сказал Охолдин.

— Слушаюсь, не извольте беспокоиться.

Дальше ехели молча, и Охолдин вздохнул с облегчением, когда, поднимаясь из глубокой балки, завидел вдали огоньки Никольского.

4.

Старый Архипыч уже больше часу дожидался в обширном увешанном рогами вестибюле охолдинского дома. Он сидел на обитой малиновым барха-

том скамейке, опустив на грудь свою крупную, лобастую голову и полузакрыв выцветшие много перевидавшие глаза. Чисто промытые глубокие морщины его бритого лица были неподвижны, только тонкие губы время от времени беззвучно шевелились, и молодому выездному лакею Михайле казалось, что старик спит.

— Лукьян Архипович, кажись запоздали, — сказал он почтительным полушопотом, переминаясь затекшими от долгого стояния ногами.

Архипыч ничего не ответил, и Михайла нерешительно опустился на краешек скамейки, но сейчас же вскочил под строгим окриком необычайно бодрого для такого дряхлого человека голося.

— Эй ты, малый, не рассаживайся, сколько раз тебе говорено, — прикрикнул Архипыч и закончил более добродушно: — неужели постоять трудно? Того и гляди их сиятельство выйдут, так ты думаешь, приятно им будет твою такую серость видеть. Они по доброте своей, может, и ничего тебе, глупому, не скажут, а только обидно им будет, что господский слуга порядку не знает.

«Ишь, прости Господи! Того требует, чего и от самого графа не услышишь», — обиженно подумал Михайла, но остался стоять, с тоскливым нетерпением поглядывая на шкафчик часов, отмечавших течение времени медленно и важно.

Было тепло и тихо, клонило ко сну; громадный бурый медведь, державший в передних лапах серебряное блюдо для визитных карточек, насмешливо косился на Михайлу стекляшками мертвых глаз. На площадке широкой, крытой ковром лестницы, уходившей вверх, в жилые покои, показался Ардальон, любимый камердинер графа Платона Кирилловича, прислушался, склонившись над перилами, исчез так же бесшумно, как появился.

— Вот ты стоишь себе и небось думаешь: чего привязался старый хрыч? — окончательно смягчился Архипыч. — А того нет в тебе понятия, что для твоего же добра стараюсь.

Он достал из кармана своей серой суконной куртки, заменявшей ему в последние годы ливрею, круглую серебряную табакерку, похожую на луковичу. Высыпал в лунку сложенной в кулак руки понюшку табаку и неторопливо, с видимым наслаждением втянул его сперва в одну ноздрю, потом в другую. Глаза его оживились, и, негромко сморкаясь в пестрый фуляровый платок, он сказал, обнажая в улыбке еще крепкие желтые зубы:

— Так-то, голубчик, старайся, сил своих не жалея, а за господами служба не пропадет. Они тебя наскрозь видят, какой ты есть человек и какого места достойный.

— Это как сказать, Лукьян Архипович, господа тоже разные бывают, — осмелел Михайла и прислонился к стене, довольно независимо выставив ногу.

— Разные-то разные, а только всё господа, господами и останутся. А ты, как был мужепес, так и в могилу ляжешь. Потому такой от Господа Бога порядок заведенный, — внушительно нахмурился Архипыч. — Вот теперь, к примеру взять, купец в гору пошел. Именья перекупает, форсу задает, людишкам вольность оказывает, а всё не по-благородному получается. Ну и господа, конечно, не те. Измельчали которые, жизнь барскую забывать начали, на службишкѹ в город потянулись, а хорошо разве так? На них глядячи, народ от земли отбивается, по фабрикам паскудится да такое безобразие творит, что и описать невозможно. А прежде бывало каждый знал свое место. Ежели ты дворянин, так владей своей вотчиной, купец — так торгуй и не лезь со свиным рылом в калашный ряд.

— Однако нашему брату не легко приходилось, при крепостном-то праве, — сказал Михайла и пожалел.

— Нишкни, жолторотый, нишкни, неразумный! — замахал на него руками Архипыч. — Лентяев и лежебоков, точно, не жаловали, а верный слуга за своим господином, как за каменной стеной пребывал. Уж на что сурьезный был барин покойный граф

Лев Львович, царство ему небесное, а кто его худым словом помянет? — ничего не заслужил, окромя благодарствия. Мальчонка я был, как есть несмышлениш, когда меня к ним казачком определили. А они о ту пору уже царской милостью были взысканы, польское повстанье усмиряли, важный такой генерал, эполеты что блюдо, вся грудь в регалиях. Как увидел их первый раз во всей их красе, так и обомлел, ну прямо ни одного слова не могу вымолвить. Они меня посылают за чем-то, а я стою чурбан-чурбаном и весь дрожу, как осиновый лист. Тут они сперва осерчали и из собственных рук арапником меня изволили поучить, а потом разглядели, что я из одного усердия да по глупости своей провинился. И что ж ты думаешь: «пошел вон, болван,» — милостиво этак сказали и рассмеялись даже. А мне в прок пошло. Бывало, потом Лев Львович только бровью поведут, а я уж знаю, чего они желают, и одним духом исполню.

— И не боялись вы их больше, Лукьян Архипович? — спросил Михайла, воспользовавшись паузой.

— Вот и дурак ты выходишь своим вопросом. Без страху русскому человеку существовать никак не можно. Боялся я их до последнего дня, но любил и почитал сверх боязни. Однажды, помню, собрались они всем семейством к донскому атаману, в Новочеринтош чдэгеМ ояжжод вблос эжэсэя мали, большое торжество было, господа и начальство за сотни верст были приглашенные. А я при их сиятельстве к тому времени уже из казачков в камердинера обратился, вроде как теперь Ардальон при графе Платоне Кирилловиче состоит. Ну собрались, значит, мы, как полагается. Впереди фолейтор скачет, за ним в двух каретах господа наши, Платона Кирилловича тогда еще и в помине не было, батюшка ихний, Кирилл Львович, только в совершенные годы входили. Из себя красавец писаный, а нрава тишайшего, муху и ту не обидит. И много за то они от Льва Львовича насмешек на себя принимали, однако не роптали, из родительской воли не вы-

ходили. А дело было осенью, вот как сейчас, к примеру, даже и того поздней. Подъезжаем мы, значит, к Донцу, а паром уже сняли, река льдом покрывается, но лед весь как есть ненадежный. Тут, ясное дело, обождать требуется, только Лев Львович не берут этого во внимание и переправляться приказывают. Мы с Кириллом Львовичем и так, и этак: дозвольте, мол, хоть одну ноченьку повременить. — «Ничего подобного, — говорят, — ежели вы трусы, так и сидите здесь до второго пришествия, а я атаману слово дал ко времени быть, и нет, — говорят, — такого препятствия, чтобы остановить меня.» Известно, гордость барская, раскричался, палкой на меня замахнулся, еле упросил возки с челядью вперед переправить. Ну возки куда карет легче, кое-как перебрались, а лед между прочим трещит, и вижу, что не будет добра. Прихожу к ним на конскую станцию: так и так, говорю, батюшка наш, Лев Львович, не извольте гневаться, извольте слугу своего верного послушать, дождитесь завтрешнего дня. Они сидят и трубку курят, как будто и спокойно выслушали, только в левом глазу дрожание заметно. Да и спросили этак тихо: «Так ты, значит, отказываешься приказ мой исполнить?» — Воля ваша, говорю, но никак сполнить невозможно. И только я это слово глупое вымолвил, как они вскочат и со всего размаху трубкой меня прямо в висок. Трубка была длиннейшая, почитай до полу, вся в куски так и разлетелась. А у меня в голове всё помутилось, кровь глаза заливает, стою и молчу.

Архипыч, видимо, взволновался воспоминанием, тяжело вздохнул и снова достал свою табакерку. Михайла взглянул на глубокий шрам, рассекавший его лоб, и прислушался к крепчавшему за стеклянными выходными дверями ветру. Втянув очередную понюшку и помолчав немного, Архипыч неожиданно улыбнулся и сказал, весь как-то просветлев:

— Обидно мне стало, нечего грех таить, а того и не сообразил, что через тую Льва Львовича горячность Господь

терпение мое испытует. Вышел я сам не свой, жена смотрителя кровь мне кое-как уняла, а я всё ропщу про себя, все думаю: «коли так, то и ломай себе шею, бешеный, что хошь делай, а я уж не вступлюсь». Но только нет мне от мысли той бесовской покою, боль в голове утихает, а на душе кошки скребут. И как вспомнил я вдруг графинюшку нашу да деток неповинных, Кирилла-то Львовича сестрица еще махонькая была, так и сорвался я с места и бегу, значит, к берегу. А там чистый содом: народ мечется с фонарями, дело уже под вечер было, одни кричат — «багры подавай!», другие брешут, что баграми не поможешь, всё равно, мол, утопнут. Бросился я на лед и вижу: обе графские кареты уже в польные плывут, а кони горячие, всё вперед рвутся, кучера никак удержать не могут. Тут уж я свету Божьего не взвидел — бухнулся в воду, стужа-то ледяная, а во мне всё так и горит. Пробираюсь по горло в воде, течение сносит, однако ничего, молодой я был и сильный. «Руби постромки! — кричу, — ребята, за мной!» Послушались, слава Богу, топоры появились, и как мы постромки-то обрубали, сразу полегчало, — коней снесло, а кареты — страсть тяжелые, и место-то от берега неглубокое — всем народом вытащили.

Старик опять замолчал, теперь уже надолго.

— Ну, а что же Лев Львович? — спросил Михайла.

— Лев Львович обошлись, как следует быть, — как бы нехотя прервал свою думу Архипыч. — Как все обсушились и в порядок себя произвели, так потребовал меня к себе и спрашивает: «чего ж ты не доложил мне толком: видишь сам, что получилось.» — Виноват, говорю, ваше сиятельство, не досмотрел. — А на душе у меня так радостно, потому как всё к счастливому окончанию пришло, и вижу ясно, что они собой недовольны, только виду не показывают. — «Ну ничего, Бог простит, да и ты на меня не пеняй», — это Лев Львович, значит, говорит, и обнял меня и облобызал трижды. А графинюшка, и Кирилл

Львович, и сестрица ихняя — так те прямо спасителем меня называли, не знали, как и благодарить. Уж я и глаз не знал куда девать со стыда за такую их милость. Потом Лев Львович повсюду меня с собой брал, доверенным человеком сделал. Сколько разов мы с ним в Питербурхе побывали, в сорок осьмом году я их в Унгарию сопровождал, как там народ замутился и от нашего Государя приказ вышел порядок произвести. И не было случая, чтобы они на меня руку свою подняли, потому как были они нраву сурьезного, но справедливого. Даже в Унгарии, в бусурманском, можно сказать, крае, справедливость соблюдали превыше всего. О солдате заботились, а бесчинствовать не дозволяли и при мне раз велели двух солдатиков шпицрутенами наказать, которые, значит, самочинно с крестьянского двора корову свели.

— А правду у нас на селе бают, что своих людей при Льве Львовиче тоже джоже жестоко наказывали? — решился спросить Михайла.

— Наказывали за дело и без издевки, не то, что у иных прочих, — заступился за барина Архипыч. — Который мужик был вороватый, или того хуже осмелится солгать в глаза, того, конечно, по головке не гладили. У нас для этого случая даже особая пристройка была при конюшне, ее уже Кирилл Львович разобрать велели. А кто провинится, да покается, за того Лев Львович горой стояли. Наши николевские порубили как-то лес у Вальцовых, а старый-то Вальцов был страсть какой неуживчивый, возьми да и пожалуйся губернатору. Ну, мужички видят, дело плохо, пришли всей гурьбой и пали Льву Львовичу в ноги: так и так, не выдай, мол, кормилец наш. Их сиятельство обругали их последними словами, пристращали поркой, однако ж ничего, отпустили с миром. И вот приезжает капитан-исправник дознание снимать, а Лев Львович, при мне это и было, выходят сумрачный, руки не подали, садиться не приглашают. — Ваше высокопревосходительство, велите вашему человеку выйти, потому у меня

разговор великательный — это исправник к ним, а они мне остаться приказывают и говорят этак строго: «У меня я один хозяин, коль мой слуга тут, значит так тому и быть. Докладывайте скорей, я на охоту собираюсь».

Исправник, видно, обиделся, начинает жалиться, что наши люди озорничают, просит их на допрос представить. А наш-то орел знай ходит себе и посовистывает, а я ихние повадки знаю, ну, думаю, будет сейчас умора. И действительно: говорят они, что своих, мол, людей никому судить не дадут и просят исправника съезжать со двора. Тот в амбицию, а Лев Львович как притопнут ножкой, как крикнут: «счастлив ваш Бог, что вы носите мундир моего государя, а то я бы вас велел за подобное невежество отстегать плетью! Распорядись, Архипыч, чтобы духу его здесь не было». — И был таков, отъехал на охоту, а я исправника честью попросил не вводить нас в искушение.

— И что же им за это было? — уже с оттенком восхищения спросил Михайла.

— А ничего, дурашка, не было. Что такой персоне сделается. Премного с господином губернатором смеялись, как их превосходительство к нам на именины пожаловали. Так-то жили в наше время, каждый сверчок знал свой шесток и все друг дружке должное уважение оказывали. Да взять хоть меня. Из самого, можно сказать, низкого звания произошел, а как помирили, значит, Лев Львович, это уж после крымской кампании было, очень они расстроились тогда, да и годов им немало было, — так призвали молодого барина, Кирилла Львовича, и говорят им: «Ты — говорят — моего Архипыча до самой смерти содержи на благородном положении». А Кирилла Львович вместо того мне вольную выписали, насилу упросил их не обижать напоследки.

— Вот уж при них, наверно, жизнь хорошая была, очень они, слышно, добрые были.

Архипыч неопределенно пожевал губами и сказал в раздумье:

— Это что и толковать, доброты были неопишущей. Никогда и голоса не возвысили; как крепостное право кончилось, так от себя нашим мужичкам почитай три тыщи десятин прирезали. А только мало мы их видели. Всё книжки читали, да за границей пребывание имели. Там и скончались в молодых годах, — наш барин, Платон Кириллович, дай Бог им доброго здоровья, еще в гвардейских юнкерах находились. Зато при них опять веселей стало, полет у них дедушкин, орлиный, хоть и нет больше того приволья давнишнего.

Старик собирался еще что-то добавить, но вдруг насторожился и весь как-то подтянулся. Михайла тоже расслышал со стороны плотины слаженный, все нарастающий перезон бубенцов. С лестницы сбежала, шурша юбками, молоденькая кокетливая горничная Мотя с белой туго накрахмаленной наколкой на высоко взбитых локонах.

— Едут! — произнес Архипыч и устремился на подъезд. Там он встал, стараясь выпрямить старую спину, не чувствуя ветра, обжигавшего его лысину, молодея от сознания, что опять — на своем посту, как и во времена сурового графа Льва Львовича.

Вискочивший вслед за ним Михайла попытался уцепиться в темноте Мотю (он успел подметить, что так делал граф Платон Кириллович, и девушка каждый раз смеялась счастливым, глупым смехом). Но Мотя ударила его по руке и фыркнула сердито: «отстаньте, что за деревенская необразованность!»

«Подумаешь, прынца какая! — прошипел Михайла и с ненавистью уставился на коляску, которая уже взлетела на косотор и мчалась по прямой, как стрела, аллее.

— Батюшка, Сергей Платонович, уж так-то вы нас обрадовали, так обрадовали. . . — вдруг прослезился Архипыч, сбегая по ступенькам и целуя в плечо легко спрыгнувшего на землю Охолдина.

— А мы как заждались, все глаза высмотрели! — особым, певучим голо-

сом сказала Мотя, низко приседая, и засмеялась знакомым Михайле блудливым смехом.

«Стерва, змея подколодная!» — про себя выругался Михайла и срыву подхватил чемоданы молодого барина.

5.

— Здравствуй, любезный друг, здравствуй. . . не отворачивайся, дай поглядеть на тебя. . . э, да ты никак осунулся и в глазах этакое томное выражение, — шутил граф Платон Кириллович, обнимая и целуя сына. Он возвышался над ним почти на целую голову, его крупная, могучая фигура поражала легкостью движений и все же оставалась неизменно внушительной. Свежее лицо с правильными, твердыми чертами было красиво, чуть тронутые сединой и тщательно расчесанные на обе стороны бакенбарды благоухали.

— Ну, а теперь ступай к себе, приведи себя в порядок и не заставляй ждать. Из-за тебя мы садимся сегодня к столу на полчаса позднее, — сказал он, еще раз поворачивая сына и слегка подталкивая его в сторону амфилады полуосвещенных комнат.

Охолдин знал с детства эту приторно-равнодушную манеру и невольно улыбнулся. Дальнейшее руководство им, к великому неудовольствию Архипыча, принял на себя Ардальон — весь выложенный, точный, скупой на слова, копировавший слуг, которых он перевидал, странствуя со своим баринком по Европе.

— Извольте расположиться, ваше сиятельство, и если вам что-либо потребуется, то позвоните два раза. В вашем распоряжении будет находиться Теодор. Он знает ваши привычки, надеюсь, что вы останетесь довольны, — сказал Ардальон, приведя Охолдина в назначенную для него комнату. Его монотонный голос, склоненная набок голова с прилизанным английским пробором, а в особенности то, что он называл простоватого молодого лакея Федора на французский лад Тео-

дором, — окончательно развеселили Охолдина.

— Отлично, мсье Ардальон, ваша предусмотрительность похвальна, — рассмеялся он, отпуская великолепного камердинера.

Комната была просторная, в два окна и находилась в левом крыле дома, в так называемом «флигеле для приезжающих». Широкая никелевая кровать в нише, розоватый бобрик ковра, застилавшего весь пол, спускавшаяся на толстых шелковых жгутах чаша лампы, зеркальный шкаф, мраморный умывальник, письменный стол и стоявшая за ним оттоманка — всё блистало новизной и скорей напоминало гостиницу, нежели старинный господский дом в деревне. Все эти предметы, как и всю обстановку флигеля, граф Платон Кириллович года три тому назад купил в Харькове, а находившиеся здесь раньше изделия своих собственных крепостных мастеров, все эти громоздкие, пузатые комоды и диваны, затянутые выцветшими занавесками кровати и потускневшие зеркала, ушли на чердак, где и так уже хранилось невероятное количество вещей самой невероятной формы и неведомого назначения. И хотя теперь всё стало гораздо чище и удобней, но Охолдин пожалел, что оборвалась еще одна из тех нитей, которыми держалось старое Никольское.

Он не успел еще переодеться, как по дому поплыли глуховатые звуки гонга. В овальной небольшой столовой, которой пользовались, когда не было посторонних, ждали отца, княжна Ирина Илларионовна — незамужняя сестра покойной матери Охолдина и Дмитрий Алексеевич Бакшин, отставной ахтырский гусар, который проживал в Никольском с незапамятных времен и которого все в своем домашнем кругу звали запросто Митенькой. Прислуживал буфетчик Ермолай, представительный мужчина средних лет в ливрее и белых нитяных перчатках, ему помогала хорошенькая Мотя, горничная Ирины Илларионовны, около дверей стоял Архипыч и мешал Моте с Ермолаем

своими распоряжениями, нужными разве только для собственного его успокоения.

— Сереженька, ненаглядный мой, ты надолго к нам? Подумать только, как давно мы не виделись! — сказала Ирина Илларионовна, быстро вставая из-за стола навстречу племяннику. Она взяла его голову в свои ладони, порывисто целовала его лицо, потом отстранилась, но не отпускала рук и продолжала смотреть на него затуманенными, счастливыми глазами. Потом еще раз расцеловала в губы, увлекла к столу, усадила рядом с собой и продолжала забрасывать вопросы.

— Ирэн, Сережа уже кончил корпус, женим его скоро, а вы его взяли опять под свое крылышко и даже не даёте поздороваться с Митенькой, — заметил Платон Кириллович, как всегда, немного насмешливо, и совсем неожиданно вздохнул, коротко и как будто стыдливо.

— Молодцом, молодцом, только гусарского долмана не хватает, а так вылитый Охолдин. Ты не находишь, Платон Кириллович, что Сергей всё больше напоминает Льва Львовича? — сказал Митенька, не спуская с Охолдина своих красноватых вечно слезящихся глаз.

Его замечание не отличалось меткостью: в роду Охолдиных характерными были крупные, суровые лица при очень высоком росте. Как раз Сергей со своей небольшой, изящной фигурой и мягким, мечтательным нравом составлял исключение. Однако Платон Кириллович согласился с добродушной улыбкой:

— Да, да, Сережа напоминает своего прадеда, хотя, сказать по правде, я и сам его мало помню.

— В Сереже объединилось лучшее, что могли дать Охолдины и Лобановы — любовно вставила Ирина Илларионовна, но тотчас же ее нежное молодежливое лицо залил румянец и она поспешила переменить разговор.

Охолдин благодарно коснулся ее руки и наложил себе с подаваемого Ермолаем блюда порядочную порцию салата «Оливье», который их старый

повар готовил с таким мастерством, что даже Платон Кириллович уважительно звал его по имени и отчеству.

— Кушай и имей в виду, что дичь к салату мы сами с Митенькой настроляли, — сказал Платон Кириллович, поднимая свой бокал. Прежде чем осушить его, он учтиво склонил голову перед свояченицей, потом чокнулся с сыном и Митенькой. И только опустил бокал перед своим прибором, как с завернутой в салфетку бутылкой подоспел Архипыч, только и ожидавшийся этого мгновенья, чтобы опередить Ермолая.

Разговор стал общим и касался главным образом незначительного, как обыкновенно в присутствии прислуги и после долгой разлуки, когда хочется сказать так много и трудно начать. В каминe слегка потрескивали внушительные поленья; от дальней дороги, выпитого вина и окружающего уюта Охолдину было хорошо и хотелось спать.

— Кофе будем пить у меня. Я сам все приготовлю и поболтаем по душам. А тут прибрать! — сказал Платон Кириллович, вставая из-за стола.

— А может быть, отложим до завтра? — у Сережи и так слипаются глаза, ведь это не шутка, тридцать власть над Сережей кончилась, — сказала нерешительно заметила Ирина Илларионовна, но между бровями старого графа легла недовольная складка, и Охолдин поспешил заверить, что чувствует себя совсем бодрым и с удовольствием посидит часок-другой.

— Ну и прекрасно, я тоже не хочу еще спать. Как хотите, Ирэн, но ваша власть над Сережей кончилась, — сказал Платон Кириллович, и маленькое общество перешло в его кабинет.

На низких столиках среди необъятных кресел и диванов были расставлены серебряный кофейник со спиртовой лампочкой, хрустальные вазы с «пти-фур», облицованные перламутром блюдца тончайшего фарфора. К ним льнули хрупкие японские чашечки и рюмки на высоких тонких ножках. Кофе Платон Кириллович заварил сам с видимым удовольствием и знанием дела. Одну за другой достал

из передвижного шкафчика переливавшиеся всеми цветами радуги бутылки ликеров, закурил сигару, сказал, широко улыбаясь:

— Ужасно люблю хозяйничать. Если бы скончался наш Григорий Иванович, чего я ему всё-таки не желаю, то я наверно сам сделался бы поваром. Как вы думаете, Ирэн, хороший бы из меня получился шеф кухни?

— О, вы всё делаете отлично, если только захотите, — отозвалась княжна без всяких признаков иронии.

— Вы, может быть, даже не подозреваете, сколько силы я всегда черпаю в вашем признании. Особенно на склоне лет, — в свою очередь вполне серьезно сказал Платон Кириллович и поднес к губам ее руку. При этом у него опять, как и давеча за ужином, сорвался приглушенный вздох, резче обозначились спускавшиеся от крыльев носа морщины, и Охолдину впервые пришлось в голову, что его беспечный, самоуверенный отец начинает сдавать.

Всю жизнь он жил так, как ему хотелось, мало или совсем не считаясь с другими. Всегда находил оправдание даже самым легкомысленным своим поступкам, вернее — и не искал никаких оправданий, только мешавших его прекрасному самочувствию. И всегда ему всё удавалось. В двадцать пять лет был он уже флигель-адъютантом разочарованного стареющего императора Александра II. Понравился ему своей импозантной внешностью, наисчерпаемым запасом анекдотов, а еще более, пожалуй, этой самой своей уверенностью в собственной непогрешимости. Под Плевной он был ранен осколком гранаты, не настолько тяжело, чтобы пострадало здоровье, но достаточно серьезно, чтобы вернуться с войны героем и георгиевским кавалером. Чуть ли не накануне 1 марта 1881 года стал он свиты его величества генерал-майором, опередив многих, и собирался стать государственным человеком (по уверению злых языков — благодаря услугам, которые он оказывал в галантных похождениях государя, особенно в истории с княжной Долгорукой).

Бомба террористов пресекла жизнь царя, и наступил первый срыв. Александр III, строгий царь и примерный семьянин, поспешил отделаться и от Долгорукой, которая превратилась к тому времени в княгиню Юрьевскую, и вообще от всех любимцев, окружавших трон до него. И со всеми признаками немилости, даже не произведенный при отставке в следующий чин, уехал в свое Никольское также молодой генерал Охолдин. Уехал одинаково возмущенный как революционным безумием «Народной воли», так и тупостью не оценившей его реакции. Но сразу попал в водоворот кипевших в те годы сословно-земских сил, был избран уездным предводителем и до сих пор считался в своей губернии вождем умеренной дворянской оппозиции правительству (внешне это выражалось в том, что Платон Кириллович выписывал газеты разных направлений, поддерживал свою популярность большими приемами и красноречиво доказывал своим гостям, что спасение России в конституционной монархии).

Подобным же образом складывались и его семейные обстоятельства. От своего отца он унаследовал значительное состояние, довольно расстроенное, ибо Кирилл Львович был слишком большим барин, чтобы заниматься своими собственными делами. Платон Кириллович, в свою очередь, не привык стеснять себя, но вместо разорения пришло богатство и опять-таки само собой, без всяких усилий: в него влюбилась Наташа Лобанова-Волынская, умница, красавица, дочь одного из крупнейших земельных магнатов России. И вышла за него, вопреки воле родителей, оставшись верной первому чувству на протяжении всей своей недолгой жизни. Платон Кириллович, по видимому, отвечал ей взаимностью. По крайней мере сам утверждал это и, когда у его Наташи открылась скоротечная чахотка, возил ее ко всевозможным знаменитостям, несколько месяцев прожил с ней в Египте и сам закрыл ей там глаза. До сих пор он окружил ее память культом святости,

но, невзирая на это, еще при ее жизни дважды дрался из-за женщин на дуэли (один раз в Петербурге, и тогда в эту историю была замешана особа царской крови; другой раз — в Париже из-за совершенно безвестной певички Фоли-Бержера). Охолдин-сын был тогда еще ребенком и лишь угадывал вину отца в страданиях матери. Но то, что он слышал и видел потом, дополнило и объединило туманные впечатления первых лет. И все же он не решался осуждать, искал оправданий тем усердней, чем непосредственней был откровенный эгоизм отца, который умел оставаться прямым, благородным и обаятельно-невинным во всех своих слабостях.

Таким же видела его Ирина Илларионовна. Иначе невозможно было объяснить, почему она пожертвовала своей личной жизнью воспитанию его детей и оставалась в его доме, когда все они разлетелись в разные стороны.

Охолдин помнил ее еще совсем молоденькой девушкой, только что окончившей институт и приехавшей погостить, когда заболела ее старшая сестра. После ее смерти она заменила детям мать, и даже ее отношение к Платону Кирилловичу приобрело налет чего-то материнского, хотя она была моложе своего бофрера лет на пятнадцать и совершенно не знала жизни. Теперь она была стареющая сорокалетняя барышня, решительно отклонившая все предложения руки и сердца, которые делались ей с разных сторон. Но самым удивительным в ее истории было то, что ее щадила сплетня, а между тем она прекрасно сохранилась, была еще очень хороша собой и жила под одной кровлей с человеком, репутация которого оставляла желать лучшего. Да и сам он был с ней неизменно мил, но не замечал, казалось, ни ее пола, ни внешности, и сегодня Охолдин впервые уловил в отношениях отца к тетке ту интимность, которой он продолжал очаровывать женщин.

Он удержал ее руку в своих на одну секунду дольше, чем следовало. Взгляд его холодных голубых глаз

стал пристальным и глубоким, ресницы Ирины Илларионовны вздрогнули:

— И это правда, то, что вы говорите?

— Я никогда не лгу, — сказал Платон Кириллович, опуская наконец ее руку. Затем повернулся к сыну и попросил его рассказать по порядку, как произошло столкновение с Кошелевым и как отнеслись к нему в Петербурге. Этого вопроса Охолдин ждал и к нему притотвился. Он решил не ограничиться изложением событий и коснулся также всех тех разнородных ощущений, которые родились в нем от соприкосновения с неведомой раньше жизнью и новыми людьми. Только интимную сторону своих отношений с Раей он обошел молчанием.

Ирина Илларионовна опустила на колени свое рукоделье (она всегда вышивала что-нибудь и достигла в выборе шелков и мотивов поразительного совершенства). Ее голова склонялась все ниже, и наконец на мотки ниток закапали крупные слезы.

— Тетя, вы плачете? — порывисто воскликнул Охолдин. — Он гладил ее пышные золотистые волосы, старался поднять лицо. Она не противилась его ласке и прошептала сквозь слезы:

— Как мне жаль эту девушку, какая она несчастная и одинокая. Мы должны что-нибудь сделать для нее, этого нельзя так оставить. И как я горжусь тобой, Сережа, тебя теперь должна была бы видеть твоя мать.

— Сергей исполнил свой долг, и мне приятно слышать, что происки Кошелева не увенчались в Петербурге успехом, — сказал Платон Кириллович, который всё время, вопреки обыкновению, почти не перебивал сына. — Я только удивляюсь, что подобные типы допускаются на ответственные должности.

— Тут нечего удивляться, мне помнится, что отец Кошелева был простым фельдфебелем, — слегка заплетаясь языком вступился Митенька. При этом он налил себе коньяку, поднял рюмку к свету, внимательно

разглядел ее и выпил, предваритель-
но щелкнув языком.

— Я удивляюсь не Кошелеву, а
тем, которые его выдвинули. Я, ка-
жется, выразился достаточно ясно, и
о происхождении при такой постанов-
ке говорить не приходится, — неодо-
брительно покосился на него Платон
Кириллович. — Однако, нечего ска-
зать, хорош и Меллер! Человек наше-
го круга, а держит себя каким-то бур-
боном и слушает разных хамов. Я по-
нимаю крутые меры, в наше время
они совершенно необходимы, но надо
все же различать, с кем имеешь дело.
Вызвать к себе графа Охолдина и
кричать на него, как на какого-нибудь
коллежского регистратора, — смеш-
но...

Он раздраженно раздавил в пепель-
нице окурок сигары и тотчас достал
новую. Зазвонили часы — в кабинете
торжественно, в соседней биллиард-
ной торопливой россыпью, еще даль-
ше — на разные лады, перегоняя
друг друга.

— Боже мой, уже двенадцать! это
ни на что не похоже, мы успеем наго-
вориться завтра, — спохватилась
Ирина Илларионовна.

Она решительно встала, пожелала
всем спокойной ночи, пошла своей
легкой, упругой походкой.

— Сережа, проводи меня, — улыб-
нулась она племяннику, все еще рас-
строенная, но свежая и розовая. Та-
кой же свежей и розовой была ее Мо-
тя, таким же выглядел ее будуар. По-
ка Мотя причесывала ее на ночь, она
передала, перейдя с русского на фран-
цузский, какие заботы внушает ей все
растущее легкомыслие Кирика, как
изменчивы стали настроения Платона
Кирилловича и как все еще глубоко
пропасть между ним и Лидой.

При упоминании о сестре Охолдин
встреппенулся и заходил по комнате.
Лицо его приняло то напряженное и
старившее его выражение, которое
являлось каждый раз, когда кто-ни-
будь вызывал в нем жалость и недо-
умение. Ирина Илларионовна просле-
дила в трюмо это знакомое ей выра-
жение и сказала особенно задушевно:

— Голубчик, не расстраивай себя, мы
оба вместе наверно что-нибудь приду-
маем. У меня есть одна идея, но об
этом завтра.

— Какая вы у нас все-таки пре-
лесть, тетя, — сказал Охолдин, целуя
ее мягкие, душистые ладони. Ему са-
мому не хотелось больше думать, но
не хотелось также спать и он вернул-
ся на половину отца.

6.

Разошлись очень поздно. Митенька
всё тянулся к бутылкам, его худое и
желтое лицо с длинными и обвислы-
ми седыми усами приобрело кирпич-
ный оттенок, но чем больше он пил,
тем становился интересней. Его язык
уже не заплетался, глаза не слези-
лись, хриплый голос звенел по-моло-
дому. В движениях его длинной, суту-
ловатой фигуры проступала цепкая,
кошачья гибкость, и весь он напоми-
нал стареющего, но еще сильного и
по-своему красивого цыгана.

— Пусть меня хоть в ступе толкут,
а я всегда утверждал, утверждаю и
буду утверждать, что ничего нет на
целом свете прекрасней подвигов, на
которые способен русский человек! —
воскликнул Митенька, всё более во-
одушевляясь и не обращая больше
внимания на то, как реагирует Платон
Кириллович. — Слов нет, хорошо во-
юет немец, но для этого ему нужно
знать, что за его спиной стоит их пре-
словутая военная машина. Француз
же вспыхнет фейерверком, чтоб по-
тухнуть мокрой курицей. А «просве-
щенные мореплаватели» вообще при-
выкли чужими руками жар загребать.
Только наш русский солдат не счита-
ет врагов, не красуется своим герой-
ством, не думает об опасности. Бог на
небе, православный царь на земле, да
еще разве пример храброго офицера
— вот и всё, что ему нужно. Поход
Суворова через Альпы и Чортов мост
лишь наиболее известные случаи. А
таких примеров сотни и тысячи, они
протекают в самой обыденной обста-
новке, вот ведь, что важно... — И вез-

де они идут рука об руку, наш солдат и офицер; дворянин, представитель служилого сословия, и простой русский мужик, — те самые, которых теперь разные негодяи пытаются сравнить. Когда полчища горцев вынуждают горсточку наших храбрцов оставить Михайловское укрепление, то рядовой 77-го Тенгинского полка Михаил Осипов добровольно остается в укреплении и взрывает его, чтобы ничего не досталось врагу. Когда в другом месте нужно вывести из горной расщелины наши легкие орудия, то находится Гаврила Сидоров, рядовой 13 лейб-гренадерского царя Михаила Федоровича полка, и подставляет собственную спину. В Туркестане, под Теок-Тепе, неприятель овладевает несколькими нашими пушками, но не умеет с ними обращаться. Он сулит горы золота и магометов рай нашему пленному канониру Агафону Никитину, но встречает презрительный отказ. Ему вырезают ремни из спины, он умирает в страшных мучениях, вдали от своих, совсем один, ему ничего не стоит изменить присяге, никто ведь все равно не узнает, но позорной жизни предпочитает он лютую казнь. А это уже не обыкновенная храбрость, это то подлинное геройство, которое мы напрасно станем искать на Западе. И даже в последнюю несчастную войну, — голос Митеньки сжала спазма, но он быстро оправился, — даже там, на Дальнем Востоке, мы явили миру неугасимые примеры доблести. Матросы «Варяга» и «Корейца», генерал Кондратенко в осажденном Порт-Артуре, адмирал Макаров на «Петропавловске», — эх, да что там говорить! Нет сомнения, что мы разбили бы японцев, и англичан вместе с ними, если б государь в неиссякаемой доброте своей не устранился новых жертв.

— Долг, слава и красота! — вступился примолкший было Платон Кириллович. — В глухой деревне чтут имя какого-нибудь Михаила Осипова, и все чувствуют, как надо было поступить, молодежь вырастает на его примере. И не напрасно вызывают из года в год на вечерней переключке пол-

ка: «Рядовой Михаил Осипов!» глубоким символом звучит ответ: «погиб во славу русского оружия». Чтите эту святыню, это братство крови, тогда вам не придется возиться с разными Фридманами. Я отнюдь не возражаю против свободы индивидуума, я сам считаю конституционный строй наиболее подходящим, но — пожалуйста, воспитайте сперва молодое поколение, не рубите с плеча, дайте разобраться. Если уж нам тычут в нос Европой, то поступайте по-европейски, уважайте хорошее в старом, стройте новое с разумом. Вместо того кучка интеллигентов вообразила, что ей одной открылась истина, и творит чорт знает что. Рыдает над мужиком, которого не знает, мечтает об уничтожении армии, значение которой не понимает, собирается установить у нас какой-то рай земной, которого нигде нет и не будет.

Он сердито расправил свои бакенбарды и выпил простывший приправленный ромом кофе. Вдруг в его глазах мелькнули веселые огоньки, и он продолжал с лукавой усмешкой, обращаясь к сыну:

— Да вот, позволь, я расскажу тебе один поучительный казус из нашей местной жизни. Весною, еще до того, как я вызвал казаков, объявились у нас на селе два дровосека. Парни внушительные, заросли дремучей бородой, рук не моют, ножа и вилки не признают. Нанимаются к одному и другому, работают как будто ничего себе, только староста докладывает однажды нашему управляющему, что дровосеки-то «сомнительные», все книжонки какие-то раздают и разговорчиками занимаются. Однако ты знаешь нашего почтенного Орримаа, у него у самого от финляндских событий мозги засорились. Одним словом, он посылает старосту к чортовой бабушке, и я узнаю обо всем от урядника.

— От урядника? — переспросил Охолдин.

— Представь себе, от урядника и по милости наших жаждущих освобождения мужичков, — уже откровенно рассмеялся Платон Кирилло-

вич. — Оказывается, что к дровосекам сочувственно прислушивались, пока они скорбели о несправедливом распределении земли. И кое-кто даже собирался перепахать наши границы. Но на свое горе они вздумали поделить со своей благородной аудиторией картиной будущих прелестей в целом. И как дошли до того, что всё будет общее и никому никакого имущества не нужно, так и получили по заслугам. Мужички, не говоря худого слова, скрутили им за спиной руки и доставили к уряднику. Наших господ интеллигентов этим, конечно, не убедишь. Для них это только доказательство народной серости и толчок удвоить свои усилия. А по-моему, здравый смысл простого человека разобрался в утопии, и поэтому я жалею всё больше, что послушался Ирэн и вызвал казаков. Но она рисовала такие ужасы, и потом еще этот разгром у Палицыных. Должен признаться, что я немного растерялся тогда.

— Но это на самом деле жуткая история, и какая могла быть гарантия, что она не повторится, — сказал Охолдин.

— Гарантия? Ты спрашиваешь, какая гарантия? — гарантия — это я сам. Я знаю мужика и умею с ним обращаться. Я даю ему всё, чтолагается, и даже еще больше. Я хожу к нему на свадьбы и крестины, если он этого заслужил. Но я никогда не унижился до заискивания перед ним, и он привык любить меня с опаской. Помнишь, как к нам занесли холеру и мужики собирались бить докторов, потому что кто-то внушил им, будто доктора нарочно изводят народ. Толпа окружила больницу и начала уже бить окна, наш Орримаа спрятался здесь и хотел вызвать воинскую команду, а я поскакал в село верхом и разогнал всю ораву одним окриком. И если бы Палицыны не были бы сперва так высокомерны, а потом так трусливы, то у них всё обошлось бы пулякам, уверяю тебя».

— Всё-таки и в тебя бросали камни, и только деревенские старики спасли положение, — напомнил Охолдин, задетый самомнением отца.

— Не помню, может быть и бросали. Во всяком случае я спокоен, пока живет мое поколение, — сказал Платон Кириллович, начиная раздражаться. — Оно, слава Богу, еще не читает Горького, который идеализирует босняка, и не увлекается Куприным, который использовал свой дивный талант, чтобы нарисовать омерзительную картину нашей славной армии. Это всё властители ваших дум. Вам и кнители в руки, устраивайте себе новую жизнь на здоровье.

— Я не хотел тебя обидеть, папа, почему ты сердишься? — мягко сказал Охолдин.

— Сержусь? С чего ты взял, просто спать пора.

Платон Кириллович допил свою чашку, оглянулся на Митеньку и выразительно свистнул: Митенька спал в своем кресле, некрасиво раскинув руки. Сивые усы заползали в полураскрытый рот, по подбородку стекала слюна.

— Готов, всегда так ... — сказал Платон Кириллович. — Завтра будет мучиться похмельем и напьется опять. А я собираюсь с утра на конный завод. Ты пойдешь со мной?

— С удовольствием, — поспешил согласиться Охолдин и разбудил, придя к себе, приставленного к нему Федора - Теодора. Он знал привычку отца вставать очень рано и приказал стучать в дверь ровно в шесть.

Но тем не менее почти опоздал: Платон Кириллович стоял посреди своей гардеробной в высоких сапогах и длинном сером сюртуке военного покроя, но без погон, лихо перехваченном в талии. Вокруг него выступал, точно балерина на пуантах, Ардальон, обмахивал сюртук пушистой щеткой и всем своим видом изображал покорность непогрешимой судьбе.

— А, это ты, очень рад, а я успел принять ледяную ванну и чувствую себя, как новорожденный, — засиял навстречу сыну Платон Кириллович. Он взял со стола свою белую дворянскую фуражку и хлыст, оба вышли на двор.

Погода за ночь разгулялась, и позднее солнце вставало на ясном небе в холодном сверкании. На короткой пожелтевшей траве лежал седоватый иней, лужи затянулись хрупкой ледяной пленкой. С деревьев беззвучно сыпались под ноги листья, гроздь рябины багровели пятнами.

— Кто это выдумал, что природа осенью умирает. Бессмертное не может умереть. Она просто готовится ко сну и наливается новыми силами, — сказал Платон Кириллович, минуя плотину. Большой белый дом и окружавшие его сады остались позади. Налево, на расстоянии неполной версты, виднелись первые избы села, дальше за ними золотились маковки Никольской церкви. Направо, вдоль искусственных прудов, которыми здесь перегородили небольшую заросшую ивняком речку Медынку, дорога уходила к господской экономии.

— Бог помощь, Аксиньюшка, — зычно крикнул Платон Кириллович, заведя на мостках ближнего пруда рослую и дебелую молодую бабу, полоскавшую белье посиневшими от холода руками.

— Спасибо, батюшка, спасибо на добром слове, — отозвалась баба, выпрямляя свой могучий стан.

Растревоженное стадо гусей возбужденно загоготало и тронулось от мостков, выставив щитом широкие крылья.

— Ты знаешь, отец, только в такое утро и чувствуешь по-настоящему, как хорошо в деревне, — сказал Охолдин.

— Не правда ли, не надо только хныкать и на каждом шагу искать знамение грядущих бед. И упаси Боже сидеть сложа руки! — сказал Платон Кириллович и принялся посвящать сына в свои хозяйственные планы. Невзирая на тревожные времена, он поставил на мельнице новые валцы и считал, что они окупятся уже к будущему году. Его винокуренный завод также работал, по его словам, прекрасно. Хуже было то, что сахарную свекловицу, которой всё больше увлекались в этой степной полосе,

приходилось сдавать сахарозаводчику Хвоценко.

— Далеко везти, платят низкие цены, даже нам, при нашем большом обороте, едва оплачивается. А крестьяне просто не хотят больше сажать свекловицу, хотя в конечном итоге она сулит прочный доход. Моя мечта — построить большую собственную фабрику. У меня уже и смета разработана, и место выбрано, дело за небольшим: не хватает оборотных средств, — закончил Платон Кириллович, когда они уже спускались в котловину, посреди которой привольно раскинулись низкие основательные строения конного завода.

К самой дороге подходило широкое деревянное здание с мезонином. Над его крыльцом была прибита довольно большая вывеска, и на ней выведено черными буквами по белому: «Управление именными и заводами графа П. К. Охолдина». От крыльца навстречу спешили все знакомые лица: управляющий заводом, или попросту конюший, — большой, толстый человек с серебряными очками на мясистом носу; старший наездник Антон Ефимович, уже пожилой, но очень подвижной и гибкий, с острым взглядом маленьких глубоко посаженных глаз; молодой и франтоватый конторщик Рыбченко; коренастый и красивый старик МIRON, отец горничной Моти, заведовавший маточным отделением. В стороне с шапками в руках стояли молодые наездники и конюха.

Платон Кириллович поздоровался с заводским начальством за руку, приветливо кивнул остальным и двинулся к конюшням. Он заходил в денники, ковырял подстилку, называл лошадей ласкательными именами, быстро и ловко поднимал им ноги и осматривал копыта. Лошади тянулись к нему мягкими влажными губами, и их тихое, довольное ржанье звучало сознательным приветом. Выложенные кирпичными плитками проходы были чисто подметены, полусумрак и теплый воздух, пропитанный ароматом сена и особым конским запахом, дополнял сонливый покой этого особого мира.

После осмотра конюшен устроили проводку. Племенные матки шли тяжелой, исполненной достоинства рысью. Зато жеребята кидались во все стороны, как уторелые, шутили брыкались, носились по громадной утрамбованной площади двора, задрыв мочалки своих еще не обросших волосом репиц. А взволнованные движением жеребцы ржали победно и залихватно, их могучие крупы лоснились на солнце, здоровенные конюхи еле удерживали их, повиснув на узде.

Преобладали орловцы, большей частью серые в яблоках. Охолдин сразу отличал их по крупной, гордой голове, великолепному сложению и нарядной рыси. Они делали много лишних движений, на ипподромах им всё трудней было конкурировать с механической тренировкой выводных американцев, но они были могучи и красивы, как их необъятная родина. И только сравнительно недавно, скрепя сердце и уступая тщеславию рекордной горячки, граф Платон Кириллович сам купил двух американцев и завел у себя.

О них зашла речь за чаем, который был накрыт в конторе, и Охолдин заметил не без некоторого приятного удивления, что и конюший, и наездник Антон Ефимович, и даже Мирон высказывали свои мнения совершенно свободно. По дороге в контору конюший заикался от смущения, когда предложил «их сиятельствам не побрезговать и откусать чайку», а Мирон уместился на кончике стола лишь после повторного приглашения Платона Кирилловича, больше всего напоминавшего приказ. Теперь же они оба позволяли себе не соглашаться с Платоном Кирилловичем и главным наездником, которые предвидели конечную победу американцев над орловским рысаком. И Платон Кириллович оспаривал их совершенно так, как будто бы находился среди коннозаводчиков в беговой беседке московского ипподрома.

— Я читал в «Русском Спорте», что американец «Бинген - Юниор» поставил замечательный рекорд. Их сиятельство совещенно правы, поощряя

американскую породу, — заметил конторщик Рыбченко, который также удостоился приглашения к графскому завтраку.

— Продолжайте читать «Русский Спорт» и ведите конторские книги, в конском же деле вы всё равно ничего не понимаете, — довольно грубо осадил его Платон Кириллович и продолжал, обращаясь к конюшему и Мирону: — Победы орловцев, о которых вы оба мне толкуете, одержаны по тяжелому грунту и на длинных дистанциях. Слов нет, при таких условиях орловец не знает себе равного. В нем сила, у него есть сердце, по доброй воле я не променяю его ни на одну лошадь. Но дорожки всё совершенствуются, запряжки облегчаются, самая длинная дистанция теперь всего четыре версты. И мы должны считаться с этим, ничего не поделаешь. Да вот я вам сейчас приведу цифры.

Он быстро встал и прошел в заводскую контору, больше напоминавшую маленький музей. Все стены были увешаны изображениями охолдинских рысаков, начиная еще со времен Льва Львовича. Вперемежку красовались многочисленные дипломы и похвальные листы. В стеклянных витринах были выставлены всевозможные призы и медали. Особые шкафы вмещали набор уздечек, трензелей и прочих принадлежностей запряжки. У противоположной стены белело на деревянной подставке чучело «Летучего» — дербиста, победителя «Большого императорского», основоположника славы охолдинского завода. В комнатной обстановке оно давило своими размерами и как бы стояло на страже былых традиций благородной конской потехи.

Охолдин подошел к заваленному конскими родословными столу и со всё возрастающим интересом прислушивался к спору о преимуществах разных линий, возводимых до «Сметанки» графа Орлова - Чесменского и до знаменитых «Гамбетониана» и «Мессенжера», которые почти сто лет тому назад ставили свои лошадиные рекорды по ту сторону океана и до сих пор жили в памяти многих.

7

Отпуск приближался к концу. Охолдин много спал, ел, говорил и понемногу начал скучать. Всё чаще овладевало им беспокойное томление, и то хотелось бежать от него в город, к своему настоящему делу, то трудно было пройти мимо Моти, чтобы не увлечь ее в одну из пустых комнат и не смять по-звериному, как во времена девичьих и крепостных гаремов. А Мотя как нарочно попадалась на пути там, где ей вовсе не полагалось быть, опускала свои карие глазки в деланном смирении и приседала с выжидательной грацией молодой дикарки, пробующей свои женские чары.

«Роман с горничной — самое пошлое, что вообще может быть, обычное занятие дворянских и купеческих саврасов», — укорял себя Охолдин. Он кивал с чуждой ему надменностью и уходил прочь от удивленной и обиженной Моти. Искал отца, но как-то не мог войти в его хозяйственные занятия. Часами беседовал с теткой и слушал ее игру на рояле. И неожиданно подмечал, что у Ирины Илларионовны великолепная техника, но не хватает силы. Особенно бледными получались под ее тонкими холеными пальцами драматические композиции, и сама она казалась в такие минуты прекрасным, но холодным цветком, дворянской лилией, которая могла цвести лишь в этом замороженном замке и неизбежно должна была завянуть от первого прикосновения внешней жизни. Становилось больно за нее, за уходящую красоту, за самого себя, стоящего на перепутьи и тоже уже наполовину обреченного. И когда Охолдину случалось проходить по парадным залам и гостиным — воздух нежилых комнат бил в нос запахом тления, шелковые обои выглядели поблекшими, портреты предков провожали загадочно — насмешливыми взорами. Даже суровый прадед Лев Львович со своим высоким лысым лбом и застывшими выпуклыми глазами, с неестественно выпяченной грудью и голубой андреевской

лентой скорей всего был смешон. Только Екатерининский фаворит Лев Григорьевич, обладатель пяти тысяч душ и основатель всего нитольского великолепия, прославленный в свое время прожигатель жизни и циник, оставался невозмутимым. Картины падали на широкие плечи завитые локоны пудренного парика, алый бархатный камзол, вышитый драгоценными камнями и оттороченный горностаем, оживлял одутловатые черты и читался в них совет презирать людей тем спокойным презрением, которое одно ставит выше толпы и событий.

Но Охолдин не мог научиться презрению, потому что продолжал искать. — Искать в людях человеческое, сокровенный смысл — в происходящем. Искал, не находил, терялся в мелочах.

Несколько раз они с отцом, Ириной Илларионовной и Митенькой ездили к соседям. Одни были настроены панически, другие винили во всем слабость правительства и смаковали возможность экзекуций, все ждали каких-то необыкновенных откровений от Платона Крилловича, потому что он был предводитель дворянства, и от его сына, потому что он был юрист. Но они и сами не знали того чудодейственного рецепта, который мог бы вернуть русским людям душевное равновесие — то главное, в чем они нуждались. И в растущем недовольстве самим собою Охолдин готов был опереться даже на Митеньку.

Митенька давно промотал свое небольшое имение без остатка, больше, впрочем, в силу полной своей безалаберности, чем из-за мотовства. Он состоял нахлебником при Платоне Крилловиче, ездил с ним на охоту, играл на бильярде, ничего не читал, кроме разве производств в «Русском Инвалиде», вдобавок ко всему — пил запоем. Он ненавидел женщин и в этом отношении жил настоящим аскетом — спал на складной походной койке, приходил в ярость, когда при нем заговаривали о любви, усердно соблюдал посты, а в Великий пост

отказывался от хмельного и непременно отправлялся в Ахтырский монастырь поклониться святыням. То же самое делали все офицеры его бывшего Ахтырского гусарского полка. Этим они крепили свою давнишнюю репутацию суровых, монашесствующих гусар, и в этом тоже была своя красота, до сих пор влиявшая на опустившегося Митеньку. Во всяком случае он возвращался с богомолья притихшим и «осиянным», рисковал даже укорять в легкомыслии Платона Кирилловича, которого вообще побаивался, держался примерно до Иванова дня.

Однажды после завтрака они играли с Охолдиным на бильярде. Митенька уже успел опохмелиться, его шары то летали между бортами лихими зигзагами и буквально пробивались в лузу, то наоборот, стелились по сукну плавным накатом и ложились мягко. Охолдин тоже играл очень хорошо, но не взял ни одной партии. Отойдя к окну и наблюдая, как Митенька целится в особенно трудный шар, он увидел на дворе отца и объездчика Грицько. Отец сидел на широкой спине своего гнедого гунтера, точно в кресле. Под Грицько был бурый казачий маштачок, неказистый, но выносливый и горячий. Они о чем-то говорили, у подъезда отец соскочил с лошади привычным движением старого кавалериста и отдал поводья подскочившему выездному лакею Михайле, а Грицько, приподняв над вихрастой головой картуз, повернул своего маштачка и поскакал.

Во всем этом не было решительно ничего любопытного, и все же у Охолдина пересохло во рту и напряженно натянулись лицевые мускулы. Он тронул шар почти не глядя и обрадовался возгласу Митеньки:

— Партия, опять партия! Вы совсем разучились играть, Сережа.

Митенька шутя уложил решающий шар, а Охолдин уже ставил кий в стойку. — С вами невозможно играть, Митенька, на зеленом поле вы настоящий чародей. Да мне и некогда больше, надо поговорить с папой.

Он почему-то был уверен, что отец услал Грицько с каким-нибудь поручением, и почувствовал, что должен побывать в доме объездчика непременно сегодня, даже сейчас. Должен встретить жену Грицько, Алену.

Столкнувшись с поднимавшимся по лестнице отцом, он устыдился. Алена была до Моти горничной Ирины Илларионовны и не устояла перед Платоном Кирилловичем. Это не укрылось от взора Ирины Илларионовны, и под ее давлением Платон Кириллович выдал Алену за Грицько, прикрыв грех приданым. В людских насчет Алены зубоскалили, Охолдин никогда не заглядывался на ее чувственную и доступную красоту, никогда о ней не думал. А теперь вдруг — так, ни с того, ни с сего, после всех своих самобичующих размышлений, захотел непременно стать преемником отца и Грицько. Это было противно, но какая-то воля, которая была сильнее его собственной, все же заставила спросить, куда поехал Грицько.

— Я его послал в Ольховку к Хвощенко, а что? — спросил Платон Кириллович.

— Ничего, я только так спросил, — ответил Охолдин. Вернулся к Митеньке, который один упражнялся в каких-то необыкновенных ударах через плечо, и заставил себя возобновить игру. Но играл так скверно, что Митенька рассердился и отказался от новой партии. Тогда решил пойти на охоту, чего обыкновенно один не делал. Надел болотные сапоги и кожаную шведскую куртку, нацепил через плечо ягдташ и чуть не забыл захватить ружье. Кликнул старого, отвыкшего от охоты кобеля «Каро», который вечно спал у дверей Митенькиной комнаты, и вышел боковой верандой в сад.

Грицько жил вверх по Медынке, верстах в шести, где начинались леса, а Охолдин пошел в боковом направлении, к степи. У оранжерей он остановился и вступил в разговор с садовником, но круглые, зарумянившиеся на холоде лица помогавших садовнику дивчат, а в особенности их

пружинившие при движении груди — напомнили Алену, и Охолдин заторопился дальше.

Сад спускался перед ним искусственными террасами, которые соединялись между собой широкими каменными ступенями. На их баллюстрадах дремали позеленевшие от времени лавы, прорытые при Льве Григорьевиче каналы зарастали все гуще, но расходившиеся веером дорожки всё еще содержались в образцовом порядке, хоть и не работали над ними больше даровые руки. Кое-где попадались мостики и беседки, особняком стоял мавзолей, где, по капризу екатерининского генерал-аншефа, хоронили любимых его собак. Две каменные девы склонились над низеньким порталом. Их аляповатые формы опять напомнили Алену, и Охолдин должен был признать, что наводнение овладело им окончательно.

«Почему непременно Алена, почему не Мотя, или какая-нибудь другая?» — с отвращением к самому себе думал Охолдин, продираясь через густые заросли орешника в степь. Но чем больше он удалялся в нее, тем ясней чувствовал, что она всё-таки приведет его к домику Грицько. Увидев поднимающееся к зениту солнце, Охолдин испугался: до заводов Хвощенко было далеко, но Грицько имел обыкновение скакать по-казацки и надо было торопиться. Он решительно повернул на север, успокаивая себя тем, что встретит у Алены посторонних, выпьет стакан квасу и вернется домой. Вся эта история становилась глупой: так поступать и терзаться мог только мальчишка, отец, Кирик, все его друзья смотрели на это гораздо проще и высмеяли бы его, если бы знали.

Все же Охолдин подходил к приютившейся на опушке леса мазанке с сильно бьющимся сердцем. Она стояла посреди небольшого фруктового сада, вся белая, чистая и веселая. Кругом никого не было. «Кто там?» — услышал Охолдин низкий, грудной голос Алены, когда тронул дверную скобку. — Батюшки, Сергей Платонович, легки на помине, а я как раз о

вас вспоминала! — заулыбалась она, когда он вошел. И сразу отлетели все сомнения, стало легко, и было понятно, что так действительно должно было случиться. Он знал, что отец усласт Грицько, она знала, что он придет.

В мазанке была всего одна горница, впрочем довольно просторная и опрятная. Четвертую часть ее занимала громадная русская печь. В углу были навалены свеженаструтанные стружки, стояли наполовину упакованные ящики с яблоками, их пряный аромат кружил голову, как и присутствие Алены. В замужестве она немного похудела, но оставалась все той же деревенской русской красавицей, рослой, упитанной и белотелой. Лениво — манящая улыбка не сходила с ее полных, алых губ. Улыбались и влажные, чуть косящие глаза, которым припухшие веки придавали откровенно — бесстыдное выражение. Улыбались ямочки на круглых румяных щеках и восхитительном подбородке, мягко переходившем в полную белую шею. Возбуждающе колыхались под вышитой малороссийской рубахой пышные груди, свободные от стеснительной брони корсета.

Охолдин вызвался помочь ей в укладке яблок, и она охотно согласилась на эту игру. Они касались друг друга руками, сталкивались плечами, слова становились излишними, но еще нельзя было совсем без них обойтись. Даже терпкий запах женского пота дополнял прелесть той Алены, которую хотел теперь видеть Охолдин, и вдруг он завалил ее на стружки сильным, быстрым рывком. Она охнула. Ее влажные глаза перестали смеяться, и новый, властный огонек в потемневших зрачках заставил забыть бесстыдную покорность ее оголившихся и раскинувшихся ног. Даже раздавшееся где-то ржанье лошади и лай оставленного за дверьми Каро не сразу приобрели свой настоящий смысл.

— Ой, пусти, никак Грицько! — крикнула Алена, освобождаясь и вскакивая. Пока он вошел, они успели привести себя в порядок, но ки-

нутый им исподлобья взгляд показал бесполезность лживых объяснений. Этот темный взгляд быстро обшарил хранившие еще контуры тел стружки, задержался на раскрасневшихся лицах, метнулся к скамейке, где были разложены охотничьи принадлежности Охолдина.

— С полем, барин! — произнес Грицько хрипавато и грубо.

— Что такое? Что? — переспросил Охолдин, хотя все слышал отлично.

— С полем, говорю, барин, удачно стреляли ... — повторил Грицько, показывая на пустой ягдташ.

Он схватил со скамейки ружье Охолдина и вскинул к плечу. Две черные точки стволов уперлись в лицо Охолдина, и он невольно зажмурился, чтобы не видеть и совладать с охватившей потребностью бежать, бежать во что бы то ни стало. Это помогло — какие-то клеточки мозга возобновили свою работу, он снова открыл глаза и двинулся в сторону, заслоняя собой Алену. Стволы качнулись, и вместо черных точек он увидел прищуренный глаз Грицько, который нажал затвор и смотрел в стволы с другого конца.

— Так-с, не заряжено и не стреляно, таким и зайца не убьешь, — подмигнул вдруг Грицько с таким выражением, будто это открытие доставило ему удовольствие. Однако по его худощавому, смуглому и довольно красивому лицу прошла безобразившая его судорога, и Охолдин почувствовал, что пора кончать.

— Дай ружье, мне пора! — сказал он твердо.

— Пора, ваше графское сиятельство, пора! что ж вам у нас, мужиков делать ... — усмехнулся Грицько и протянул ружье, но тотчас же закрычал бешено: — Алена, проводи гостя! ты что, порядку не знаешь!

Алена вся сжалась под этим окриком. Охолдин скомканно пробормотал «до свидания» и пробрался к выходу.

Было мучительно стыдно того приниженного положения, в котором он очутился перед Грицько, было страшно за Алену, но радость избавления

всё же оказалась сильнее. Грицько не посмел — это было в данную минуту важнее всего. Наверно, он не тронет также и Алену. А если и выгонит, то всегда можно поговорить с отцом, такие вещи Платон Кириллович понимал отлично и не отказался бы ее пристроить.

Все же спалось в эту ночь плохо, а утром глупо ухмылявшийся Федор сообщил, что явилась Алена.

Она вошла, зябко кутаясь в большой ковровый платок. Левый глаз ее запух синяком, щеки лихорадочно блестели.

— Бедная, он бил тебя, как хорошо, что ты ушла от него, у нас никто не посмеет тебя тронуть, — растерянно сказал Охолдин.

— Уж так бил, так бил, прямо сказать невозможно, — заговорила, не слушая его, Алена. — Не успели вы, голубчик, отойти, как велел мне раздеться до гола, сгреб за волосы и начал плетью хлестать. Я в ноги ему кинулась, сапоги целую, кричу сама не своя. «Миленький, — кричу, виновата, не буду, ни в жисть не буду, пощади только, сил моих нет терпеть!» А он знай порет меня да приговаривает: «доколь же ты меня, графская б...ь, страмить будешь». Да еще стращал, что в другой раз на село погонит и при всем народе драть будет.

Она продолжала описывать пережитую ею экзекуцию, ничуть не стыдясь унижительных подробностей. В Охолдине сострадание боролось с безразличием, он молчал.

— Да вы, Сереженька, может, не верите, а он, тиран, прямо живого места на мне не оставил! — всхлипнула обиженная этим молчанием Алена. Прежде чем он успел остановить ее — сбросила платок, расстегнула кофту, и Охолдин увидел ее круглые плечи и полную спину, сплошь покрытые багрово-синими полосами. Как и вчера, колыхнулись большие белые груди, но они были расцарапаны, и вместо самобытной деревенской красавицы перед Охолдиным стояла блудливая, наказанная самка.

— Закройся, закройся! — сказал он торопливо. Я дам тебе денег, я все устрою. Тебе уже не придется с ним мучиться.

— Да он затем и прислал меня, — опять не слушая, подхватила Алена. — Так и сказал: «смотри, подлюга, без ста рублей не возвращайся. Они богатые, им это ничего, а нам с тобой в хозяйстве во как пригодится».

Оказалось, что Алена и не думала расставаться со своим Грицько. Немного успокоившись, она объявила, что он добрый и бьет только за дело. А сбежать от мужа — такого срама и в роду у них не было.

Охолдин достал из бумажника две сторублевки (больше денег при нем не было) и со странным чувством разочарованного облегчения протянул Алене.

Она уже оделась и, увидев две кредитки, улыбнулась заплаканным ртом.

— Какой ты хороший, — сказала она, переходя на «ты» и видимо по-своему толкуя его щедрость. Уходя, стала похожа на прежнюю Алену и добавила довольно игриво:

— Он меня страсть как любит, да нам на него смотреть не приходится. Пусть папашенька его куда подальше ушлют, тогда помехи не будет.

— Хорошо, хорошо, я скажу отцу, — солгал Охолдин, стараясь поскорей ее выпроводить.

6 декабря было тезоименитство Его Величества и престольный праздник никольской приходской церкви.

8.

Было тезоименитство государя и престольный праздник никольской церкви. Платон Кириллович давал дворянам своего уезда званый обед. Масса гостей двигалась по бесчисленным залам и гостиным, в громадной парадной столовой все-едва хватило места.

Главный управляющий Орримаа, сухощавый, корректный финляндец, говорил с доктором о вреде религиозных предрассудков и старался не упу-

стить из виду свою Марианну, красивую молодую блондинку, на которой он недавно женился. Один из учителей очень быстро напился, оставил свое место на внешней дуге крытого подковой стола и пробрался к хозяину дома. В порыве пьяного благодушия он принялся излагать свои взгляды на неправильную, по его мнению, постановку народного образования, причем два раза икнул... Платон Кириллович не отвечал ни слова и смотрел на него с таким видом, словно не замечал вовсе. Учитель Иван Иванович икнул ещё раз, уже в спину отвернувшегося от него хозяина, и заплетающейся походкой вернулся к своему коллеге Владимиру Ивановичу.

— Что брат, отшили, и по делом тебе. Не распоясывайся и не открывай им свою душу, разве им понятны человеческие побуждения? — встретил его менее пьяный Владимир Иванович. Оба тотчас же налегли на водку и скоро сравнялись.

Тем временем голубоглазая Марианна, почему-то посаженная напротив Платона Кирилловича, возбужденно хихикала от самых незначительных его замечаний и все больше краснела и хорошела от выпитого вина. От шума и мельканья множества незнакомых лиц у Ирины Илларионовны разболелась голова, она делала над собой всё большие усилия, чтобы поддерживать светскую беседу с соседом, богатым помещиком Холостовым, и чувствовала себя плохо.

Когда подали шампанское, Платон Кириллович вытянулся во весь свой богатырский рост и провозгласил здравицу за державного именинника. Тост покрыли довольно нестройным «ура», выписанный из города оркестр грянул на хорах гимн, тоже достаточно нескладно. И это было всё. Никаких патриотических речей не последовало: такими вещами могли заниматься подвыпившие купцы, в хороших домах это считалось «квасным» патриотизмом дурного тона.

Прислуживавший за столом Михайло путался с непривычки и подавал блюда то справа, то слева. И камердинер Ардальон, и буфетчик Ер-

молай, и другие лакеи, не говоря уже про Архипыча, несколько раз прикрикнули на него и обозвали «деревенщиной». Слышавшая это Мотя насмешливо улыбнулась пухлыми губками и сказала презрительно: «Ну и манеры у вас, прости Господи. Идите себе на конец стола всякую шушеру обслуживать, а с настоящими господами мы без вас управимся».

Михайла побагровел от обиды, но возражать не решился. Слишком уж пышно было всё кругом, и порой ему самому начинало казаться, что он недостоин находиться около главного стола. Там стояли серебряные вазы и братины темной чеканки, такие тяжелые, что одной рукой и не поднимешь. Там благоухали розы из графских оранжерей и струился внутренним голубым светом зубчатый ледяной замок пюмбира — чудесное творение повара Григория. Там сидел граф Платон Кириллович, похожий в своем генеральском свитском мундире на самого царя (Михайла никогда не видал царя, но, судя по портретам, граф был даже еще видней). От всего этого шевелилась зависть, но разница с собственным положением была слишком велика, чтобы восхищение не оказалось сильнее.

Михайла вспомнил дровосеков, толковавших на селе, что надо всех сравнять и что имущество только лишнее бремя. — «Поди сравняй, он тебя так сравнивает, что и своих не узнаешь», — усмехнулся он, имея в виду барина. И с неожиданной для себя самого прытью напустился на учителя Владимира Ивановича, который тоже восставал у себя в школе против господ, а теперь сидел за господским столом совсем осовелый и всё пытался запеть «Вниз по матушке, по Волге».

— Извольте до дому собираться, нечего тут прохлаждаться, неровен час граф услышит, — сказал он, поднимая учителя подмышки и проводя к дверям.

— Я ничего... я в своем праве... я гражданин... понимаешь ты это, холопская твоя душа... гражданин я... полноправный... — протестовал Владимир Иванович, но как раз начали

вставать и за главным столом, произошло общее движение, и Михайла не отступился от своей жертвы, пока не сдал ее кухонному мужику, дождавшемуся приказаний в коридоре.

— Волоки в людские, пусть дрыхнет, да поворачивайся, дубина, чего глаза пучишь! — прикрикнул Михайла на кухонного мужика и вернулся обратно с возросшим сознанием собственного достоинства.

После обеда его задача вообще упростилась. Часть гостей ушла на половину графа играть в карты, другие танцевали в двухсветной зале. Вместо возни с блюдами и бутылками, Ермолай поручил ему разносить вазы с фруктами. Бега за ними в буфетную, Михайла успел закусить и даже рискнул выпить несколько бокалов мaderas, хотя делать это строго запрещалось.

Сразу стало веселей, и мысли также приобрели более игривое направление. «Эх, везет людям! — подумал он, заметив около молодого графа Сергея Платоновича целый рой барышень в воздушных, светлых платьях. Особенно хороша была дочка помещика Холостова, большая, толстая, белая. «Ну прямо телка убойная, вот бы с такой ночку покоротать, против нее и Мотя ничего не стоит, даром что разъелась на господских хлебах! — поддразнил себя Михайла. Кроме пышного тела у Холостовой было богатство, и молодому графу стоило только захотеть, но — на что ему, когда сами богачи страшные, почище Холостовых будут. И чего им не жить при таком капитале. Взять хоть тую же княжну Ирину Илларионовну. Годков ей немало, совсем перестарок, а ишь как кружится. Шея белая, молочная, до грудей оголенная, камни самоцветные так и блестят на ней, да только непристроенная, потому что глупая».

Чуть ли не впервые Михайла почувствовал некоторое превосходство над всеми этими как будто недоступными людьми. В глупости княжны сомневаться не приходилось. Сама святоша, а путается с графом и воображает, дура, что все слепые. От все-

го своего богатства никакой настоящей радости не видит. Глупей ее была разве только барышня Лидия Платоновна, которая с простым мужиком от такой жизни сбежала. Ее бы за такое ее художество смертным боем бить, а граф Платон Кириллович стерпел, только имени ее упоминать не велел.

— Ты что встал? Тебя здесь заместо статуя поставили, колонну подпирать что ли? — услышал Михайла желчный шопот незаметно подошедшего Архипыча.

— Да я, дяденька, всего одну секундочку и встал, вот вам крест, всего одну секундочку, — сказал Михайла и бросился в буйфетную.

9.

За поздним обедом и танцами последовал поздний ужин. Ночью часть гостей разъехалась, но другие остались ночевать, а в комнате Митеньки до утра горел свет, варили жженку и пели под бренчанье гитары охрипшими голосами. Только после завтрака дом начал пустеть, и Михайле приказали прибрать на половине графа Платона Кирилловича.

Он спал всего несколько часов и был доволен, что не приходится иметь дело с посудой, которая ломалась в руках сама собой. Вооружившись метелкой из пестрых петушиных перьев, он лениво сметал пыль и услышал, добравшись до кабинета, как в бильярдной стучали шары. Судя по отдельным восклицаниям, играли оба графа, старый и молодой.

Михайла подтянулся и почтительно обмахнул метелкой лицо полного господина с гвоздикой в петлице редингтона. Хотя господин был в штатском и имел самый обыкновенный вид, но все в доме знали, что это — чужеземный король, который подарил свой портрет графу Платону Кирилловичу, а потому и обращаться с ним надо было деликатно (это был портрет Эдуарда VII, и подарок относился еще к тем временам, когда он был принцем Уэльским и предпочитал

чинной скуке Букингэмского дворца пляж Биаррица и скачки Довилля).

— Ты страшно поразил меня, папа. Я никак не думал, что дела наши так плохи. Почему ты никогда даже не намекнул об этом? — донеслось вдруг до слуха Михайлы из бильярдной.

— Потому что о неприятных вещах надо говорить как можно реже. Кроме того я не утверждаю, что наши дела совсем плохи. Я только говорю тебе, как своему старшему сыну, что мы испытываем затруднения и необходимо своевременно их устранить, — ответил граф Платон Кириллович.

— И всё-таки я не могу сделать то, что ты хочешь, — сказал после короткого молчания молодой граф. — Я никогда не решусь использовать увлечение Холостовой, которую не люблю и считаю ничтожной. Это было бы бесчестно, и ты сам первый перестал бы уважать меня, если бы я женился на деньгах.

— А пустить по миру состояние предков, это честно, по-твоему? — воскликнул старый граф. — Разорить наше родовое гнездо, погубить все мои культурные начинания, это честно? Подумал ли ты о том, сколько народу кормится около меня, вспомнил ли ты о нашем старом заводе, который я никогда не отдам в чужие руки. Тем более, что мне нужно всего каких-нибудь двести тысяч, чтобы покрыть срочные платежи. Тогда мне вновь откроется кредит, я построю сахарный завод и через несколько лет мы снова будем богаты.

Пущенный чьей-то рукою шар перепрыгнул через барьер и ударился об дверь. Его стук поглотил легкий присвист, который невольно вырвался у Михайлы. Он подошел, забывая осторожность, к дверям и нагнулся к замочной скважине. Но увидел только склоненную голову молодого графа, упершегося подбородком на кий.

— Вы так говорите, точно я виноват в дурном состоянии наших дел, — сказал он, наконец, медленно поднимая голову.

— Оставь свои неуместные намеки! — закричал старый граф. — Я

живу так, как повелевает достоинство нашей семьи, и не тебе судить меня. Если уж на то пошло, то я сам женюсь на Холостовой и лишу тебя наследства. Посмотрим, что ты скажешь. — Он швырнул кий на сукно и шагнул к двери. Его фигура закрыла собой замочную скважину, и Михайла отскочил в сторону. Но никто не вошел. Вместо того раздалось еще несколько фраз, сказанных по-французски, затем хлопнули двери в коридор, и всё стихло.

Михайла слышал достаточно. Так, значит, так далеко зашли уже дела господ Охолдиных. Отец доигрался до ручки и умолял сына спасти его. Как говорится, «на брюхе шелк, а в брюхе щелк». Может быть, скоро здесь будет распоряжаться богатый кабатчик Памфилов, которому принадлежала также самая большая лавка на селе. А знаменитый граф Платон Кириллович будет ему прислуживать, как сейчас ему самому прислуживает он, Михайла. И кто знает, если осуществится его мечта стать наездником (а об этом Михайла мечтал упорно и даже выпросил как-то у Платона Кирилловича позволение обьезжать более смирных лошадей), то он станет забирать призы, купит часы с золотой цепью, женится на дочке Панфилова и тогда... тогда... — Что будет тогда, Михайла так и не додумал. Это всё-таки было слишком головокружительно. Он только усмехнулся и шлепнул метелкой по носу чужеземного короля. Тот продолжал благоклонно улыбаться, и Михайла проделал тоже с Александром П, но царь грозно нахмурился, и стало понятно, что с Божьим помазанником нельзя шутить, даже если от него осталось всего только размалеванное полотно.

Захотелось движения, людского признания. Михайла отправился вниз, пообедал в людской и объявил старшему лакею Ермолаю, что пойдет на село.

— А ты наверху все как следует прибрал? — осведомился Ермолай.

— Не сумлевайтесь, свое дело знам, — ответил Михайла.

В своей каморке он надел новый

пиджак и новые лаковые сапоги. Напомадил волосы, сдвинул набок фуражку и пожалел, что часов у него еще нет. Однако была цепочка нового золота и на пестром жилете, пришпиленная в кармашках английскими булавками, она выглядела великолепно. Пальто Михайла решил не надевать — на дворе было, правда, свежо, но само пальто ему не нравилось, и под ним терялись жилет с цепочкой. До села он шел быстрым шагом, ежась от холода, но у околицы приосанился, засунул руки в брюки и двинулся дальше, небрежно сплевывая.

Село продолжало гулять со вчерашнего. На крылечках и заваленках сидели девки, зубоскалили и лутили семечки. Подвыпившие парни ходили в обнимку, пиликали на гармошках и задирали девок. Все знали Михайлу, перебрасывались с ним шутками, но того почтения, которое он сам к себе начал испытывать, как-то не чувствовалось. На площади перед двухэтажным каменным, крытым жостью домом Памфилова собрались сыновья и дочери местных богатеев. Михайла, которому по дороге поднесли несколько чарок, подошел к ним и гаркнул, расшаркиваясь перед дочкой Памфилова:

— Наше вам почтение, Пелагея Поликарповна, с пальцем девять, с огурцом двенадцать!

Пелагея Поликарповна, крупная, некрасивая девица с веснушчатым лицом и вздернутым носом, засмеялась. Ее кавалеры недружелюбно покосились, а богатый Васька Сычев, отец которого одних лошадей имел шесть штук, довольно громко процедил сквозь зубы: «Ишь, разоряется, графский халуй». Снова раздался смех, и жирное тело Пелагеи Поликарповны так и заколыхалось в лисьем салопе черного бархата.

Михайла сжал кулаки, но драться побоялся. Несмотря на разбиравший его с холоду хмель, вспомнилось, что его отец арендовал у Сычевых землю, да и собравшаяся здесь деревенская аристократия скорее поддержала бы Ваську, нежели его.

— Смейтесь, смейтесь, Пелагея Поликарповна, как бы жалеть не пришлось! — сказал Михайла и повернулся на каблуках.

— Ты что, косноязычный, брешешь? — двинулся к нему Васька, но приятели удержали его, и Михайла ушел непобежденным.

Внутри его всё кипело. Необходимо было отомстить, надо было сейчас же подняться в глазах Пелагеи Памфиловой, иначе к ней и ходу не будет.

— Эй, берегись! — раздалось вдоль улицы, и мимо промчался, ёкая селезенкой, громадный караковый жеребец Сычевых. Верхом на дрожках сидел брат Васьки, дедки шарахались и провожали его восхищенными глазами. Михайла также посмотрел ему вслед и вдруг понял, что ему следовало делать.

Запыхавшись прибежал он на завод и потребовал у дежурного конюха, чтобы ему запрягли лошадь.

— Какую лошадь? Куды ж ты, Михайла, поедешь? — недоумевающе протянул конюх.

— Не твоего ума дело, граф приказал проездку делать и всё тут, — обрезал его Михайла.

— Раз приказали, так и говорить нечего, запряжем тебе хоть Змей-Горыныча, он смирный, граф на таких и велели тебе ездить, — сказал конюх.

Михайло кивнул. Змей-Горыныч, сын Летучего, был когда-то знаменитым призовым рысаком. Теперь ему было лет тридцать, у него начали выпадать зубы, и он спокойно доживал на заводе свой лошадиный век. Михайла предпочел бы Грозного, Боярышню, или какую-нибудь другую более молодую и горячую лошадь, но это означало спор с конюхом, может быть, даже обращение к конюшему. Поэтому он удовлетворился Горынычем и скоро подъезжал в сверкавшей стальными спицами американке к селу.

На его счастье брат Сычева был еще там. Он стоял среди улицы, несколько парней разглядывали его жеребца. Завидев Михайлу, он крикнул еще издали:

— А, горе-наездник, хошь — протяну тебя на одре твоём.

И он действительно мог позволить себе бахвалиться: рядом с его четырехлетней машиной Змей-Горыныч выглядел просто жалким. Он сильно исхудал за последнее время, под кожей выступали ребра, тонкие ноги начали деревянеть и плохо сгибались в суставах. Характерная голова казалась слишком большой для хилого тела, нижняя губа уныло отвисла.

— Ну ты, смотри! — неопределенно сказал Михайла, подавленный явным превосходством соперника. Он охотно отказался бы от состязания, но Сычев уже завернул своего рысака и продолжал издеваться. Сычевский рысак выгнул крутую шею, ржал самым вызывающим образом и всё собирался прыгнуть на Змея-Горыныча. Так они проехали легким тротом через площадь, и Михайла вдруг заметил, что и Змей-Горыныч начинает злиться. Он поднял голову, прижал уши, начал выбрасывать ноги, и Михайле пришлось его держать в поводьях.

— Оживает твое дерьмо, — сказал Сычев, когда они достигли противоположного конца улицы и вновь завернули. Затем он гикнул, натянул возжи и одним броском оторвался от Михайлы на две запряжки.

— Эх, была не была! — крикнул Михайла и тоже натянул возжи. Змей-Горыныч вздрогнул, вытянулся и в следующее мгновение Михайла потерял над ним власть.

На площади Сычев еще был впереди, хотя расстояние между ними быстро уменьшалось. Дальше оба рысак шли голова в голову. Сычевский залоснился и поводил боками. Змей-Горыныч зловеще хрипел, но все набавлял. В ушах Михайлы свистел ветер, его качалка прыгала по мерзлой земле, в голове не осталось ни одной мысли. Где-то сбоку тяжело и безнадежно заскакал караковый жеребец, села уже не было, Змей-Горыныч мчался прямо к заводу. Очутившись среди знакомых строений, он вдруг стал так внезапно, что Михайла ткнулся лицом в его зад. Его бурное дыхание прервалось, и горевшие бы-

лым огнем глаза начали тускнеть; в последний раз видели они меркнущие дали родной степи: Змей-Горыныч застонал по-человечески и грохнулся о землю. Сын Летучего, праправнук Сметанки пал.

Михайла еще пытался отпустить ему подругу, когда около него появились люди и среди них он с ужасом заметил Платона Кирилловича.

— Скотина, кто пустил тебя на качалку? Я желаю знать, кто пустил этого олуха на качалку? — кричал граф, размахивая нагайкой.

— Вва-вва-ше сия-тельство, вы сами, он сказал. . . — лепетал конюх.

— Мерзавец, скотина! «он сказал»... Я тебя научу, как разговаривать, шкуру спущу! — продолжал греметь Платон Кириллович.

— Не извольте ругаться, так и расчет могим взять! — выпалил неожиданно Михайла.

— Что такое? что ты сказал? повтори еще раз. . . — как будто тише произнес Платон Кириллович.

— Расчет могим взять — вот что! — тверже повторил Михайла.

— Расчет? расчет? вот тебе расчет! — заревел граф и с размаху вытянул его нагайкой. Рассеченный пиджак и рубаха Михайлы обнажили кровавый рубец.

— Помилуйте, ваше сиятельство!.. — закричал он плаксивым голосом. . .

10.

«Яшим на карте генеральной

Кружком отмечен не всегда», —

продекламировал яшимский городской врач, доктор Воронин, пародируя Лермонтова.

— Какого черта не всегда. Кто станет заносить на карту паршивый городишко с тремя тысячами жителей, которых следовало бы взорвать со всеми их самоварами, перинами и цепными собаками? — сказал Капустин, отбывавший здесь срок ссылки вместе со Шталем и пришедший с ним на вечеринку к доктору.

— Вы льстите яшимским обывателям, называя их жителями. Они ско-

рей похожи на навозных жуков, мягкотелых, ленивых, не видящих ничего, кроме своей навозной кучи. Однако взрывать не советую. Тогда погибнут и десятка два политических скорпионов, вроде вас самого и вашего покорного слуги, — сказал Угланов, старший из присутствовавших ссыльных. Он был среднего роста, но со впалой чахоточной грудью. В его гладко выбритом, вопреки тогдашней моде, лице поражали две особенности: тяжелый, неподвижный взгляд каких-то неуловимого цвета глаз, извилистые, тонкие губы, которые никогда не улыбались. На нем был военный китель защитного цвета, но без погон и длинные штатские брюки, заправленные в серые сибирские валенки, обшитые желтой кожей. Он сидел в углу на довольно старом турецком диване, скушающим жестом перелистывал многочисленные докторские альбомы, курил папиросу за папиросой и ронял свои замечания совершенно бесстрастным, тусклым голосом. Лет ему могло быть и тридцать и пятьдесят.

— Это вы, батенька, точно подметили, ей Богу, тонко. «Жуки и скорпионы», хе-хе-хе. . . — рассмеялся в свою клочковатую седеющую бороду Воронин. — Но только сделайте ваше одолжение, объясните на милость, как нам не быть жуками, как сохранить человеческий образ, когда до ближайшей железнодорожной станции — тысяча верст с гаком, а кругом тайга, да волки и медведи. Поневоле зароешься в перины и засосешь лапу, ничего, батенька, не поделаешь.

— Если вы сами расписываетесь в своих животных наклонностях, так это ваше дело, но относительно других я попросил бы вас быть разборчивей в выражениях. «Скорпионы»!.. чорт знает что такое! Как мило со стороны хозяина дома называть так своих гостей, — закипятился Капустин и оторвался от своего обычного занятия — выдавливания прыщей на щеках и шее.

Доктор покраснел и начал оправдываться. За него заступилась бывшая акушерка Лештукова, попавшая

в ссылку за участие в иркутских беспорядках пятого года. Эта мужеподобная девица с остриженными под машинку волосами, резкими чертами худощавого лица и большими красными руками была в сущности крайне незлоблива и старалась обратить маленькую размолвку в шутку, но Капустин не желал ничего слушать. С оскорбленности своей он перескочил на недопустимое отношение буржуазии к революционным деятелям вообще, с революционных деятелей перешел на защиту прав человека и гражданина, как мыслит их анархическая община, и очень скоро никто уже не помнил, из-за чего собственно возник спор.

— Оставь, неудобно, в конце концов доктор тоже мог обидеться, когда его причислили к навозным жукам, — вступился Шталь и тянул за рукав порывавшегося вскочить Капустина.

— Угланов, отчего вы молчите, ведь это вы начали острить насчет жуков и скорпионов? — обратился Шталь к Угланову, который на самом деле не произнес больше ни слова и только наблюдал из своего угла равнодушно-прищуренными глазами.

— Чего ж тут говорить, ерунда всё, пусть беснуются, если находят в этом удовольствие, — сказал наконец Угланов и снова погрузился в созерцание.

— Всё это софизмы, подтасовка фактов! — кричал между тем Капустин. — Я ставлю вопрос принципиально. Каким должно быть положение личности в свободном общезитии людей? Что мы ставим выше: личность или интересы общезития? Не виляйте, отвечайте прямо!

— И прямо, и принципиально мы должны следовать зову хозяйки, которая приглашает ужинать, — сказал вдруг Угланов и двинулся своей медленной шаркающей походкой в столовую.

Все, за исключением Капустина, рассмеялись и поднялись. Шталь ожидал со стороны своего школьного товарища какой-нибудь особенно резкой выходки, но к его удивлению Капустин

только покраснел до того, что даже его прыщи налились и заблестели под натянувшейся кожей.

В столовой жарко дышала большая изразцовая печь. С ней состязался пузатый, медно-красный самовар. Среди тарелок с маринованной селедкой, чайной колбасой и всевозможными соленьями стояли принесенные из кладовки бутылки, и быстро таял облепивший их снег.

— Кушайте, кушайте, гости дорогие, небось проголодались, как спорили. Вот уж спорщики и табашники! — приговаривала, добродушно улыбаясь, жена доктора, рослая, плотная сибирячка лет сорока, бывшая его прислуга.

— А мы, душа моя, прежде всего по маленькой дернем, чтоб в горле не першило, — оживился доктор, наполняя большие граненые рюмки.

— Противная гусыня, так бы и полоснул ее по толстой шее, — приглушенным голосом сказал Капустин, так что расслышали только сидевшие по обе стороны от него Шталь и Угланов.

— Авдотья Макаровна, а Капустин ведь вас зарезать собирается, — бросил Угланов в тишину, нарушаемую лишь стуком ножей и вилок.

— Пусть себе режет, только покупайте сперва, а то у меня на кухне пельмени остынут, — махнула рукой Авдотья Макаровна, и на сей раз к взрыву общего хохота присоединился даже Капустин. Только на лице Угланова не отразилось и подобия улыбки, но зато он вежливо склонил голову перед хозяином дома и сказал любезней обыкновенного: — Дорогой доктор, увольте, вы ведь знаете, мне вредно пить.

— Вам, я думаю, и говорить вредно. Сидите себе, мы за вас постараемся, — недружелюбно вмешался Шталь и чокнулся с доктором. Снисходительно ключее превосходство, которое излучал Угланов, казалось ему деланным и потому особенно неприятным. Еще неприятней было то, что этот человек оставался цельным и неуязвимым при всех обстоятельствах. Он ни с кем не сошелся ближе, о нем пере-

давали много предосудительного, но тем не менее с ним очень считались.

— Ваша молодость и крепкое здоровье позволяют вам быть великодушным, — процедил Угланов, и его тяжелый взгляд встретился с упорным и сейчас вызывающим взглядом Штала. Потом набрякшие веки опустились, вокруг рта залегли брезгливые складки, и контрастом к ним прозвучала просьба: «Товарищ Лештукова, у вас поразительный голос. Вы непременно должны нам что-нибудь спеть. Спойте, голубушка, не заставляйте просить, я, собираясь к доктору, зарафее радовался»...

— Ур-ра! непременно, непременно, мы подтянем! — раздались возгласы быстро хмелеющих гостей. Маленький Алексеев, в прошлом студент-технолог и активист боевой организации эсэров, в настоящем тоже ссыльный, сложил руки рупором, топал ногами и орал, как на галерке, вызывающей Шалыпина: «Леш-ту-ко-ва! Леш-ту-ко-ва! Дубинушку! Леш-ту-ко-о-ва!»...

Англичанин — мудрец, чтоб работе помочь,
Изобрел за машиной маши-и-ну,
А наш русский мужик, коль работать не
в мочь,

Он затянет родную дуби-и-ну... —
запела Лештукова на самом деле
сильным и верным контральто.

Эй, дубинушка, ухнем,
Эй, зеленая, сама пойдет,
Подернем, подернем, да у-ухнем!..

— заревел хор, достигая экстаза в строфе, где дубина поднималась на бар.

— Капустин, друг сердечный, оби-дел ты меня, за живое задел! — возопил доктор, простирая через стол руки. — Какой я буржуа, если сам прибыл сюда ссыльным. Обжился я тут, зажил, это справедливо, но не судите так строго, не топчите в грязь, дайте оправдаться.

Никто его не слушал. Каждый говорил свое, все перебивали друг друга, обрывки незаконченных споров и песен с каждой новой бутылкой вспыхивали и гасли. Опустошенное блю-

до пельменей стояло на залитой водкой и пивом скатерти, среди опрокинутых рюмок и неряшливых обьедков.

— Капустин, видишь ты во мне живую, израненную душу, или не видишь? — не унимался доктор, и его дряблые щеки увлажнились слезами. — Я не дошел, я споткнулся по пути, но вы, молодежь, горячая, беззаветная молодежь наша, вы дойдете, перед вами падут оковы рабства, вас осияет своими лучезарными лучами солнце свободы. И вы не смее презирать нас, стариков, вы слишком велики и благородны, чтобы презирать. Вы должны понять и простить нашу слабость.

Он отшвырнул ногою свой стул и заколыхался навстречу также вставшему Капустину. Они обнялись, целовались, пили брудершафт. Алексеев схватился за голову, раскачивался, точно в приступе зубной боли, повторял не переставая: «несчастные мы, несчастные, жертвы безвременья и произвола, а как хочется жить! ой, как жить хочется!» Шталь озирался по сторонам и чувствовал, что голова его идет кругом, притом скорее от всего происходившего кругом, чем от выпитой водки.

Как недавно сидели они с Капустинным в тюрьме, прислушивались к отголоскам дела Фридманов, и сами готовились к худшему. Как живы еще были мельчайшие перепитии той мрачной осени и как безвозвратно канули они в Лету вместе с объявлением приговора по их собственному делу. Три года ссылки казались тогда избавлением, хотя само слово «ссылка» рождало представление о прозябании в голодных тундрах, среди диких самоедов. И как совсем иначе всё сложилось, много лучше и много хуже.

Стоило Шталю закрыть глаза — и он все еще легко погружался в покачиванье арестантского вагона, прокуренного махоркой целых поколений невольных сибирских пионеров, — вагона, отстукивающего своими дребезжащими колесами неумолимо-нуд-

ное: «на вос-ток, на вос-ток». Стужами севера пугали скрипящие полозья, когда кончилось путешествие по железной дороге и пришлось проделать тысячу верст по этапам на лошадях. Но сочувственно гудели над головой величавые кедровые тайги, независимы и свободны были ее обитатели. Закаленные зверобой на пути, суровые, могучие крестьяне на своих обширных заимках.

И молодая энергия пробуждалась к иной жизни, первобытной и совсем иной, но не лишенной надежды.

Но вот городок Яшим — и снова полная перемена декорации. Здесь первобытные инстинкты будила только Лена. Она молчала под ледяным покровом, но ширь ее вод была такова, что могла вести лишь к подножью Божьего трона, где не было места городку Яшиму и его обитателям. Была в нем всего одна настоящая улица, с высокими деревянными мостками вместо тротуаров. Зимой они леденели, и с них легко было поскользнуться и уйти по пояс в снежные сугробы. Каменные и двухэтажные дома можно было пересчитать по пальцам, все остальные были сложены из вековых бревен и дремали, чтобы никогда не просыпаться. Имелся городской клуб с неистощимым запасом водки и одних и тех же жирных блюд. При нем состояла любительская труппа и ставила раза два в год пьесы, которые нигде уже не игрались. Была даже библиотека имени Пушкина, но открывалась она всего три раза в неделю и служила местом встречи для нескольких перезрелых девиц и их кавалеров. Почту доставляли на лошадях каждую вторую субботу (далеко не всегда аккуратно), о волшебных изобретениях телефона и телеграфа только вздыхали (впрочем без особого сожаления).

Зато свобода оказалась почти неограниченной. Главное требование капитана — исправника (он же верховный администратор целого края, превосходившего своими размерами Баварское королевство) сводилось к тому, чтобы ссыльные аккуратно являлись в его канцелярию за получением

довольно скудного казенного содержания. Кроме того им запрещалось отлучаться из города, и особый надзиратель был уполномочен навещать к ним во всякое время дня и ночи. Но отлучаться в тайгу никто особенно не стремился, а надзирателю платили вскладчину по двадцати рублей в месяц, и обе стороны оставались вполне довольны одна другой.

Все жили на частных квартирах, изнывали от безделья, прозрачно намекали в письмах к своим о необходимости организовать побег, но сами ничего не делали в этом направлении. От всего этого ожесточались, завидовали товарищам, которые ухитрялись бежать и при менее благоприятных условиях, винили в своих злоключениях всех и всё. Прежде всего, конечно, — гнет заточившего их правительства, затем обывателей, которые приглашали новых людей на свои вечеринки, но оставались глухи к делу революции, в не меньшей степени — разные направления в своей собственной среде. Не оставалось и следа той спайки, которая крепила Шталя в тюрьме, развернувшись во всю разброд подпольных кружков, но на родине перед кружками всё же маячила какая-то цель, между тем как здесь целью становились дразги.

И было тяжело. Шталя уклонялся от споров, одолжил у доктора Воронина энциклопедию Брокгауза и Ефрона, достал самоучитель английского языка и занялся самообразованием. За это его называли «филистером», вкладывая в это слово какой-то особенный, обидный смысл. Серьезней других ссыльных относился к его попыткам Угланов, и временами слабела та антипатия, которую инстинктивно испытывал к нему Шталя.

— Почему вы думаете впустую? Если пути отступления отрезаны, то надо стремиться вперед, а копанье в прошлом убивает порыв, — сказал Угланов, выводя Шталя из задумчивости.

— Откуда вы знаете, что я думаю впустую? — невольно вздрогнул Шталя.

— Заметно сразу. Для этого не надо быть ясновидящим, — сказал Угланов. — Вперед, вперед, оседлайте жизнь и не оглядывайтесь назад! — прибавил он, не дождавшись ответа. «Вперед, вперед!» — одними губами повторил Шталь, стараясь не вникать в те бессмысленные и разрозненные звуки, которыми тянула назад столовая доктора Воронина.

Быстры, как волны, все дни-и нашей жизни,

Что час, то короче к моги-иле наш путь,
Налей, налей, товарищ, заздравную чару,
Бог знает, что с нами случится впереди...

— грустно пела Лештукова. Ее сильные руки висели плетью, на некрасивом лице застыло выражение неземного страдания, и простая, веселая Авдотья Макаровна откровенно вытирала кулаком заплаканные глаза.

Сам Воронин и Капустин всё еще объяснялись, пили из одного стакана, то смеялись, как дети, то наоборот, начинали стучать по столу кулаками. «Суждены нам благие порывы, но свершить их нам не дано», — декламировал Алексеев, ухватив акцизного чиновника Фролова за пуговицу мундирного сюртука. — Не суждено, не суждено!.. — подтверждал Фролов, всхлипывая и сморкаясь.

Помолимся, помолимся, помолимся Творцу!
Мы к рюмочке приложимся, потом уж к огурцу!

— несносно фальшивым голосом подхватил вдруг Капустин слова припева.

— Ну вы, атеист, собирайтесь! Мы идем домой! — повелительно обратился к нему Угланов.

Раздались протесты, но Угланов взял Капустина под руку и повел в переднюю. Шталь помог надеть на него овчинный тулуп, один из тех, которые Воронин покупал для вновь прибывших ссыльных, собирая деньги по подписному листу среди своих пациентов.

— Авдотья, Авдотьюшка, есть у нас еще водка? тащи четверть, разгонную будем пить! — кричал доктор, мешаясь под ногами.

А мы будем пить,
Пить, пить, пить!.
Лодка будет плыть,
Плыть, плыть, плыть,

— несло в морозную ночь, вслед уходящим.

На бездонном небе выделялся своим холодным, спокойным блеском ковш Большой Медведицы. Гулко ухнула в сорокаградусный мороз Лена. За испещренными узорами окошками спал Яшим и спал уютно. Об этом свидетельствовали спирали дымков над его крышами.

Зайдемте ко мне, Шталь. Мы можем еще поболтать, а выспаться успеем и днем, — предложил Угланов, останавливаясь перед низким длинным домом почтмейстера, у которого он снимал комнату.

— Т я с вами, и я с вами! — пробормотал Капустин, немного отрезвев на холоде.

— Нет, вы пойдете домой. Мы обойдемся без пьяных, — резко остановил его Угланов.

— Тогда хоть проводим, а то он один замерзнет по дороге, — тихо заметил ему Шталь.

— Ничего, дойдет, ему недалеко! — сказал Угланов, отпирая дверь и входя в темный коридор, откуда пахло теплом и свежее испеченным хлебом.

Он быстро захлопнул дверь, заложил засов и чиркнул спичкой. В ее желтом колеблющемся свете его бледное лицо хищно заострилось, особенно, когда он сказал, пожимая плечами:

— А если замерзнет, то значит, так ему на роду написано. Одним анархистом Божьей милостью будет меньше.

11.

У себя в комнате Угланов зажег лампу и достал с полки непечатую бутылку водки, коробку шпрот и каравай черного хлеба.

— Прошу, может быть, успели проголодаться, — сказал он, ставя перед Шталем также одну рюмку.

— А вы?

— Я не пью, вы же знаете.

— Я один тоже не пью.

— Как угодно, побеседуем так.

Угланов молча протянул Шталю коробку папирос и закурил сам. Молчал и Шталь. Сценка с Капустиным опять разбудила неприязнь, к ней присоединилось недовольство своей уступчивостью. Как ни надоед Капустин, но его все же следовало проводить, непростительно было подчиниться Угланову, который как-то без лишних слов всё устраивал по-своему.

— Скажите, а вы можете убить человека? — резнул ухо неожиданный вопрос.

— Могу, — сердито буркнул Шталь.

— Ну а Капустин, мо-вашему, тоже может? — продолжал допрашивать Угланов.

— Думаю, что и Капустин может, — также односложно отрезал Шталь.

— А вам случалось убивать, и Капустину случалось... — сказал Угланов не то вопросительно, не то утвердительно.

— Может быть, случалось, а может быть и нет. Да что вы пристали ко мне с убийствами? Расскажите лучше, убивали ли вы сами, если уж вас так занимает эта тема, — окончательно рассердился Шталь.

— Нет, не случалось. Я предпочитаю, чтобы грязную работу выполняли за меня другие.

— Это что же, инстинкт шкурничества, или принцип политической борьбы? — насмешливо улыбнулся Шталь.

— А вы мне нравитесь. У вас есть зубы, вы умеете огрызаться. Еще немного рутины — и хватка будет мертвая, — вместо ответа похвалил Угланов.

— Мерси за комплимент, — рассмеялся Шталь, но с лица Угланова вдруг сбежало выражение брезгливого равнодушия, и в его голосе прозвучали искренние нотки.

— Оставим пикировку, она недостойна серьезных людей, — сказал он, давая в пепельнице папиросу и доставая новую. — Вы мне на самом деле нравитесь и я уверен, что смогу оставить вас в Яшме своим заместителем.

— Заместителем?

— Да, заместителем. Чему вы удивляетесь, я скоро уезжаю, мне нужен здесь верный человек.

Это было сказано так просто, как будто Угланову не предстояли еще три с половиной года ссылки.

— Вообще давайте обьяснимся начистоту, — продолжал он уже нетерпеливо. — Изредка я разрешаю себе такое удовольствие, иногда это даже бывает полезно для дела. Вы же видите сами, что в Яшме нет людей. Не могу же я обратиться к Алексею и его эсэрам, у которых под черепной коробкой преет гречневая каша. Террор во имя свободы, собственный крестный путь во имя свободы, пьянство тоже во имя свободы. Кто их там разберет, может быть сама свобода представляется им ангелом с розовыми крылышками, который подарит человечеству пальму вечного мира. Или ваш приятель Капустин, этот гнилой русский нигилист со своим доморощенным анархизмом. Я уверен, что вы льстите ему, предполагая, что он может убить. Или верней скажем так: убить-то он может, даже перочинным ножиком станет пилить свою жертву, чтоб насладиться ее муками, но потом сам забьется в истерическом припадке. В общем Смердяков — не Смердяков, а так себе, капуста квашеная...

— Ну, хорошо, допустим, что вы близки к истине, но каковы же ваши собственные идеалы? — спросил Шталь, пока Угланов прикрутил фитиль начавшей коптить лампы.

— Идеал — ходульное понятие, оно не совсем подходит к моей цели, — сказал Угланов, делая глубокую за-

тяжку. — В двух словах мой идеал таков: сдайте на слом все идеалы и все связанные с ними предрассудки. Не смотрите на мир сквозь розовые очки, которыми оседлали ваш нос религия, философия гуманистов, собственное людское лицемерие. Поймите, что человечество — стадо животных. Мое сравнение с жуками и скорпионами не было в этом отношении случайным. Его надо только расширить. И поступайте соответствующим образом. Лгите, обманывайте, натравливайте, не сомневайтесь, что единственной бессмертной истиной нашей планеты является непроходимая людская глупость. Пусть ваши противники сами перегрызут друг другу горло, а вы приберегите свои силы для последней мертвой хватки.

— Но ради чего, во имя какой цели? Преступные средства может оправдать только светлая цель, хотя и против такой установки можно возражать весьма основательно. А светлая цель это тот же идеал, который вы отрицаете! — воскликнул Шталь, поспеменно увлекаясь.

— Ну что вы скажете, как липнут к людям понятия! — развел руками Угланов. — Идеалы, непременно подавай им идеалы. Мой идеал заключается, помимо применения всех средств, еще в достижении неограниченной власти. Назовем это хоть диктатурой пролетариата, если вам угодно.

— Гора родила мышь, — поторопился сказать Шталь, которому показалось, что он берет верх. — Диктатура пролетариата давно всем известный лозунг марксистов, а борьба во имя власти давнишний стимул честолюбивых людей. Все это не ново, Угланов, вы только подкрасили старые ризы.

— У вас полемический задор, но не хватает опыта, — невозмутимо остановил его Угланов. — Вы изволили прослушать, что я рассматриваю человечество как скопище двуногих зверей, которое не способно управлять собой без принуждения. В этом аспекте оно и не заслуживает никакой свободы и справедливости, а

нуждается лишь в железной руке. И я предпочитаю сам быть этой рукой и не лизать чужую перчатку. Значит, мое властолюбие имеет свое *raison d'être* и базируется на иных основах, чем жажда славы, почестей и прочих жизненных благ, за которыми гонятся наши цари, капиталисты и вся прочая нация. Им нужны государства, а мне нужна мировая лаборатория, где я могу экспериментировать над людьми. И это совершенно новая перспектива планетарного размаха, смею вас уверить.

Было что-то в словах и спокойной уверенности Угланова, превращавшее его планы из бредовой фантазии в реальную возможность. Но против этой возможности восставали доводы рассудка, и Шталь сказал, стараясь не уступить:

— Вы всё время повторяете местоимение «я». Неужели вы верите, что можете осуществить эту ... эту ... я право затрудняюсь подходящим словом.

— Я вам помогу — эту сумасшедшую идею, хотите вы сказать? И вы правы постольку, поскольку один человек действительно не может перевернуть мир, даже если в его руках находится рычаг Архимеда. Но многих людей для этого тоже не надо, да таких много и не найдется. Есть у меня один приятель, некий грузин. По внешности узколобый азиат, неопрятный в чисто физическом отношении, к тому же малообразованный, грубый, упрямый, как горный осел. Да его у нас в партии многие так и зовут «ишаком». Но в нем скрывается одно драгоценное качество: он разгадал своим чутьем дикаря, что люди заслуживают только позолоченных цепей. И с ним можно договориться с полуслова. В его крепких мозгах раз навсегда засело убеждение, что марксизм, социализм и все прочие «измы» — такая же галиматья, как монархия или демократия. Но для вывески над нашей лабораторией всё это может пригодиться, и мы ...

— Почему же всё-таки социализм галиматья? — перебил Шталь.

— Прежде всего уже потому, что он

проповедует отказ от частной собственности во имя общего блага, а это в корне противоречит самой натуре человеческой. Следовательно необходимо насилие двойное и, так сказать, непрерывное. Во-первых, нужно отнять, при этих словах Угланов загнул свой тонкий мизинец, — во-вторых, нужно удержат отнятое в руках государства (за мизинцем согнулся следующий палец); в-третьих. . . Да тут и пальцев на руках нехватит, — впервые на его лице промелькнуло нечто вроде слабостью усмешки. — Или возьмем пресловутую теорию Маркса о добавочной ценности, которую кладут себе в карман капиталисты, продавая изделия рабочим. Вдумались ли вы глубоко, как можно обойтись без этой добавочной ценности? На какие средства прикажете содержать аппарат, строить новые заводы, обновлять инвентарь? Вопрос может быть лишь о том, попадет ли прибыль в руки капиталистов, или в руки государства, а пролетариат останется эксплуатируемым как в одном, так и в другом случае. Следовательно — опять насилие, чтобы подавить недовольство.

— И при таких взглядах вы продолжаете оставаться в партии большевиков? — сказал Шталь, начиная наконец испытывать давление в темени.

— Продолжаю и буду продолжать. И даже состою в комитете, и даже был на последней конференции в Таммерфорсе, и даже откровенно беседовал там со своим чудесным грузином, и даже оказал с ним некоторое давление на Ленина, хотя в Ленине и не совсем еще перебродила марксистская закваска, — начал перечислять Угланов, и его тусклый взгляд немного оживился.

— Как же зовут вашего чудесного грузина? — спросил Шталь.

— Вы становитесь любопытны, однако могу ответить и на этот вопрос. Его зовут Сосо Джугашвили, — не совсем благозвучное имя, что-то в нем такое сосущее, противное. Поэтому у него гордая партийная кличка. У нас его зовут Сталин. Кстати — вы тоже Сталин в переводе.

Разговор прервался. Шталь сосредоточенно думал, Угланов курил и наблюдал.

— Что же вы хотите от меня? — выдавил из себя Шталь.

— Я изучаю вас с первого дня вашего появления в Яшиме и нашел, что в вас есть подходящие задатки. Вы смелы и умеете молчать. Вы остро схватываете и сами любите власть, но у вас есть, конечно, и слабости. Вы еще бредете на поводу национализма и воображаете, что любите свой народ, хотя ваши латыши точно так же комплектуются из идиотов, как и всякая иная нация. Сверх того в вас не заглохла еще боязнь совершить подлость, которая бесспорно представляет собой самый распространенный, самый расплывчатый и вредный предрассудок. Согласитесь, что подлостью мы охотно зовем каждое явление, которое нам неприятно или непонятно. Например, мои взгляды вы наверно тоже готовы окрестить этим милым именем, хотя в них сказывается лишь железная логика неумолимого закона природы. Но как бы там ни было, я готов принять вас со всеми вашими недостатками, ибо я уже сказал: у нас мало настоящих людей, и вы мне нравитесь. Я надеюсь, что вы избавитесь от недостатков, а я редко заблуждаюсь в своих суждениях. Только одно еще должны вы помнить: от нас возврата нет, кто отстаёт — тот умирает.

Угланов смотрел не мигая, даже перестал курить.

— Как же вы были так неосторожны и открылись мне, непосвященному, ведь я могу еще и не согласиться? — спросил Шталь, впервые опуская взгляд.

— Мало ли что может случиться, почему считаться с худшим, — сказал Угланов, берясь за свой паёсигар. — Кроме того, смерть не делает различий между посвященными и непосвященными. Я, кажется, не рассказывал вам один поучительный случай, который произошел со мной в последнюю войну. Как вы знаете, я был тогда офицером и командовал ротой.

Стояли мы под Мукденом и готовились к бою — нас обходила армия Курокки. Мои солдатики навесили на шею иконки, присланные императрицей, надели чистые рубахи, вообще собирались предстать перед престолом Всевышнего, как белые голуби. А в ближайшем тылу, в Харбине, под самым носом командования, работала наша подпольная типография. И прислала мне целую кипу прокламаций, в которых доказывалось, как дважды два, что и царь, и Бог, и родина — сплошной обман. Спрашивается, как при подобном настроении роты раздать такую душеспасительную литературу. Думал я, думал и наконец сообразил. Призываю своего денщика, а он у меня был преданный такой хохол, хоть и малограмотный. А может быть, именно потому и преданный. Одним словом, приказал я ему привести в мою фанзу пять солдат и нарочно выбрать таких, которые смиренней. Выхожу я к ним и спрашиваю: Скажите, братцы, вы в Бога верите? — Так точно, ваше благородие, верим! — говорят. — А я вот не верю, — объясняю я им и достаю из чемодана иконку Богородицы, которой благословила меня перед походом моя мать (она как-то случайно застряла в моих вещах). Объяснил я, какая это иконка, мой денщик подтвердил. Затем вынимаю из кобуры наган — от Богородицы остается черная дыра. Солдатики, конечно, шарахнулись, но убежать от своего командира не смеют. — Вот видите, говорю, как просто. На вас иконки, я свою расстрелял, а в бой нам вместе идти. Посмотрим, кого возьмет японская пуля! — и отпустил их, а денщику приказал раскидать по палаткам прокламации.

Должен признаться, что на душе у меня стало как-то беспокойно, но риска особого не было. Нужно было выступать, некогда было доносить на меня, в бою никто не застрахован, а после боя можно было и сбежать. И что же вы думаете: из всех нас семи уцелели только я сам, мой денщик и еще один. Зато и эффект был чрезвычайный. Пошли слухи. На отступлении подкинутые денщиком листовки солдаты рвали друг у друга из рук, о царских иконках не хотели больше и слышать, на своих офицеров смотрели волками. Когда нас отвели в Хабаровск, то перебунтовался весь полк. Вот что значит в подходящую минуту ударить по воображению темного человека.

— Ну, а финал? — спросил Шталь.

— Финал такой, что беспорядки подавили и нарядили следствие. Мой денщик показал всю правду, тот уцелевший солдатик — тоже. И мне пришлось присягнуть, что они оба лгут, и сами заварили всю историю. На мое счастье нашлись свидетели, что денщик раздавал перед боем прокламации, и военно-полевой суд приговорил его к расстрелу. А я еще побывал в Таммерфорсе, и только потом меня случайно арестовали по другому делу, пришили попустительство, разжаловали и сослали.

— И об этом вы тоже рассказывали в Таммерфорсе? — спросил Шталь, поднимая глаза.

— Грузину — да, другим не успел, — уклончиво сказал Угланов. — Однако мы уклонились в сторону. Я хотел только показать вам пример того, как капризна бывает иногда судьба. Теперь я жду ответа, согласны ли вы стать одним из наших.

(Окончание следует)

Вольность Пушкина

«Хочу воспеть свободу миру»

Нет слова, чаще встречающегося в поэзии Пушкина, чем «вольность», «свобода»; и нет, кажется, слова более многозначного на языке человеческого. И вот поэзия Пушкина развертывает все его значения, дает пережить всю многоликость, неисчерпаемость и противоречивость свободы. Всё, что он отрицает и ненавидит, связано с неволей, насилием, принуждением, тиранией, самовластием. Всё, что он любит, ценит, чем восхищается, что привлекает его внимание, соединено со свободой, есть ее воплощение, ее символ или она сама: «море — свободная стихия»; «гроза — символ свободы»; ветер, орел, птичка, сердце девы и, наконец, сам поэт — всё это живет и дышит только свободой:

«Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона!
Таков поэт: как Аквилон —
Что хочет, то и носит он.»

Старый цыган говорит в ответ на ревнивую тиранию Алеко: «К чему? Вольнее птице младость; кто в силах удержать любовь?» Эта природная, стихийная, космическая свобода есть элемент души Пушкина. Его увлекает кочевая вольность цыган, и в ком из русских ее нет?

«Как вольность весел их ночлег...» С ними он «вольный житель мира». И грустно ему, когда уходят в даль «телеги мирные цыганов, смиренной вольности детей...»

Всё живое ищет свободы и страдает в окопах, как птица в клетке. Эту вольность

он чувствовал в себе и сочувствовал ей всюду, где ее встречал:

«В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны...»

За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!»

Та же свобода влечет и его самого: свобода полета, свобода странствий, свобода «увидеть чуждые страны». Всю жизнь мечтал он увидеть Италию, которая «свята для внуков Аполлона»: «ночей Италии златой я негой наслажусь на воле... Море манит его горизонтом свободы:

«По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?»

«Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей»...

Но если ему не суждено увидеть Италию или Париж, или «в Германии туманной вкусить учености плоды», то и в родной деревне его соблазняет «праздность вольная, подруга размышленья», «леность беспечная и свободная»; «я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы... Но истинный смысл свободного досуга заключается для него, конечно, в творчестве: «В глуши звучнее голос лирный, живее творческие

сны». . . Искусство для него мыслимо, конечно, не иначе, как «вольное искусство». Даже пировать с друзьями он любил лишь, если «свобода, мой кумир, за столом законодатель».

Но не одну только стихийную или индивидуальную творческую свободу воспевают Пушкин; он знает, что она нераздельно соединена со свободой гражданской и политической. В ней заключается истинная сила и слава народов; республиканский Рим возбуждает в нем уважение («Я сердцем римлянин, кипит в груди свобода!»). В ней же слава и честь царей: он воспекает Александра «словами истины, свободными, простыми» не за победы, а за то, что он несет народам Европы освобождение: «Ужель свободны мы? Ужели грозный пал?» Европа обнимает царя «освобожденною от рабских уз рукою». Даже величие Наполеона не в его самовласти, а в том, что «он миру вечную свободу из мракасылки завещал». . . Для себя самого, для России, для всего мира русский поэт ждет этой свободы: «Мы ждем с томленьем упования минуты вольности святой» (Чаадаеву). Ода «Вольность» выражает высший социальный, правовой и политический идеал поэта. Два мощных слова найдены для его запечатления:

«Народов вольность и покой».

Так писал он в молодые годы, а вот как к концу дней своих он выразил высшую ценность личной, индивидуальной жизни:

«На свете счастья нет,

Но есть покой и воля».

Вольность и покой — покой и воля, такова альфа и омега его поэзии. Поистине он мог сказать о своей лире: «О чем поет? Поет она свободу, не изменилась до конца!» В этом он видит тему зрелого своего творчества в противоположность поэзии юности, воспевавшей любовь, друзей, пиры, «Вакха и Киприду». Тоже вольность, но вольность юного произвола. Отныне он решает иное:

«Разбей изнеженную лиру. . .

Хочу воспеть свободу миру,

На тронах поразить порок.»

И он знает, пророчески слышит, что эта тема его поэзии будет звучать долго, будет звучать вечно, ибо она воспекает неисчерпаемую и вечную ценность свободы. Это она воздвигнет ему «памятник нерукотворный».

«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я
свободу

И милость к падшим призывал».

«В мой жестокий век» — странно и удивительно звучат эти слова в наш век, как бы не знающий ни «милости», ни «добрых чувств»! Иногда кажется, что исчезла в мире вообще самая воля к вольности. И закрадывается глубочайшее сомнение в человеке, вспоминаются слова Достоевского: «Слабосильны, бунтовщики, не могут вынести своей свободы, ищут пред кем преклониться. . .»

★

Но может ли человек окончательно отказаться от свободы, потерять самое чувство, самый инстинкт свободы? Нет, отвечает академик Павлов, ибо существует безусловный рефлекс, свойственный всему живому: пойманное животное, насекомое, даже растение делают все движения для освобождения, — тоже, конечно, и человек. Всё живое хочет «дышать свободно», т. е. на всякое препятствие каким-либо жизненным функциям отвечает безусловным рефлексом освобождения. Откуда же в таком случае потеря свободы, властвование и подчинение? Дело в том, что существует другой рефлекс, столь же безусловный, столь же фундаментальный для всего живого, но противоположный первому: это безусловный рефлекс власти, захвата, присвоения, овладения. Ребенок схватывает каждую вещь и тянет себе в рот; животное стремится догнать и схватить добычу; человек стремится захватить, присвоить и подчинить себе всё, что может, и прежде всего своего ближнего. Похоть господства есть одна из самых сильных страстей.

Эти два противоположных рефлекса или два врожденных инстинкта (Павлов говорит, что рефлекс и инстинкт — это то же самое) — безусловны в том смысле, что они даны по природе, даны от рождения, им не нужно учиться, они не созданы культурой, они элементарны и стихийны, как сама жизнь. Но культура может их воспитывать, облагораживать, сублимировать, превращать из стихийных сил в культурные ценности. Они противоположны и потому могут противоречить друг другу: конфликт власти и свободы есть постоянная тема личной жизни и жизни народов. Но они могут быть согласованы друг с другом, могут восполнять друг друга и служить друг другу (такова власть права и справедливости, защищающая свободу).

Здесь лежит целый узел проблем, отсюда разворачивается сложная диалектика свободы. Она присутствует во всем творчестве Пушкина. Трагизму власти и свободы посвящены главные его произведения: «Во-

рис Годунов», «Капитанская дочка», «История Пугачевского бунта», «Скупой рыцарь», «Полтава», «Андре Шенье», «Вольность». Пушкин знал до конца, в чем состоит этот трагизм, знал и то, в чем состоит его разрешение. Трагизм власти в том, что она может быть соединена с преступлением; разрешение трагизма состоит в оправдании власти, в том, что она может дать личности и народу «вольность и покой».

Трагический конфликт есть источник мудрости, ибо он пробуждает и очищает дух и требует решения. Но мудрость поэтов, мудрость Пушкина выражает себя иначе, нежели мудрость философов, ученых и политиков: не в понятиях и доказательствах, не в системах и учениях, не в идеологиях, — но в живых образах, в символах, в разных воплощениях прекрасного слова.

Воля к власти, так же, как и воля к востанию и освобождению, изображается у него в ряде живых людей. Он глубочайшим образом проник в психологию того рода людей, который был ему самому абсолютно противоположен: люди, жаждущие власти и требующие подчинения, живут не для чего иного, как «для житейского волнения, для корысти и для битв». Их крайнюю противоположность составляют люди подлинной и высшей свободы, такие, которые не ищут власти и не принимают подчинения. Они суть истинно «свободорожденные» и живут «для вдохновения, для звуков сладких и молитв». Из этих слов ясно, кто эти люди: это поэты, художники, ученые, мыслители, пророки, апостолы — люди творческого духа, люди «вдохновения» («поэты» — в греческом смысле этого слова, т. е. «творцы»). Пока они верны своему призванию, они не хотят ни царствовать, ни господствовать*). Пушкин указал их высокое предназначение: «божественный глагол» призывает их к свободному служению через красоту, истину, мудрость и пророческое слово («глаголом жги сердца людей»). Такие люди «не надеются на князей, на сынов человеческих...», «К ногам народного кумира не клонят гордой головы». К ним принадлежал сам Пушкин, к ним же принадлежал и Павлов.

Не следует забывать при этом, что рефлекс свободы врожден каждому человеку, хотя далеко не каждый достигает той высшей духовной свободы, которую Пушкин противопоставил «житейскому волнению».

Из этого не следует, что свобода понятна и ценна только каким-то аристократам духа: открытие и откровение есть удел немногих, но пользование открытиями есть удел всех, и для этого тоже нужна свобода. Свобода слова и мысли одинаково нужна как тем, кто имеет нечто сказать, так и тем, кому нужно нечто услышать. Способность воспринимать чужое творчество, питаться и восхищаться им, есть тоже активность свободного духа. Если Пушкин дорог нам всем, то это значит, что вольность Пушкина, «святая вольность», еще звучит в каждой душе. И тем более «любезен он народу», чем более, бесконечно более жесток наш век.

Удивительно, что изображая типы людей, ему противоположных, Пушкин угадал и определил их бессознательную сущность, их основной инстинкт, совершенно аналогично тому, как это делал в наши дни Павлов в своей рефлексологии, или, как это делает современный психоанализ. «Корысть и битвы» — это два проявления одного и того же врожденного инстинкта захвата, завоевания, покорения, присвоения. Война была источником рабства и ограбления. «Корысть и битвы» — «злато и булат» — вот две формы захвата власти. Две формы похоти господства:

«Всё мое, сказала злато;
Всё мое сказал булат.»

Богатство через власть или власть через богатство, — но всегда власть в конце концов. Скупой рыцарь говорит: «И музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, и добродетель, и бессонный труд...» «Мне всё послушно, я же — ничему... Я знаю мощь мою; с меня довольно сего сознания»...

Совершенно то же самое и с гораздо большим правом и основанием мог бы сказать современный вождь любого тоталитарного государства. При этом богатство через власть гораздо надежнее, нежели власть через богатство; последнее всегда может быть отнято властью.

Несмотря на упоение властью, скупой рыцарь однако несчастлив, так же несчастлив, как и настоящий властитель и царь — Борис Годунов: «Достиг я высшей власти, шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет моей душе...» Почему же счастья нет, мой господин? — Потому что власть соединена с преступлением, и существует «когтистый зверь, скребущий сердце — совесть: незванный гость, докучный собеседник...» Далеко не всякая власть оправдана и слишком часто она связана с преступлением («я свистну, и ко мне послушно, робко вползет окровавленное

*) Сократ сохранил эту верность, Платон — нет.

злодейство, и руку будет мне лизать, и в очи смотреть, в них знак моей читая воли»).

Удивительно то, что это остается верным для самых различных носителей власти: для Иоанна Грозного, не лишённого величия, но и преступного безумия; для Бориса Годунова, трезвого, умного и вовсе не жестокого. Даже лучшие наши монархи, как Екатерина Великая, Петр Великий, Александр «Благословенный» — связаны с преступлением (с мужеубийством, сыноубийством, отцеубийством). Принятие преступления есть ахиллесова пята власти. Трудно решить, можно ли совершенно уничтожить в человеке совесть (например, при помощи материалистического мирозерцания, при помощи атеизма), но одно несомненно: невозможно устранить тревогу и страх тиранов, вечную угрозу свержения власти. Этот страх защищается устрашением, т. е. террором. Отсюда возрастающая бдительность и тревога власти, ибо безусловный рефлекс свободы неуничтожим.

Таково трагическое противоречие власти; казалось бы, давно найдено его разрешение в современном праве и государстве, но нет, оно стоит перед нами во всей своей силе и сейчас, и снова требует разрешения. Вот почему высшая свобода духа отвергает тот демонический элемент, присущий власти, который составляет ее вечное искушение и который был отвергнут Богочеловеком: необходимость преклониться перед духом зла («Дам Тебе власть над всеми царствами мира, если падши поклонись мне, ибо она принадлежит мне, и я кому хочу, даю ее» — Евангелие от Луки, гл. 4). Вот почему тщетно возлагать надежду на сильную власть, как на единственное средство спасения: «не надейтесь на князи... в них бо нет спасения»; но еще меньше можно надеяться на пугачевых, на самозванцев, узурпаторов, революционных тиранов, «вождей» всякого рода, еще меньше можно называть их «гениями». Здесь должно прозвучать суровое слово поэта: «Гений и злодейство — две вещи несовместные!». Гений и вольность — две вещи нераздельные! «Вольному гению» нет места среди тиранов и рабов.

Вольный гений России, вольный гений Пушкина никому и никогда не покорялся: ни Александру, ни Николаю, ни Пугачеву, ни декабристам, ни Якобинцам, ни «общественному мнению», ни социальному закону, ни общей полезности. Лишь одному зову он покорен: «Божественному глаголу», лишь только он «до слуха чуткого коснется». Только свободное и сознательное принятие закона Высшей Правды и Красоты может укротить и преобразить непокорную бессознательную стихию творчества.

Но Пушкин изображает не только трагедию власти, но и трагедию свободы. Обе тесно связаны между собой. Свобода может переходить в произвол, в своеволие страстей, в разбойничью «вольницу», в народный бунт «бессмысленный и беспощадный» и наконец в тиранию. Тиранин отнимает всю свободу у всех и присваивает ее исключительно себе. Но такая «свобода» есть преступный произвол, уничтожающий подлинную свободу. «Ты для себя лишь хочешь воли», — говорит старый цыган тираническому Алеко. Тирания ревности делает Алеко убийцей, и вот, что говорит ему истинная «вольность»:

«Мы дики; нет у нас законов.
Мы не терзаем, не казим —
Не нужно крови нам и стонов, —
Но жить с убийцей не хотим»...

В истории народов и царей дело не решалось с такой мудрой простотой.

Трагедия власти состоит в том, что она пробуждает протест революционной свободы; трагедия революционной свободы состоит в том, что она пробуждает врожденный инстинкт власти в самих освободителях.

Свержение власти превращается в присвоение власти, и притом наихудшей. Трагедия власти и свободы сводится к одной и той же теме тирании и ее свержения:

«Питомцы ветреной судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внимлите,
Восстаньте, падшие рабы!»

Начало трагедии дано в оде «Вольность» (1817 г.), она изображает легальную тиранию и ее свержение; дальнейшее развитие трагедии дано в «Андре Шенье» (1825 г.), где появляется другая тирания, свергающая первую, тирания революционная. Вечный протест вольности против неволи выражен здесь в таких словах, которые применимы ко всякой тирании, ибо выражают самое ее существо:

«Увы, куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде несправедная власть

Воссела — рабства грозный гений
И славы роковая страсть.»

Ко всякому тирану на земле, к бывшему и будущему, одинаково могут быть отнесены пушкинские слова пророческого гнева:

«Читают на твоём челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле».

Пушкин так же, как Толстой и Достоевский, понимал, что злая власть, тирания есть предел зла на земле, царство «Великого Инквизитора».

Первое трагическое столкновение власти и революционной свободы, первое восстание свободы в истории совершается против патриархальной, легальной тирании.

Поразительно описание жуткой картины убийства императора Павла в этом жутком и призрачном городе:

«Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает

Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец —
И слышит Клии страшный глас
За сими страшными стенами,
Калигулы последний час
Он видит живо пред очами...

Но вот что удивительно: несмотря на всё отвращение и ненависть к тирану, поэт с безошибочным моральным чутьем и свободой морального суждения видит всю отвратительность предательского царевубийства:

«Он видит — в лентах и звездах
Вином и злобой упоенны
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата открыты в тьме ночной
Рукой предательства наемной...

О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись нянчары!..
Гадут бесславные удары..
Погиб увенчанный злодей.»

Да, «злодей», но всё же убийство остается подпольным, предательским, зверским, бесславным — если вспомнить всё, как было, то не радость ощущаешь, а «стыд и ужас». Иначе и не может чувствовать тот, кто при всей вольности своей был христианином.

Но вот другая сцена царевубийства встает в воображении поэта: казнь Людовика XVI. Этого доброго семьянина, бесхарактерного и тяжелого на подъем, уж никак нельзя назвать тираном и злодеем; трудно найти о нем более верное слово, чем то, которое здесь стоит:

«О мученик ошибок славных,
За предков, в шуме бурь недавних
Сложивший царскую главу».

Вдумайтесь в эти слова, и пред вами встанет другая тень другого «мученика

ошибок», идущих по преемственности от предков: тень последнего русского императора, по своему характеру столь похожего на последнего предреволюционного французского короля. Но здесь отвращение к царевубийству становится у поэта еще более глубоким и обоснованным: это не простое отвращение к убийству или к казни, это осуждение преступления и беззакония, который совершил народ и избранные им тираны, «убийца с палачами»:

«Восходит в смерти Людовик
В виду безмолвного потомства.
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе вероломства.
Молчит закон — народ молчит,
Падет преступная секира..
И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит».

Таково гневное осуждение казни Людовика. Вот что значит настоящая свобода морального суждения, не признающая никаких лозунгов толпы, никакой тирании революционного комплекса. Для революционной массы и ее вождей всякого короля и императора полагается считать «деспотом, пирующим в роскошном дворце».

Я не знаю более свободного ума в России, нежели Пушкин. Вот еще пример: он сочувствует декабристам, как борцам за свободу, после их осуждения он их жалеет и утешает, он пишет стихотворение «Во глубине сибирских руд...»; но его пронзительный насмешливый ум, его безошибочное зрение художника не могло не видеть всей бестолковщины этого первого интеллигентски-дворянского путча за «Константина и конституцию». Пушкин не знал страха вообще. Он был достаточно благороден и смел, чтобы сказать Николаю: «был бы с ними», но и достаточно умен, чтобы понять, что из этого ничего не могло выйти. Обо всем этом он мог говорить с Николаем I и так говорить, что Николай назвал его «самым умным человеком в России».

*

Конфликт власти и свободы составляет центральную тему зрелого драматического творчества Пушкина. Трагедия свободы есть вечная судьба человечества и вечная тема великих трагиков и поэтов от Эсхила до Шекспира и от Шекспира до Гёте, Шиллера и нашего Пушкина*)

Первым актом этой трагедии является патриархальная тирания легального самовластия. Вторым актом является свер-

*) «Скованный Прометей», «Юлий Цезарь», «Кориолан», «Эгмонт», «Вильгельм Тель», «Дон Карлос».

жение тирании во имя революционной свободы. Третьим актом будет революционный террор и возникновение революционной тирании. Четвертый акт: свержение революционной тирании и торжество правовой свободы.

Для изображения этого постоянно повторяющегося ритма Пушкин берет французскую революцию как символ, как прообраз. И действительно она осталась прообразом для философов, поэтов и политиков, осталась грозным символом и моральной проблемой. Не историю французской революции он изображает, конечно, а судьбу многих грядущих революций. С «Андре Шенье» он отождествляет самого себя, обращаясь к той же самой богине свободы:

«Открой мне благородный след
Того возвышенного галла,
Кому сама средь славных бед
Ты гимны смелые внушала».

Патриархальная монархия есть детство народов. Власть «царя батюшки» есть продолжение отцовской власти, *patria potestas*. Но неизбежно столкновение сыновней свободы с отцовским самовластием, если только отец не освобождает сына добровольно*). Конфликт власти и свободы, подчинения и восстания — неизбежен и в личной и в социальной жизни. Альберт восстает против злой власти своего отца («Скупой рыцарь»). Но и любящая власть может переживаться как тирания. «Нет тирании сильнее, чем тирания родительской любви», — сказал Шиллер. Вот почему никакая патриархальная идиллия, никакой «просвещенный абсолютизм» (а действительно просвещенным он бывает весьма редко) не может уничтожить пробуждения свободы. Обычно она появляется в ореоле героизма и идеализма и содержит в себе благородный протест против преступлений и ошибок власти. Революция переживается как торжество, как радость освобождения. Это ее романтический, «жирондистский» момент. Так начинается второй акт исторической драмы:

«Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство;
И мы воскликнули: «Блаженство!»

Но это блаженство длится лишь один момент. Романтика и риторика революционной свободы сменяются отвратительной реальностью: священная свобода исчезает «в порывах буйной слепоты, в презренном

бешенстве народа», скрывается в «кровавой пелене», в бунте «бессмысленном и беспощадном». Пушкин и Шиллер оба — поэты революционной свободы, одинаково изображают это «презренное бешенство» (см. «Песнь о колоколе» Шиллера). Что здесь появляется некая «бесовская одержимость», в этом не сомневались ни Достоевский, ни Толстой. И сколько раз еще она появлялась и будет появляться во всякого рода «освобождениях»!

Но бунт и хаос произвола проходит быстро, как стихийное бедствие. Начинается новое действие драмы, еще более мрачное и как бы безнадежное. «Слабосильные бунтовщики не могут вынести своей свободы и ищут пред кем преклониться» (Достоевский). Возникает «Совет народных комиссаров» и «Революционный трибунал» (термины французской революции): «Совет правителей бесславных, сих палачей самодержавных...»

Но эти «советы» мало с кем советуются. Не существует никакой диктатуры класса или партии, всякая диктатура в конце концов единолична. Всякая свобода, даже внутри правящей яacobинской партии, уничтожена:

«Презренный, мрачный и кровавый,
Над трупом вольности безглавой
Палач уродливый возник —
Апостол гибели, усталому Аиду
Перстом он жертвы назначал...»

Здесь трагизм свободы достигает своего высшего напряжения: всякая «вольность» умерла, воля к сопротивлению обезглавлена. Вот какими словами вольный гений нашего Пушкина выражает ужас и горе второй тирании:

«О горе! О безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! О позор!»

Такова удивительная диалектика революции, таков ее повторяющийся ритм: революция уничтожает ту самую свободу, ради которой она возникла, и рождает тиранию, стремящуюся сохранить самое себя, т. е. снова «консерватизм» и реакцию, всего более боящуюся новой революции и нового восстания свободы. Нагромождение грехов и ошибок легальной власти отменяется нагромождением злодеяний незаконной тирании.

И все же идеал свободы не может быть уничтожен. Никогда «вольность» Пушкина не вступит на путь чистой реакции, на путь «Великого Инквизитора», на путь Победоносцева; никогда он не скажет зло-

*) «Увижу ль я, друзья, народ неугнетённый
И рабство, падшее по манию царя?..»

Только свободное правовое государство оправдывает власть, дает ей право на существование (иначе она «от дьявола»). Пушкин говорит царям и властителям:

«Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой».

Иначе власть будет непрестанно воздвигаться и свергаться. Самодержавие византийское и русское знает смену отцеубийств и сыноубийств. Некто назвал такой государственный строй «монархией, ограниченной царевубийством».

«И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды».

Но мудрость Пушкина идет глубже: закон, определяющий строй жизни в государстве, закон, установленный законодательной властью и соблюдаемый властью, не есть тем самым абсолютный и вечный закон. Пока он не отменен, он должен соблюдаться в качестве «позитивного права», «позитивного закона» или декрета, но он подлежит оценке с точки зрения высшей правды и справедливости, которая может требовать его отмены или изменения. Например, крепостное право с высшей точки зрения есть бесправие, и закон, устанавливающий рабство, с точки зрения высшего закона правды и справедливости есть беззаконие.

Что же такое этот «высший закон», стоящий над правом, государством, народом и властью? С религиозной точки зрения это высший божественный закон правды и справедливости, с точки зрения философии права — это высшая идея естественного права или справедливого права. Она ставит перед правовым государством вечную задачу совершенствования, искания большей гармонии и справедливости. С поразительной кратко-

стью и точностью Пушкин формулирует эту высшую правду:

«Владыки! . .
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас закон!»

Никакой позитивный закон, никакой кодекс законов — не вечен; поэтому «вечный закон», стоящий над народами и властью, может означать только вечную идею, вечную задачу справедливого права.

*

Пушкин принадлежал к тому типу людей, которые не желают ни управлять ни быть управляемыми, свободны и от похоти господства и от похоти лакейства. Вольность Пушкина есть наша вольность, а наша вольность есть всемирная вольность. Поэт, как и романист, ставит трагические проблемы, но не решает их в смысле научного или философского решения. Не дело поэта создавать политические доктрины. Но интуицию высших принципов он имеет; «божественный глагол» он слышит и что свято и что презренно — он чувствует и передает свое чувство со стихийной силой, «глаголом жжет сердца людей».

Поэтому о Пушкине должны помнить, думать и писать не одни только пушкинисты. Пушкинисты исследуют Пушкина исторически: его характер, его жизнь, его среду, его поэтическое хозяйство. Всё это бесконечно ценно, но всё это смотрит в прошлое, тогда как сам Пушкин смотрит в будущее и даже в вечное. Если верно, что «поэты — по слову Платона — суть учителя мудрости», то пророческая мудрость есть высший дар поэта. Ею Пушкин обладал и ее ценил выше всего:

«Поэт казнит, поэт венчает;
Злодеев громом вечных стрел
В потомстве дальнем поражает».

Творческий облик Андре Жида

(† 21. II. 1951)

(Из серии «Послевоенные нобелевские лауреаты»)

«Не понимайте, пожалуйста,
так быстро».

(Слова Баралю из «Подземелий
Ватикана»).

1.

Уже было кем-то замечено, что знаменитые люди наших дней живут дольше, чем их предшественники в 19-ом веке, несмотря на то, что, казалось бы, наш век никак не способствует долгой жизни: лишения, «перемещения», преследования, наконец, просто физическое уничтожение сейчас не такая редкость, как сто лет назад. Тем не менее, не один Бернард Шоу (который недавно умер в возрасте 93-х лет) может служить образцом долголетия. Томасу Манну — 75 лет; около года тому назад Рихард Штраус умер, достигнув 84-х лет; Сибелиус весьма бодр, несмотря на свои 85 лет; Клоделю должно быть около 82-х; Пикассо должно исполниться 70 в будущем году, а Матиссу уже 81; наконец, Вунин недавно праздновал свой 80-летний юбилей. Было также мнение, что ранняя смерть (даже насильственная) никогда не обрывает творческий путь в его середине, что и Пушкин и Лермонтов (и Моцарт и Рафаэль) перед смертью находились в завершительной стадии своего творческого развития и что каждому художнику дается ровно столько лет, сколько нужно. Если придерживаться этой точки зрения, то современникам наверно неспроста дарится такой большой жизненный путь — нужно немало времени, чтобы вжиться и пережить наше сложное, запутанное, иногда удивительно невыносимое, а подчас удивительно интересное время.

Андре Жиду в этом году должно было исполниться 82 года. Он был не только одним из так называемых Grand Old Men

современности, но и, по мнению некоторых, величайшим из живущих писателей. Для многих русских имя Жида обычно связано с его знаменитой поездкой в СССР. Книга, описывающая эту поездку, до сих пор не переведена на русский, но о ее значении можно судить хотя бы по тому, что при упоминании имени Жида обычная ругань советской прессы начинает походить на истерику. Те, кто читал повести или романы Жида в переводе, как правило, чем-то неудовлетворены или смущены и выражают свое мнение с опаской и неуверенно. Те, кому пришлось читать части его «Дневника» или его статьи и очерки, обычно считают эту часть его творчества самой значительной. Даже из этих отрывочных и неопределенных мнений можно заключить, что Жид как личность затмевает Жида-писателя и что в истории человеческого духа он займет более видное место, чем в истории литературы. Он скорее станет в одном ряду (здесь говорится о месте, а не о величии) с Вольтером, Толстым и Шоу — людьми влиявшими (или пытавшимися влиять) на свою эпоху, — чем с Шекспиром, Пушкиным и Прустом, влияние которых шло, главным образом, в пределах литературы.

Жид сам сознавался, что ему «в невероятной степени недостает гения» (Д. 1928)*), тем не менее, несколько его произведений заслуживают наименования «шедевр»

*) Сокращение «Д» или «Дн.» повсюду значит «Дневник».

(особенно «Блудный сын», «Тесные врата» и «Пасторальная симфония»). Но подход к нему труден даже через произведения. Его творчество подстать его личности — движущейся, ускользающей, многопланной. Даже такого многогранного художника, как Гете, можно назвать автором «Фауста»; Жида не назовешь автором такого-то произведения. Не преувеличивая можно сказать, что, для того чтобы разобраться в его творчестве, надо прочесть почти всё, написанное им. Одно не похоже у него на другое; одно объясняет и дополняет другое, и только все это вместе складывается во что-то целостное. Поэтому приходится быть осторожным в суждениях; Жид дает высказаться как своему ангелу, так и своему демону. Он стремится вывить всего себя, не оставив неосвещенным ни одного уголка души и ни одного закоулка интеллекта.

Повидимому, легче всего Жиду себя выразить в диалоге (его «Блудный сын», написанный в форме четырех диалогов, пожалуй, наиболее совершенная из его вещей). Диалог, если он и не типичен для русской литературы, всё же не является для нее новинкой. Вспомним хотя бы Достоевского. Но у Жида всё это осложняется его классицизмом. Он — ученик Гёте и Расина, и там, где мы привыкли к жирно-подчеркнутому, к сочному мазку, — он предпочитает строгую линию, тонкий штрих. Жид не автор для ленивых и менее, чем кто-либо другой, он разжевывает и «объясняет». Он рассчитывает на такое же творческое усилие со стороны читателя (на «читательское сотрудничество», как он его называет).

Жид — один из предвестников современного духовного кризиса, один из тех, кто сделал литературу нашего времени тем, чем она является, и поэтому в нём есть чем восхищаться, но есть за что его и винить, может быть; при всем этом трудно найти человека, духовно более честного, человека, который бы так же как он стремился не обмануть ни себя, ни других. За свою долгую жизнь он научился сперва не брать ничего на веру, а потом и распознавать фальшь с первого взгляда, что, кстати, помогло ему сравнительно быстро разобраться в настоящем положении вещей во время путешествия по СССР.

Вряд ли кто другой вытерпел за свою карьеру столько нападок и равнодушия. Жида называли «развратителем юношества», «еретиком», даже виновником поражения Франции в последней войне. Если даже отнять коммунистическую травлю, нападок не убавится намного. Обычно при этом Жид безжалостно искажался. Так как он считал, например, что никакая нор-

ма, никакой закон и никакая условность не должны задерживать человека на его пути к самому себе, — его объявили аморальным. Он сам с иронией замечает: «Их нападки сделали меня в три месяца более знаменитым, чем все мои книги за тридцать лет». Равнодушия тоже было достаточно. «Земные явства» по выходе были отмечены только двумя рецензиями (написанными его друзьями), а через двенадцать лет юношество зачитывалось этой книгой. Одна из книг Жида за десять лет была продана только в количестве десяти экземпляров, а перед второй мировой войной читатель уже прислушивался буквально к каждому слову Жида. Тем не менее, он никогда не пытался оказывать прямого влияния; постоянный подтекст всего, что он писал, был: найди себя и живи по своему закону. Он никогда не давал дешевого выхода, а исходил из человека и был подозрителен к любой «системе» — национальной, социальной, религиозной или метафизической. Поэтому Жид никогда и не рассчитывал на немедленный успех. В «Дневнике» (1921) он пишет: «Я бы давно перестал писать, если бы не было у меня уверенности, что впоследствии читатели откроют в моих произведениях то, чего не хотят видеть сегодня, хотя оно и вложено в них».

В самом начале литературной карьеры Жид уже отрезал себе путь к почестям. Уже после «Подземелий Ватикана» ему было трудно рассчитывать на место во Французской Академии; после «Коридона» это стало невозможным. Но даже от предлагаемых орденов и почетных мест он отказывался, считая, что принятием свяжет себя. «Мои убеждения начинают мне мешать каждый раз, как я начинаю получать от них какую-нибудь выгоду», — говорит он (Д. 1941). Но из тех же убеждений Жид способен на большую смелость. Отказом от коммунизма в свое время он рисковал и своей репутацией, и своими отношениями со многими друзьями. До этого, выпуская в свет свое «Конго», он шел на разрыв с правительством и армией. Напротив, там, где другие быстро и легко составляли себе имя, он предпочитал заниматься скромным и незаметным делом. В войну 1914 года, когда многие писатели опубликовали многочисленные патристические декларации, Жид с утра до ночи помогал беженцам из районов военных действий.

Однако в 1946 году Андре Жид получил нобелевскую премию. Для многих это явилось неожиданностью. Премия была дана Жиду «за его многочисленные и художественно значительные произведения, в которых он разрабатывает человеческие проб-

лемы с бесстрашной любовью к правде и психологической проникновенностью». Чтобы оценить справедливость этой формулировки, следует обратиться к самим произведениям.

*

Для этого следует перенестись на шестьдесят лет назад. Можно ручаться, что самые верные читатели Жиды, знакомые с его многочисленными фотографиями, не узнали бы его тогда, в 1891 г. Он ходил в черном плаще, носил бороду и в руке постоянно держал библию. Всё было выдержано в духе символистского дендизма тех лет. В таком виде он посещал знаменитые вторники у Стефана Малларме на рю де Ром, где бывали Метерлинк, Роден и Гоген, куда наезжали из Италии — легендарный д'Аннунцио, из Англии экстравагантный Уистлер, из Германии — высокомерный Штефан Георге. Жид печатался в журналах «для немногих», которые обыкновенно прекращали свое существование после второго или третьего номера. В том году он опубликовал свое первое произведение «Тетради Андре Вальтера», где неслучайно совпадение имен автора и героя: книга автобиографична. Это нечто среднее между поэзией и прозой, гамлетовско-вертеровские переживания в преувеличенно символистской манере. Книгу никто не покупал. Жид впоследствии признавал за «Тетрадиями» лишь документальное значение и считал их только свидетельством собственной романтической запутанности и юношеского мистицизма в те годы. Но уже здесь отражен тот конфликт между аскетизмом и стремлением к наслаждению жизнью, которому было долго суждено терзать Жиду. В то время он был раздираем надвое внутренней борьбой, тщетно стараясь примирить унаследованный от отца протестантский пуританизм и тягу к красоте жизни. Может быть, это было одной из причин болезни, которую он принял за туберкулез. Тогда он поехал в Африку, в деревушке на границе Сахары выздоровел и впервые уже не в интеллектуальном плане, а всеми чувствами ощутил полноту жизни.

Результатом явилась книга «Земные яства», которую автор опубликовал немного позже, в 1897 г., и которую опять никто не заметил. Но «книги имеют свою судьбу», и через двадцать лет этот дифирамб наслаждению стал настольной книгой французской молодежи, а автору принес репутацию «совратителя молодежи». В этой книге автор передает юноше Натаназло жизненную мудрость, преподанную ему самому когда-то неким Меналко. «Земные яв-

ства» не напрасно называли французским «Заратустрой». По духу и даже по ритму всё это чистый Ницше. Здесь и презрение к аскетизму, и утверждение превосходства биологических ценностей над этическими, и вызов христианской морали, и переоценка ценностей. Нет лишь ницшианской «воли к власти» и сверхчеловека. Эта книга — учебник бунта и самоосвобождения, гимн свободе. Жид несет «новую мораль», в основе которой лежит желание: чем больше желать, тем лучше. В жизни есть большая радость, и к ней нужно стремиться; Бог в самой жизни, а не над нею. Нельзя делать разницы между Богом и собственным счастьем. Подчас это напоминает Уота Уитмэна («в жизни всё чудо»), и по всей книге раздается крик человека, долго находившегося взаперти и наконец выпрвавшегося на свободу. Но под юношеским ницшианством слышится и более серьезное: — будущий моралист, настойчиво повторяющий в каждом произведении: нужно быть самим собой, найди себя, не бери готового из чужих рук. Ценность человека определяется его внутренним беспокойством — не заглушай его. Несмотря на всю опасность проповеди безграничной свободы, нельзя забывать одной черты произведений Жиды, о которой он сам говорит в «Дневнике» (1928): «Мое творчество можно сравнить с копьем Ахиллеса, которое своим вторым прикосновением исцеляло тех, кого ранило первым. Если моя книга вас смущает, перечитайте ее. Под видимым ядом у меня всегда припасено противоядие». Особенно сильно в книге звучит тема необходимости разрыва с традицией и поисков своего: «Будет хорошо, если тебе захочется бросить всё: уйти из родного города, от семьи, от своей комнаты, от собственной мысли». Но главное сказано в конце: «Брось мою книгу. Не довольствуйся ею. Другой не найдет за тебя твою правду. Скажи себе, что есть лишь одно отношение к жизни. Найди его».

В 1902 г. вышла повесть Жиды «Имморалист», которую некоторые считают одним из его шедевров. Это поворот в творчестве Жиды. В ней нет ни распылчатой образности «Тетрадей», ни немного претенциозных наставлений «Яств» — это настоящая проза, в традиции Флобера, что, кстати, опять привело к некоторому неумеху в то эзотеричное время. Герой «Имморалиста», молодой ученый Мишель, едет с женой в Северную Африку. По дороге у него открывается туберкулез в тяжелой форме. Он поселяется в маленьком арабском городке, где начинает медленно выздоравливать, благодаря самоотверженным заботам своей жены Марселины. Но главная

причина его выздоровления — внезапно появившаяся страстная жажда жизни. Открытие жизни превращает Мишеля из кабинетного ученого в адепта чувственного и опрокидывает все его представления о моральных ценностях. Он теперь презирает все условности и чтит в жизни лишь чистую энергию, лишь силу, здоровье и свободу. Всё это приводит к конфликту с жертвенно — серафической женой. В одной из наиболее известных сцен повести герой видит в зеркале, как арабский мальчишка крадет за его спиной ножницы из корзинки, и эта кража без нужды, воровство ради воровства, вместо того, чтобы возмутить Мишеля, наполняет его восхищением. По возвращении в свое поместье он было принимается за ведение хозяйства, но скоро начинает вести дружбу с наиболее испорченными из крестьян; ему даже нравится, когда его обкрадывают и обманывают: порок начинает казаться ему самым естественным проявлением жизни. В Париже он производит переворот в своих научных кругах, отказавшись от исторического метода; отныне его привлекает в истории лишь проявление силы. В этом его поддерживает Меналк, последовательный имморалист, проповедующий голое наслаждение в своем учении о неповторимых минутах. «Я хочу быть только естественным, — говорит он, — и если в действительности я нахожу удовлетворение, это для меня верный признак того, что я должен был это сделать». Местами в его высказываниях звучат любимые идеи самого Жид: «Большинство считает, что сдержанностью и дисциплиной они могут извлечь из себя лучшее. Поэтому они живут в состоянии психической искаженности. Больше всего каждый из них боится быть похожим на самого себя. Они берут образец и имитируют его. Они даже не выбирают этого образца, а просто берут уже кем-то выбранный. «После сближения с Меналком Мишель уже больше не в силах выносить размеренной семейной жизни. Он перестает интересоваться домом. Марселина в свою очередь заболевает, но Мишель не может следовать ее былому примеру, идеи жертвенности ему ненавистны; в нем борются друг с другом любовь к жене и его новое ощущение жизни. Жена умирает во время путешествия, главным образом, от недостатка заботы и ухода со стороны Мишеля, уверенного, что в этой жизни нет места слабому. Оставшись один, Мишель бросается в водоворот чувственных наслаждений, но чувствует себя одиноким, внутренне раздавленным и опустошенным.

Прием повести был типичен. Пока ниц-

шеанский герой давался в романтических тонах, его просто обходили или же не при-⁴давали большого значения; когда же он получил плоть и кровь, его встретили воплем возмущения, да еще, по любимой читательской привычке, отождествили с автором. Это только доказывает, как в сущности неглубоко широкий читатель воспринимает стиль, по его словам, уважаемую им классику. Ведь никто не возмущается Фаустом и Гамлетом за их жестокость, — первого к Гретхен, второго к Офелии, — главным образом, потому что герои носят средневековые костюмы, потому что они далеко от читателя, и в прямом и в переносном смысле, — и читатель, вместо того, чтобы вжиться в них и в автора, предпочитает лишь беспредметно восхищаться признанным гением (как раз то, чего не выносит Жид). При этом забывают, что как Шекспир — одновременно и Гамлет и Офелия, так и Жид — одновременно и Мишель и Марселина. Конечно, он разделяет многие идеи Мишеля (только не все и не всегда в той же форме), но повесть не о том, разделяет ли он их или нет. Жид — художник, он только показывает, предоставляя судить другим. Для него творчество, как и для Гете, освобождение (*Dichten heißt sich befreien*). Кроме того ему лично глубоко чужда «партийность», что он сам оговаривает в предисловии: «Я не собирался делать из этой книги ни обвинительного акта, ни апологетики, и не хотел судить... Восторгается Мишель или нет, «проблема» всё равно останется, и автор не считает само собой разумеющимися ни торжество, ни поражение». Главное же, о чем забывает читатель в погоне за дорогой его сердцу автобиографичностью, это постоянный метод «противоядия» у Жид. «Освободившийся» от пут культуры, семьи и морали Мишель кончает душевным инвалидом. Осуществления идеала «Земных явств», таким образом, не получилось. Его и не могло получиться, как только Жид вступил на реалистический путь. Ключ к «Имморалисту» — фраза Мишеля: «Знать, как освободиться — ничего не значит; главное — знать, что делать со своей свободой». Повесть эта не только о бунте духа против морали самопожертвования и норм поведения, не только о попытке построить жизнь по ту сторону добра и зла, но и о невозможности абсолютной свободы, о том, что освободить себя легко, но быть свободным — трудно. Жид никогда не ходит по легким тропам, и поэтому, прежде чем вывести о его произведении быстрое суждение, всегда бывает полезно перечитать его еще раз в поисках «противоядия».

Повесть, как уже было сказано, большого успеха не имела, и критика стала интересоваться ею позже. В то время, около 1905 г., Жида ценили за его мелкие иронические вещи, полные игры мысли и сатиры — как «Болота», «Путешествие Уриана» и «Плохо прикованный Прометей». Его считали «Ницше мягкой повадки». Но нельзя забывать, что в ницшеанстве Жида много иронии в широком смысле, которая часто дает совершенно неожиданный ракурс для толкования вещи.

Следующую повесть «Тесные врата» Жид выпустил в 1909 г. Она имела успех, но обескуражила критиков, которые не ожидали такой, казалось бы, совсем противоположной «Имморалисту» вещи. Герои повести — Жером и Алисса — с детства любят друг друга; они жених и невеста. Еще детьми, после проповеди, они решают взять за жизненную основу евангельские слова о «тесных вратах». Жером — недалекий и довольно наивный человек, но существо честное и в высшей степени нормальное; он относится к жизни просто и без затей. Алисса же для него — terra incognita. Ей от природы свойственно стремление к совершенству; кроме того, пережитое ею в детстве бегство матери с любовником толкнуло к преувеличенной добродетельности. Считая, что это необходимо ради их же любви, она ставит и себе и обескураженному Жерому тысячи препятствий на пути к осуществлению их мечты. Наконец она окончательно решает посвятить себя Богу, пожертвовав своей любовью и счастьем Жерома. В конце повести она уходит из дому и умирает в госпитале для бедных, полная сомнений и внутренней борьбы.

Эту повесть тоже не нужно «понимать быстро». Возможно, что начальным замыслом автора и было — высмеять ненужную жертвенность, но в процессе творчества замысел чрезвычайно расширился. У Жида самого много общего с героиней — вспомним хотя бы его юношеское стремление к аскезе. Он сам признается в «Дневнике» (1930), что «приписал» свои ницшеанские идеи герою «Имморалиста», а христианские Алиссе из «Тесных врат». Жид по-своему любит Алиссу, и есть ницшеанство в ее стремлении идти своей, необычной тропой к высшей добродетели, презирая простое маленькое счастье.

— А разве ты недостаточно силен, чтобы идти одному? — спрашивает она Жерома. — Только поодиночке мы можем достичь Бога».

— «Я часто думаю о том, какой могла бы быть наша совместная жизнь, — говорит она жениху. — Если она не бу-

дет совершенной, я не смогу любить тебя». В своем дневнике она пишет: «О Господи, избави меня от легко достижимого счастья». Здешня, условная любовь не удовлетворяет ее. Она говорит Жерому: «О, если б сразу силой любви нам перенести наши души за «пределы любви». Ее идеал оказывается тоже «по ту сторону добра и зла». Наконец в словах: «Я представляю себе небесное блаженство не как слияние с Богом, а как бесконечное приближение к Нему» — говорит сам Жид. Но тот же Жид говорит устами Жерома: «Я начинал ощущать ненависть к добродетели», давая уже знакомое неоплаченное решение темы.

С художественной точки зрения «Тесные врата», может быть, лучшее произведение Жида. Здесь нет ничего лишнего. Язык точен и скуп. Всё сведено к главной линии действия; второстепенные персонажи поданы со снисходительной небрежностью. Расина к наперсникам в его трагедиях. Алисса принадлежит к высшим достижениям автора. Она дана в постепенном, немолимо нарастающем развитии. Страстная любовь к жениху сменяется любованием собственной жертвенности, и этот переход почти незаметен. Лучшее место повести — ее предсмертный дневник, документ ее борьбы, где взрывы любви к жениху чередуются с сомнениями в правильности своего выбора и почти кощунственными мыслями. Жид избегает легкого решения ее образа и не делает Алиссу в последней стадии ни истеричной, ни уродливой.

«Тесные врата» — почти точный pendant к «Имморалисту». Жид показывает здесь иную крайность, — отказ от этого мира, превращающийся в конечном счете в особую форму эгоизма. Мишель и Алисса — и близки, и противоположны. Оба отказываются от обычных, принятых всеми ценностей и ищут чего-то лучшего, но при непосредственном осуществлении своего идеала приходят к худшему. Мишель идет до конца по пути того, что называют пороком, и становится фактически убийцей собственной жены. Алисса идет до конца по пути того, что называют добродетелью и становится фактически самоубийцей. И тот и другой, подходя с разных сторон, достигают одного: безсердечья к близкому человеку и уничтожения счастья, как своего, так и чужого. Близость этих двух повестей долго ускользала от критики, и Жид писал в 1909 г. в «Дневнике»: «Им трудно признать, что эти разные книги сосуществовали и до сих пор сосуществуют во мне. Они лишь на бумаге следуют одна за другой, потому что

нельзя же было написать их сразу. Какую бы книгу я ни писал, я не отдаюсь ей вполне, и тем временем где-то глубоко во мне образуется другая тема, которая будет упорно занимать меня впоследствии».

Тем, кому было трудно подойти к «Иммо-ралисту» и «Тесным вратам», следующая повесть Жида «Подземелья Ватикана» принесла новые и совершенно неожиданные заботы. Эта вещь может привести в хорошее настроение любителя тонких шуток; на туповатого блюстителя нравственности она производит действие красного лоскута на быка; но для тугодумов, которые повсюду ищут глубокий смысл, она будет просто камнем преткновения. Обычно на «Подземелье» или нападают с выпученными глазами или смущенно пробуют защищать. И те, и другие забывают, что автор дал этой повести подзаголовок *sotie*, что означает род средневекового фарса. Да и как иначе можно воспринимать эту историю, полную невероятных ситуаций, персонажей и событий? Шайка международных мошенников вымогает у ревностных, но глуповатых провинциалов — католиков огромные суммы на спасение палы, который будто бы украден и спрятан масонами, в то же время как на его место посажен лже-папа, причем всё это неизвестно почти никому в мире. По этой сюжетной канве шагает целая вереница действующих лиц: наивный Флериссуар, который едет в Рим освободить папу, становится игрушкой в руках шайки и наконец совсем нелепо погибает, вытолкнутый из поезда незнакомцем; тартюфообразный писатель Баралю, не чуждый, однако, припадков свободомыслия, творец скверных, но полных лучших намерений, романов и человек без собственного «я». (Отец говорит ему: «Я перелистал твой последний роман. Если после него ты не попадешь во Французскую Академию, то нет никакого оправдания для автора подобной глупости»); Протос, глава шайки, псевдо-нищенец, глупым образом попадающий в тюрьму за преступление, совершенное другим; недалекая графиня де Сен-При, — все они, в конце концов, так или иначе — одурачены.

Но герой повести заслуживает более пристального рассмотрения. Это молодой человек Лафкадио, незаконный сын французского аристократа и румынской авантюристки, красавец — полиглот, воспитание которого никто не тормозил. Он рос свободным от каких-либо национальных, культурных, семейных и религиозных принципов. В результате получился человек без родины и без принципов — нечто среднее между ребенком и чудовищем.

Обычно принято считать «аморальным» человека порочного. Здесь слову «аморальный» возвращен его истинный смысл: у Лафкадио просто нет никакой морали — ни с положительным, ни с отрицательным знаком. Он не знает разницы между добром и злом. В полноте счастья он восклицает: «Разве не хотелось бы мне сейчас обнять всё человечество?.. или задушить его!» Для нет также разницы между геройством и преступлением, и к такому «воззрению» он пришел не путем рассуждения, он просто никогда не знал этой разницы. Он спасает ребенка из горящего здания, рискуя собственной жизнью, не из чувства долга, а «просто так». Тоже «просто так» он толкает человека под поезд, потому что чувствует внезапный, ничем не обусловленный позыв к убийству. Вокруг этого и концентрируется идейная часть повести. Идея сперва приходит в голову Баралю, — в чисто умственном плане, как идея чистого действия. «Под даровым поступком, — говорит он, — я подразумеваю поступок немотивированный, законченный в себе, имманентный мгновению. Зло может быть таким же бескорыстным, как и добро». — Так зачем же совершать этот поступок? — спрашивает ошеломленный Флериссуар. — «От внутренней полноты, — отвечает Баралю, — из любопытства, из склонности к игре и приключению». Но у Баралю это остается временным духовным вывертом; когда Лафкадио осознает ему, что совершил, независимо от него, но в точном соответствии с его теориями, убийство, Баралю поражен и шокирован. Он только думал о «чистом действии», Лафкадио его совершил. Протос делает преступления для того, чтобы доказать, что он — сверхчеловек; Лафкадио — из мгновенного желания. Даже «слово преступление казалось ему неподходящим, скорее это было приключением». Лафкадио ничего от этого не хотел, он был движим лишь энергией и, в отличие от Раскольникова (с которым у него отдаленное сходство он не раскаивается).

Конечно, нападки на Жида усилились после «Подземелий Ватикана». Молодое поколение, наоборот, приняло книгу с восторгом, увидев в Жиде мятежника, а в повести требование полной свободы действий для исключительного человека. Дадаисты признали произведение «своим», узрев в нем подтверждение собственных теорий автоматизма и полной непосредственности творчества. Жид, как всегда, давал свободу толкованию, нигде не подчеркивал своего отношения. Оставаясь верным себе, он опять задавал вопросы, но не отвечал.

(Кстати, и в жизни Жид обладает редким даром умения слушать других и не любит говорить сам). В книге, правда, есть очень опасные идеи, но ведь почти всегда нас охватывает что-то вроде восхищения при виде человека, умело играющего огнем. Здесь даже не просто игра, а виртуозный интеллектуальный «номер», как это часто бывает у Пикассо. И поэтому совсем не смущает едва проскальзывающее восхищение автора героем (впрочем, может быть, это восхищение — у читателя?) и любовь к нему дочери Баралю, которая становится любовницей Лафкадио в конце повести. Впрочем, можно выдумать сколько угодно теорий. Можно рассматривать Лафкадио и как пародию на собственного имморалиста, как Мишеля, доведенного до абсурда. Кое-кто считает это «исканием новой этики». Во всяком случае, нельзя ни на минуту забывать (да это и чувствуется в каждой строчке), что все написанное — лишь фарс, *sotie*. Герои — гомункулы и марионетки, и поэтому все убийства и ужасные в своих последствиях идеи — не больше, чем шутка, хотя временами почти дьявольская. Seriously тут нельзя воспринимать ничего. Это не вразумительно. Это — интеллектуальная фантазия, арлекинада, полная юмора, написанная в форме плутовского романа.

Но и враги и поклонники приняли повесть всерьез. Лафкадио стал после войны героем Европы, и «витальная» эпоха, эпоха раннего Хиндемита и расцвета кубизма, наслаждалась идеей «дарового действия», немотивированного, бесцельного, не обусловленного утилитарно, лишённого социальной и этической конечности. Сам Жид вряд ли соглашался с ними. «Даровое действие... Есть ли в этом глубина? — спрашивает он в «Дневнике» (1927) и отвечает: «Нет. Я только хотел сказать, что не всякий бескорыстный поступок обязательно вызван добрыми побуждениями». Книга, конечно, связана с авторскими идеями, но это был опять-таки акт «освобождения путем творчества». Жид пишет: «Мысль моя меня путала, и я ощущал потребность приписывать ее героям моих книг, чтобы лучше отделить ее от самого себя». (Д. 1928) Этим и объясняется, что «ужасные» герои Жида иногда не лишены некоторой привлекательности. «Как только в меня вселяется герой, — пишет он в «Дневнике» (1930), — я теряю собственное мнение. Я с ним. Я — он. Я иду за ним, куда бы он ни пошел — будь он имморалист, Алисса, Кандавл, Саул, священник из «Пасторальной симфонии», Эдуард, Эвелина или Лафкадио». Легко заметить, что в иной

форме в «Подземельях Ватикана» продолжается разработка уже знакомых идей: здесь и стремление к абсолюту, и свобода от традиционных связей, и даже сама идея «дарового действия» в ином виде уже была в стремлении Алиссы из «Тесных врат» бесконечно приближаться к Богу. Сам Жид говорит о своих первых повестях следующее: «Если бы я мог, я бы написал их все три сразу. Я не мог бы закончить «Имморалиста», если бы не был уверен, что в один прекрасный день напишу «Тесные врата», и мне надо было бы и другое, чтобы позволить себе «Подземелья Ватикана» (Д. 1914). И смеясь над «положительным» критиком, он там же добавляет: «Немного заабавно, когда заставишь критиков сперва ошибиться. Чего ж тут удивительного, что они сразу не поняли критичности «Тесных врат». А теперь X. видит в «Подземельях» утверждение нигилизма?»

Тому, кто знаком с Жидом только по «Подземельям Ватикана», может показаться, что это писатель «вольтерьянской» традиции, столь типичной для Франции — иронической и мягко — атеистичной. Только если взять все творчество Жида в целом, становятся ясными его религиозные корни. В только что разобранных повестях автор постоянно касается проблем религиозного порядка. Когда же заглянешь в «Дневник», то первое, что поражает, это его переполненность религиозными исканиями, полемикой с католицизмом и поисками собственного пути к Богу. Библия в руках у молодого Жида на вторниках Малларме — не случайность и не только выражение юношеского снобизма. Даже если просто перелистать его главные произведения, то открываешь, что они, так или иначе, связаны с идеями из священных книг. Смысл названия «Тесные врата» раскрывается из эпиграфа: «Подвизайтесь войти сквозе тесная врата» (Еванг. от Луки, XIII, 24). Вся «Пасторальная симфония» строится вокруг цитаты из послания Св. Павла: «Аз жил некогда без закона, егда же прииде заповедь, то грех ожил есть, аз бо умрох». (Римл. VII, 9 - 10). «Имморалист» менее понятен, если не принять во внимание эпиграфа: «Исповемся тебе, яко страшно удивился еси: чудна дела Твоя, и душа моя знает зело». (Псалом 138-ой, 14). Наконец автобиография Жида в дословном переводе называется — «Если зерно не умрет...», т. е. это цитата из Евангелия от Иоанна (XII, 24); «... аще зерно пшенично пад на землю не умрет...» Страницы раннего «Дневника» полны мистико — романтического желания слиться с Богом. Часты восклицания

цания: «О Боже, когда Ты наполнишь меня всего!» (1891) или «О Боже, я верю, что все — суета, кроме познания Тебя» (1891). Позже это сменяется пытливым, полным взлетов и падений, исканием сущности Бога. Жид по мироощущению — протестант, хотя он и отвергает протестантскую доктрину (как он отвергает всякую доктрину). Большинство же друзей его католики, не только по вероисповеданию, но и по направлению творчества: среди них — один из крупнейших теологов современности Маритэн и замечательный поэт и драматург Поль Клодель. Это привело к многочисленным конфликтам, так как, видя в Жиде глубоко религиозную натуру, его католические друзья не могли противостоять склонности «уловить душу». Но «уловить душу», подобную душе Жида, оказалось нелегким делом, т. к. она не терпела никаких пут, а главное — никакого посредника между собой и Богом. «Будь он Св. Павел, Лютер или Кальвин — для меня он лишь затемняет Божью истину», — говорит Жид в «Дневнике» за 1911 г., а в 1929 г. там же записывает: «Много путей ведет в Рим, но только один — ко Христу». Католическая идея «обращения» тоже была ненавистна ему с его «бесконечным приближением к Богу», «подобно Алиссе из «Тесных врат». Таким образом, Жид не примыкает тесно ни к одному вероисповеданию. «Католичество — неприемлемо, — говорит он, — протестантство — невыносимо; а я глубоко чувствую себя христианином» (Д. 1912). Наконец, в предисловии 1926 г. к «Numquid et tu...» он категорически заявляет: «Я не протестант и не католик; я — христианин».

В христианстве Жида совсем не занимает «трансцендентальная» часть, он целиком занят земным воплощением учения Христа. Ветхий завет, а также вопросы догматики и проблемы, связанные с потусторонним, почти не находят себе места в обширном «Дневнике», зато о Христе речь идет чуть ли не на каждой странице. Есть даже план неосуществленного романа о христианстве, который представляет большой интерес: «План романа: банкротство христианства: те, кто хотел осуществить его, должны были уйти из мира. Христианство не могло устроить мира по христову подобию, как это сделали по своему подобию Будда и Магомет. Показать, что в этом превосходство Христа. Но католицизм решил создать общество и добился этого — отбросив Христа. Первая обязанность христианина — быть счастливым, и пока он не достиг счастья, он не претворил в жизнь учения Христа. Чудесные слова Христа: «Чего ты плачешь?» (Д.1913).

В этом отрывке сразу бросаются в глаза знакомое уже отвращение Жида к «организованному», а отсюда — деиндивидуализованному, а также его идеал радости.

Конфликт с католиками, а главным образом с Клоделем, таким образом, имел причиной полярное понимание сущности Бога. Клодель в своей вере — монументален, он — фанатик и догматист; Жид неуверен в каждом своем шаге на пути к Богу, он все время задает вопросы и каждую заповедь берет с бою. Клодель трансцендентален в своем понимании Бога, его Бог обитает в ином, более истинном мире, который определяет вторичную, неверную реальность нашего мира; для Жида же главное — теперь и здесь, ибо Христос сказал: я — путь, — я истина, я — воскресение. В «Дневнике» за 1915 г. Жид пишет: «Если б мне потребовалось сформулировать кредо, а бы сказал: Бог не позади нас. Он в будущем. Его надо искать не в начале, а в конце эволюции. Он — окончательный, а не начальный». В 1912 г. он писал: «Чудесная революция, которую совершило христианство, состоит в следующем: «Царство Божие внутри нас». Эти две главные идеи находят разработку в замечательном небольшом произведении Жида «Numquid et tu...», которое он написал в 1916 г., но опубликовал только в 1926 г. Оно начинается следующими словами: «Какое мне дело до споров и словесных ухищрений профессоров. Во имя науки они отрицают чудеса, во имя философии — доктрину, во имя истории — факты. Они способны бросить тень сомнения на Его существование и филологической критикой навести подозрение на подлинность текстов. Мне даже нравится смотреть на то, как они преуспевают в этом, ибо моя вера нисколько от этого не зависит...» Это уже непривычный Жид, принимающий даже доктрину во имя веры. Он начинает разбирать Евангелие, в самом начале отказываясь от всякой казуистики: «Евангелие — простая книжка, которую надо читать очень просто. Дело не в том, чтобы объяснить ее, а в том, чтобы просто принять... Доступ к ней — через нищету духа». Жид предпринимает сравнение текстов Евангелия в нескольких французских переводах, в английской «версии короля Иакова» и в латинской «вульгате». В конце он приходит к любимому выводу о необходимости осуществления христианского идеала в этом мире: «Одно из самых серьезных непониманий духа Христа — в смешивании жизни будущей и вечной. В вечной жизни, которую предлагает нам Христос... нет ничего от будущего... Если мы не достигнем ее сразу, то нет надежды на то, что до-

стигнем когда-либо. С минуты своего возрождения, с того момента, как отпил этой воды, тыходишь в Царство Божие и вкушаешь жизнь вечную».

Идея вечных поисков и постоянного приближения к Богу (как у Алиссы) занимает Жида всю жизнь, и уже в 1942 г. в Тунисе, во время войны, он вписывает в «Дневник»: «Как только я понял, что Бог становится, а не уже существует, и что это становление зависит от каждого из нас, мое этическое чувство было восстановлено» и добавляет: «Но как медленно Бог становится!» Эта обмолвка говорит о трудностях на пути Жида к Богу. Он выбрал путь, полный препятствий и сомнений; его интерес чаще на стороне грешников (то есть часто — ищущих, чем праведников. Именно поэтому, очевидно, он недооценил христианской стороны творчества и личности своего любимца Гёте (стороны, на которую с гениальной простотой указал Альберт Швайцер, опрокинув этим легенду о «язычнике» Гёте). Во всяком случае на пути Жида падений было больше, чем взлетов. После своего знаменитого «романа с коммунизмом» (к которому он, кстати, пришел, по его же признанию, через Евангелие), он записывает в «Дневник» (1937): «За последние несколько дней — большие битвы, большие опасения. Ни на микроны не ближе к Богу; ближе только к смерти». Несомненное отражение этих периодов «падения» слышится также в словах старого Ла Перуза из «Фальшивомонетчиков»: «Вы заметили, что в этом мире Бог всегда молчит? Говорит только дьявол. Или, по крайней мере, мы можем слышать только дьявола». В «Дневнике» записан разговор Жида с Клоделем, где первый горестно восклицает: «Я потерял всякий интерес к собственной душе и ее спасению», на что Клодель отвечает: «Но Бог не потерял этого интереса». Несмотря на все это, Жид справедливо замечает в том же «Дневнике» (1929): «Моя нужда в Боге была постоянной». На путь атеизма он никогда не вставал, насколько можно судить по его вещам, и становящимися на этот путь говорил: «Ты утверждаешь, что трудно с уверенностью сказать, что Бог есть. Но разве не гораздо труднее с уверенностью сказать, что Его нет?» (Д. 1918).

Тема «Жид и христианство» ждет своего исследователя — специалиста, который найдет во всех произведениях Жида такое обилие материала, какого он, быть может, и не ожидает.

В 1913 г. Жид оставил в «Дневнике» следующую запись: «Временами мне кажется, что я еще не написал ничего серьез-

ного; что я всегда преподносил мысль в ироническом виде (интересно отметить, что Жид считал «ироническими» как «Имморалиста», так и «Тесные врата») — и исчезни я сейчас, я оставил бы облик, в котором меня не узнал бы даже мой ангел — хранитель». В год опубликования «Подземелий Ватикана» он писал: «Должен, впрочем, сознаться, что ни в одной из написанных мною до сих пор вещей не видно ясно — куда я иду» (Д. 1914). Мечта о романе в течение всего этого времени не оставляла Жида, и наконец в 1926 г. пятидесятилетний писатель опубликовал первое произведение, которое он сам назвал романом. Повествовательное произведение с концентрированным действием, развивающимся в одном направлении, он романом не считал. Следовательно ни его «Имморалист», ни его «Тесные врата», ни, прибавим мы, «Мадам Бовари» Флобера, бальзаковская «Евгения Гранде» и «Жизнь» Мопассана не подходят под его определение романа. Что же он считает романом?

Один из героев «Фальшивомонетчиков», писатель Эдуард, являющийся в какой-то мере «рупором идей» самого автора, говорит: «Кусок жизни, как говорят писатели-натуралисты. Но их недостаток в том, что режут-то они этот кусок всегда в одном направлении — во времени, — в длину. А почему не в ширину? Или в глубину? А я вообще не хочу резать. Пожалуйста, поймите: я хочу вложить в мой роман все». Жид задался целью создать новый тип романа — роман двадцатого века. «Чем должен быть роман?» — спрашивает он в «Дневнике» 1923 г. и отвечает «Перекрестком, встречей проблем». Роман должен быть сложным и запутанным, как сама жизнь, анархичным, как сама современность, но... он должен быть построен. Соединить анархию с архитектурой, сделать хаос прозрачным — очень смелая задача. Сюжет «фальшивомонетчиков» пересказать почти невозможно на одной странице, столько линий, — и тематических и сюжетных, — переплетается в ней. Два главных героя, два молодых друга, — это Бернар Профитандье, искатель смысла жизни, покидающий дом своего отца в начале романа, и Оливье Молинье, талантливый, но пассивный юноша, из категории «ведомых». С ними по ходу действия сталкивается третий герой, дядя Оливье, писатель Эдуард, который стремится подчинить своему влиянию Оливье, находящегося «во власти» развратителя юношества де Пассавана. К этому примыкают несколько побочных линий и треугольников. Старший брат Оливье, Винсент, первая

жертва де Пассавана, становится любовником американки лэди Гриффитс, женщины не «по ту сторону», а просто без добра и зла; перед этим он бросает соблазненную им Лауру, первую любовь Эдуарда, дочь лицемерного пастора Веделя, директора пансиона для мальчиков. Через роман проходят и другие дети Веделя, — друг Оливье — Арман, мечтатель по натуре и циник поневоле; добросовестная Рашель и развратная Сара. В пансионе учатся — Борис, внук преподающего там же старика Ла Перуза, бывшего учителя музыки Эдуарда, и младший брат Оливье — Жорж, испорченный мальчик, член шайки фальшивомонетчиков, которой руководит некий Струвилу. Если к ним прибавить отца Бернара и родителей Оливье, перед нами будут все основные герои романа.

Почти каждое действующее лицо выполняет не только сюжетную, но и символическую функцию. Из этой сложной ткани можно выделить четыре главных темы. Первая это бунт юношества против старшего поколения: вторая, связанная с первой, — распад современной семьи. Жид считал французскую семью своего времени образчиком лицемерия, т. е. по Жиду — страшнейшего порока. Поэтому он рассматривает этот бунт как явление законное. Но не всякий бунт ведет в нужном направлении, и моралист Жид на нескольких примерах показывает его результаты: от найденного Бернаром и Оливье своего жизненного пути до вступления маленького Жоржа на дорогу зла. Жид намеренно подчеркивает, что не всякие поиски желательны. Это видно из следующего диалога: Эдуард: «Мне нечего дать тебе. Ты сам даешь себе совет; только из самой жизни можно узнать, как жить». Бернар: «А если я буду жить плохо?» Эдуард: «Это тебя и научит. Нужно следовать своей склонности, если только она ведет тебя в тору». Важность последней оговорки несомненна. Поиски дороги связаны со сложными плутаниями и кризисами (попытка самоубийства Оливье, убийство маленького Бориса). Наиболее разительным примером распада семьи служат Ведели, старшее поколение которых закрывает глаза на жизненную правду, в то время как младшие трагически сталкиваются с ней. Третья тема романа, тоже связанная с первыми двумя, это многопланная «тема фальшивомонетчиков», дающая название роману. Фальшивомонетчиками являются не только малолетние члены шайки Струвилу, но и все учителя ложной морали от Пассавана до пастора Веделя (Большая ирония в том, что члены шайки учатся в

благопристойном пансионе Веделя). Струвилу, «фельдфебель» фальшивомонетчиков, которых «идейно» возглавляет Пассаван, касается фашистских идей, а местами представляет собой очень тонкую пародию на самого автора в раннем периоде. Как Лермонтов дал собственные черты не только Печорину, но и Грушницкому, так и Жид не боится доводить свои идеи до гротеска в устах совсем не симпатичных персонажей. «Мир одичал, — говорит, Струвилу, — только крепкие процветают; остальные — отброс, для навоза. Нам нужны не больницы, а производительные фермы» и добавляет (с дьявольской иронической улыбкой самого Жида между строк): Вы меня считаете скептиком, но я — идеалист. Я — мистик». Фальшивомонетчикам противостоит Эдуард, придерживающийся идей самого Жида о том, что главное — это найти себя, найти свой путь, ни в коем случае не принимая ничего из вторых рук. В Эдуарде многие видят самого Жида, что не лишено оснований, хотя и не совсем справедливо. Жид настолько же Эдуард, насколько, скажем, Грибоедов это Чацкий. Но точек соприкосновения немало. Эдуард тоже писатель. Он также интересуется юношеством, как и Жид, и видит в нем большую правду, которой надо только указать путь к осуществлению: Бернар, как и Оливье, находит себя главным образом через посредство Эдуарда. Книга заканчивается многозначительной фразой: Я хотел бы познакомиться с Калубом (младший брат Бернара, совсем не показанный в романе). В этом смысле роман оптимистичен, и Жид несколько раз подчеркивает мысль, обращенную к юношеству: мир не будет абсурдным, если вы этого не захотите. В «Дневнике» 1930 г. есть фраза, которую можно взять эпиграфом к «Фальшивомонетчикам»: «Единственная драма, которая занимает меня и которую мне хочется изображать вновь и вновь, это спор индивидуума со всем, что мешает ему стать подлинным, что стоит на пути его честному развитию. Часто препятствие в нем самом».

С Эдуардом связана и четвертая большая тема романа — тема создания произведения искусства. Это он, Эдуард, пишет роман «Фальшивомонетчики» (по ходу действия романа «Фальшивомонетчики» Андре Жида), мучается проблемами, делится мыслями с друзьями, ведет дневник и мечтает о создании «чистого романа»: «Я бы хотел создать что-нибудь вроде «Искусства фуги». И не понимаю, почему в литературе невозможно, что возможно в музыке». И действительно, композиция романа очень напоминает баховскую фугу —

это бесконечная обработка одной темы, сложная переплетенность персонажей, тем и символов: автор хочет «вложить все в роман». Когда Эдуард объявляет Лауре об этом желании, она говорит ему: «Мой бедный дорогой друг. Ваши читатели умрут от скуки». Жид, очевидно, сам ощущал, что он не столько художник, сколько моралист с большим художественным дарованием (он даже хотел перестать писать после выхода романа Пруста). Он понимает, что создает трудный вид романа — роман идей, требующий максимальной «коллаборации читателя». Это в какой-то степени ретортный роман, и некоторые критики сравнивали его со стеклянными часами, в которых вам видна вся работа механизма. Это сделало его отчасти романом для литературных гурманов и снобов (которых Жид ненавидит). И он действительно кажется неубедительным — пока читаешь его, но по прочтении и размышлении этот сложный роман о добре и зле, с сюжетом и контрсюжетом, который известен почти всем, но только по названию, — начинает казаться не только убедительным, но и каким-то подвигом. Ведь Жиду удалось осуществить, казалось бы, невыполнимую задачу: объединение хаотичности и нескончаемости нашей жизни, в которой «ничто не разрешается, все длится», со

строгим (хотя и сложным) построением, с полным отсутствием каких бы то ни было арабесок. Часто кажется, что роман не живет своей органической жизнью, что он бескровен и не захватывает, но — он может дать пищу для раздумий на долгие годы, и того, кто не читал его, можно пожалеть. Жид сам замечает в «Дневнике»: «Эта книга требует медленного чтения и размышления» (1930), а в другом месте пишет: Как было бы мне легко добиться одобрения большинства, написав «Фальшивомонетчиков» по принятому образцу, описывая героев и места, анализируя эмоции, объясняя ситуации, — размазывая по поверхности все, что я прячу между строк, — одним словом: потворствуя читательской лени». «Фальшивомонетчики», конечно, проигрывают от сравнения с великими романами прошлого (если не брать романы подобного рода), но сравнение часто — вещь весьма опасная, и вряд ли разумно сравнивать его хотя бы с «Войной и миром»: у девятнадцатого века и у века двадцатого разные масштабы величия, разный воздух, разный, как сказал бы летчик, «потолок». Во всяком случае его можно причислить к самым замечательным романам нашего времени и назвать вершиной творчества самого Андре Жида.

(Окончание следует)

ДЕКАБРИСТЫ

ЗАРОЖДЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«Памяти покойного командира 70
стрелковой дивизии посвящаю».

В эпоху Отечественной войны в историю России вступило замечательное поколение. Только позже заметили, что люди первой четверти XIX века оставили в российской культуре столько «нерукотворных памятников», столько блестящих творений. Так, много позже, обратили внимание на незаметного ведомственного и рано умершего архитектора Захарова, создавшего петербургское Адмиралтейство. Только после 1825 года казавшийся несерьезным арзамасский «Сверчок» сделался для многих Пушкиным. В эту эпоху Михаил Иванович Глинка задумал первые, не сходящие со сцены оперы. И к этому же поколению принадлежали Павел Пестель, автор «Русской Правды», Никита Муравьев, написавший «Конституцию» и многие другие декабристы, создавшие первую российскую политическую организацию в полном смысле этого слова.

Но если сейчас российская культура стала немыслимой без Пушкина, без ампира, без всем знакомых литературных образов и военных деятелей этой замечательной эпохи, то идеям и организациям декабристов не повезло — на очень холодной площади в декабре 1825 года, по выражению Тьнянова, они ушли от нашего знания почти на сто лет. Да и сейчас еще нет ни одного исследования, посвященного зарождению первых русских политических организаций, нет настоящих монографий, раскрывающих историю «Общества истинных и верных сынов отечества», «Общества соединенных славян»¹⁾, «Обще-

ства Военных друзей» в отдельном Литовском корпусе, нет, наконец, нового издания «Русской Правды» после того как единственное вышедшее в 1906 году стало библиографической редкостью.

А вместе с тем это не только темы для сухих исторических диссертаций. Идеи декабристов и их организации неотделимы от эпохи огромного подъема российской культуры, и как всё созданное в эту пору представляет и сейчас источник знания, вооружающий нас для борьбы за Россию. Не случайно одна из российских политических организаций, возникшая за рубежом в 1949 году, приняла в решении национального вопроса точку зрения Никиты Муравьева²⁾. Нам кажется, что сейчас значительный интерес вызывают формы революционных тайных организаций, созданных декабристами, и особенно процесс их зарождения. В настоящем кратком очерке нам хотелось попытаться выяснить некоторые черты, характерные для первых декабристских организаций, и пересмотреть вопрос их зарождения.

✱

«Две неудачные войны с Наполеоном и третья, угрожавшая в 1812 году независимости России, заставили молодых русских патриотов исключительно посвятить себя военному званию на защиту отечества»³⁾ — так определяет М. А. Фон-Визин, сам произведенный в офицеры за Аустерлиц, состояние умов своего поколения. Поэтому история формирования декабристов, исто-

рия зарождения первых ячеек декабристских организаций — это история их участия в наполеоновских войнах. К сожалению, этот вопрос почти совершенно неисследован, и сейчас из этого огромного материала можно привести только несколько примеров. Как в оптическом фокусе, будущие декабристы соединяются на Бородинском поле. Здесь тот же Фон-Визин, адъютант Ермолова, неотлучно находящийся при своем начальнике в страшные часы, когда курганная батарея Раевского переходила из рук в руки, здесь плеяда Муравьевых, кроме самых молодых, здесь «первый декабрист» Владимир Раевский, получивший за Бородино золотую шпагу, и многие другие.

В составе лейб-гвардии Семеновского полка здесь прямо пришедшие со скамьи Московского университета друзья — князь Щербатов, Якушкин, Михаил и Петр Чаадаевы. Полк был брошен Кутузовым после полудня из резерва, когда кризис сражения назрел, и все они пережили атаку Колленкура с 5 французским кирасирским полком, принятым семеновцами в штыки. Петр Чаадаев был произведен за Бородино в прапорщики, Якушкин получил георгиевский крест, Щербатов золотое оружие.

Во втором батальоне другого гвардейского полка, брошенного из резерва к месту прорыва у Семеновского оврага, — тогда лейб-гвардии Литовском, шел прапорщик Пестель. «По мере того, как подходили к багратионовым войскам подкрепления, — пишет французский участник сражения, — они шли вперед с величайшей отвагой по трупам павших, для овладения утраченными пунктами. Русские колонны на глазах наших двигались по команде своих начальников, как подвижные шанцы, сверкавшие сталью и пламенем. Поражаемые картечью, атакуемые то конницей, то пехотой, они терпели огромный урон, но эти храбрые воины нападали на нас попрежнему». ⁴⁾ Около четырех часов пополудни после артиллерийской подготовки кирасиры Нансuti с фронта, Сен-Жермен и Валанс с флангов пошли в решающую атаку. «Быв окружен многочисленным неприятелем, — значитесь в рапорте командира полка, — приняли оногo батальонным огнем и, закричав «ура», пошли в штыки». ⁵⁾ Были тяжело ранены подполковник Тимофеев, командир второго батальона, и капитан Арцыбашев пятой фузилёрной роты, ее принял прапорщик Пестель. Атака шла за атакой. Отброшенную конницу Бруйера сменила дивизия Фриана. Раненный в ногу с раздроблением кости, Пестель командовал еще некоторое время фасом батального карре у оврага.

За невиданную даже в Бородинском сра-

жении стойкость и мужество лейб-гвардии Литовский полк был переименован в лейб-гвардии Московский, и судьбе было угодно, чтобы этот полк 13 лет спустя вышел первым по призыву декабристов на Сенатскую площадь. Пестель получил золотую шпагу с надписью «за храбрость» и весной 1813 года, «не будучи еще вылечен и имея рану открытую, из коей весь 1823 год косточки выходили, отправился в армию графа Витгенштейна, к коeму назначен был в адъютанты». ⁶⁾

★

В 1815 году, через год после вступления русской армии в Париж, в Москве вышла книга будущего декабриста — штабс-капитана Измайловского полка Федора Глинки «Письма русского офицера», — это дневник похода, многие страницы этих «писем» писались, когда противник «еще не перестал шадить зарядов» ⁷⁾, когда мимо пронесли знакомого, который только что, как ротмистр Орлов, «с эскадронами разных полков делал смелые нападения, рубился с французскими офицерами». ⁸⁾

Конец 1812 года застал автора в Вильно, адъютантом генерала Милорадовича. Новый год праздновался как победа, как конец великой эпопеи, и запись «О Россия, о мое Отечество, торжествуй великое празднество своего освобождения» ⁹⁾ — полна не только глубокого патриотизма, но искреннего чувства, ибо младшие офицеры штаба шумели так, что Кутузову доложили: «не прикажет ли он запретить офицерам собираться в трактире, находящемся против самых его окон»... — «Оставьте их в покое», — отвечал Кутузов, — пусть забавляются, мне приятно слышать, как они веселятся. Люди, освободившие отечество, заслуживают уважения». ¹⁰⁾

Впоследствии декабристы называли себя «детьми 1812 года»; между сражениями и походами были не одни забавы. В заграничном походе штаб авангарда при каждой кратковременной остановке уподоблялся своеобразному историко-политическому семинару. Все читают. В феврале 1813 года в местечке Яркево под грохот глогауских пушек «сам генерал Милорадович большую часть времени проводит за Плутархом». Вечером он беседует со своими офицерами «о будущем... о несправедливости государей, о зависти...» ¹¹⁾ Главномo мандующий, фельдмаршал Кутузов, как бы предлагает тематику, обещая из лагеря под Бунцлау прислать германскую конституцию, «составленную в старинном духе германских народов», которая должна помочь «возрожденной, помолодевшей, могущественной и объединенной Германии занять

снова подobaющее место в среде европейских наций».¹²⁾ Естественно, что у «детей 1812 года» все помыслы сосредоточились вокруг проблемы России; о положении в ней шли разговоры в штабах, в полковых офицерских артелях, на нить этой основной темы нанизывались европейские впечатления. «Как красивы, удобны, чисты все эти польско-немецкие городки, — писал 26 февраля Глинка, — как опрятны немцы, они чистят и метут городок свой, как комнату». И дальше, в Саксонии — «здесь смотрят прямо на человека, а не на то, что на нем, ищут души, а не душ... здесь в каждой деревне школа, в каждом городке училище для девиц». Хозяин Глинки во Фрауэнштадте «одет очень опрятно, ходит в театр (правда, маленький, как «вертеп»), читает книги и судит о политике. Кто он таков, — угадай? — дворянин — нет, богатый купец — и то нет. Кто же? — Цирюльник! Я предчувствую удивление твое и разделяю его с тобой. Разве у нас нет цирюльников, но они живут в хижинах, часто в лачужках...»¹³⁾ Снова и снова автор «Писем» обращается в мыслях к России: «Отечество мое, тысячекратно пространнее и могущественнее Саксонии, когда придет время, что ты будешь столь же цветуще и просвещенно, как сей уголок Европы!.. Но я вижу уже прелестную зарю будущего...»¹⁴⁾

«Прелестная заря будущего» поднялась на фоне 1812 года, выросла из темы России, она поднялась в сознании сразу после Отечественной войны. Глинка ищет ее причин: «наш век есть век великих превратностей»: никогда общества людей не были подвергнуты таким бурям, волнениям, переменам. Россия в 1812 году...» — далее идет цензурный пропуск, но вскоре автор переходит (во Франкфурте на Майне!) к истории России и видит в древнем Новгороде участие в правительстве двух начал: «воли старейшин или посадников и воли народа».¹⁵⁾

Основной темой оставалась Россия. «1812 год, а вовсе не заграничный поход, — писал подполковник М. И. Муравьев-Апостол, — создал последующее общественное движение, которое было в своей сущности не заимствованным, не европейским, а чисто русским.»¹⁶⁾

Но война не только подняла ряд новых идей, она сыграла решающую роль в вопросе зарождения революционных организаций. В условиях войны образовались связи, надежно сцепившие искавших решения поднятых проблем России молодых людей. «Связи, сплетенные на биваках, на поле битвы, при делении одинаковых трудов и опасностей, бывают особенно между молодыми лю-

дьми откровеннее, сильнее, живее»¹⁷⁾, — писал князь С. Трубецкой, вспоминая начало движения. То же говорит Глинка в своих «Письмах» в самом начале 1813 года — «В том месте, где голос смерти, раздаваясь с выстрелами, невольно напоминает о краткости жизни, в том месте дружба должна быть искреннее, откровеннее непритворнее, все связи надежнее.»¹⁸⁾ Можно было бы привести целый ряд подобных высказываний будущих декабристов, подчеркивавших «откровенность» общения, «верность», «искренность», «надежность» связей. Связи эти естественно возникали в «боевых семьях» — в полках российской армии.

Еще в 1811 году в лейб-гвардии Измайловском полку, у Фон-Визина собиралось общество офицеров, изучавших историю войн и выпускавших свой «Военный журнал». Здесь мы встречаем Вельяминова, Дибича (будущего фельдмаршала), читавшего лекции по истории Семилетней войны, будущего декабриста Спиридова. Подобное же общество, называвшее себя «артелью», было в лейб-гвардии Семеновском полку и особенно после назначения в декабре 1812 года командиром полка полковника Потемкина «артель» много времени уделяла самообразованию, вопросу гуманного воспитания солдат, их образования. После возвращения из походов здесь была организована одна из первых ланкастерских школ (взаимного обучения) и, вспоминая это время, Ф. Глинка писал:

«Влюбившись от души в науки
И бросив шпагу спать в ножнах,
Они в их дружеских семьях
Перо и книгу брали в руки...»¹⁹⁾

Подобные же «артели», по свидетельству Батенкова, существовали в лейб-гвардии Гренадерском и других полках. Наконец, по всей вероятности в лагере при Буцлау (т. е. в начале 1813, а не в 1814 образовалась «Священная артель офицеров генерального штаба», уже тогда ставящая себе целью «благо России»). Боевая жизнь, откровенность, взаимное доверие, надежность этих первых ячеек сообщали будущим декабристским организациям одно из их основных качеств — дух братства. Полковые артели еще не были политическими организациями, но в них происходил отбор, они сами так же в числе других факторов формировали, говоря словами Якушкина, людей, «исполненных горением умереть во имя Отечества».²⁰⁾ В полковых семьях «вырабатывались люди, считавшие, что умереть на поле боя это еще не всё, что можно сделать в деле служения России» «Человек, — писал П. Чаадаев, — может быть полезен

своей стране только в том случае, если он ясно видит ее.»²¹⁾

В малоизвестном вопросе зарождения первых декабристских организаций безусловно играли большую роль высшие учебные заведения России того времени. Внимательное изучение состава офицерских артелей позволяет сделать еще один вывод — их ядра, активные, ведущие личности, подготавливались часто одними и теми же учебными заведениями. Так, не подлежит сомнению, что Семеновская артель была подготовлена Пансионом (гимназией) при Московском университете и самим Московским университетом. Уже упомянутые нами студенты этого университета — Якушкин, Чаадаевы, Щербатов — были одними из самых активных членов Семеновской артели. В еще большей степени Московский университет подготовил состав «Священной артели офицеров генерального штаба». Ее наиболее видные члены — Александр и Никита Муравьевы, князь С. Трубецкой, И. Бурцев, Михаил Муравьев (член первых декабристских организаций, впоследствии генерал-губернатор в Вильно во время польского восстания в 1864 году, столь ненавидимый Герценом), Фон-Визин — все вышли в армию из Московского университета.

Другая декабристская «семья», сложившаяся в лейб-гвардии Кавалергардском полку, где в разное время служило более 24 декабристов, и отличавшаяся высоким уровнем интересов (через Бегичева к этой «семье» принадлежал и Грибоедов), уходит своими корнями в Пажеский корпус. Высокие требования программы Пажеского корпуса, обязательный курс так называемых «политических наук» способствовали, по показанию Пестеля, формированию идейной молодежи. Из Пажеского корпуса в кавалергардскую «семью» попали П. И. Пестель, князь Ф. Гагарин, Н. Крюков, В. Ивашов, Н. Н. Депрерадович и многие другие декабристы.

Можно было бы еще указать целый ряд учебных заведений, связывавших молодежь еще до выхода в армию. Это прежде всего Морской корпус, давший плеяду офицеров Гвардейского Экипажа — Беляева, Арбузова, М. Кюхельбекера и других, составивших отдельное морское общество, позже слившееся с Северным, 1-ый кадетский корпус в Петербурге, давший немало декабристских имен, и, наконец, с некоторым запозданием по случаю открытия лишь в 1811 году, Царскосельский Лицей, «дружная семья» пушкинского выпуска, которая дала Пущина, Вильгельма Кюхельбекера и лицейского «суворочку» — Вольховского.

Таким образом можно было бы проследить и другие юношеские связи еще до поступления в полковую семью. Само слово «семья» носило у декабристов характер термина, обозначавшего своеобразную организацию, где главными были не писанные уставы, а дух братства. Позже этим словом стала обозначаться и первая широкая организация — «Союз Спасения». Не только Глинка в приведенных стихах о Семеновском полку, но и Пушкин хорошо знал употребление этого термина:

«Витийством резким знамениты

Сбирались члены той семьи...»

— писал он в дошедших до нас отрывках X главы «Евгения Онегина».

★

Возвращение армии домой и концентрация сложившейся уже «семьи» в Петербурге естественно, с одной стороны, поставило вопрос о форме их дальнейшего существования, а с другой, столкнуло вплотную с российской действительностью. Не останавливаясь сейчас на причинах, заставивших, по выражению Пестеля, «езде умы клокотать», —) отметим лишь, что ощущение крепостного права, «недостатков в российских законах» и «зла существующего у нас в порядке вещей» заставляли искать «возможности изменения, желаемого многими втайне».²¹⁾ А в то же время в ноябре 1815 года Александр I была дана конституция Польше, в мае 1816 года крестьяне Эстонии были освобождены от крепостного права, но сама Россия получила лишь декабристский акт 1815 года о Священном Союзе, противоречащий интересам народа, по мнению большинства общества, и ряд мистических тезисов в новогоднем манифесте 1816 года. Вспоминая это время, П. Пестель утверждал, что «дух неудовольствия (существовал) совершенно независимо от тайного общества». Вопрос создания тайной организации сводился в 1816 году к вопросу слияния с общими целями двух или нескольких артелей-«семей». Инициативу взяла на себя головка «Священной артели офицеров генерального штаба». Трое ближайших друзей — подполковник гвард. генерального штаба Александр Муравьев, прапорщик генерального штаба Никита Муравьев и поручик Главного штаба князь Сергей Трубецкой (самый старший по возрасту — ему 25 лет) — решили предложить создать тайное общество неформально известным активным участникам и фактически духовным руководителям Семеновской артели.

9 февраля 1816 года в казармах лейб-гвардии Семеновского полка произошла встреча трех друзей с поручиком Семеновского полка Сергеем Муравьевым-Апостолом, братом его Матвеем и общим другом подпоручиком Иваном Дмитриевичем Якушкиным. Осторожно начав разговор с критики немцев, «находящихся на русской службе», Трубецкой и Александр Муравьев быстро нашли общий язык с семеновцами, и все вместе достигли общего решения — организовать тайное общество, целью которого было бы «в обширном смысле благо России». Здесь же было «положено составить устав для общества» (он еще не был написан) и не принимать новых членов без согласия всех шестерых нас».²²⁾

Так зародился «Союз Спасения». Как и другие декабристские организации, он зародился на одной из тех многочисленных встреч, где «за чашей вина, за рюмкой русской водки», по словам Пушкина, в дружеской беседе «надежных» боевых товарищей выливались горячие желания исправить недостатки, которыми страдала любимая родина, найти новые пути ее развития. Никто из этих шести молодых людей ни на следствии, ни позже не отрекся от своего первенства в создании тайной организации, и почти все, как князь С. Трубецкой (много видевший и переживший), сохранили память об этом февральском петербургском дне, как самом светлом дне своей жизни.

Посмотрим вкратце, как развивался «Союз Спасения». Одним из первых принимается подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка князь П. Ф. Шаховской, выбранный сразу секретарем в комиссию по составлению устава. Это естественно: Шаховской не новый человек, он участник Семеновской артели. Затем входит плеяда членов священной артели офицеров генерального штаба: «осторожного Ильи» («собирались члены сей семьи у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи» — в строфе XIV X главы «Евгения Онегина»), — поручик князь Илья Андреевич Долгорукий, адъютант самого Аракчеева, прапорщик Гвардейского штаба Петр Кютошин, капитан Генерального штаба И. Г. Бурцев, основавший вместе с Александром Муравьевым «Священную артель»; вслед за ним вступает младший брат Александра — Михаил Муравьев, в будущем виленинский генерал-губернатор.

Адъютант генерала Милорадовича, известный уже нам автор «Писем» Федор Глинка, по вступлении в общество через свои связи в штабе принимает сразу офицера лейб-гвардии Измайловского полка Полторацкого, затем, видимо, М. Н. Новикова, автора первого республиканского проекта конституции, и, наконец, служившего в

это время в лейб-гвардии Кавалергардском полку Павла Ивановича Пестеля. Через Пестеля «Союз Спасения» проникает в этот полк и собирает в нем обильную жатву. В общество вступает командир полка полковник (в 1817 году произведенный в генерал-майоры) флигель-адъютант императора князь П. П. Лопухин, вслед за ним вступают кавалергарды Лунин и брат Пестеля — Владимир. Позже, уже в «Союзе Благоденствия», мы встречаем многих кавалергардов. Проникновение идет и в лейб-гвардии Преображенский полк. Видимо, тот же П. Пестель принимает своего старого приятеля капитана лейб-гвардии Преображенского полка Ивана Шипова и его брата, полковника того же полка, Сергея Шипова. Шиповы, вероятно, принимают своего сослуживца по полку, приятеля Пушкина, П. А. Катенина.

Иван Григорьевич Бурцев пользуется своими связями с лицейской молодежью. Пущин, близкий к «Священной артели», которая, по его словам, была «мыслящим кружком», с которым он еще раньше сошелся, почти жил в нем».²³⁾ вступает в общество вместе с В. Вальховским сразу после окончания лицея, т.е. в 1817 году. Бурцев же принимает и будущего командующего на Сенатской площади — в 1817 году молодого прапорщика гвардейской артиллерии князя Евгения Петровича Оболенского.

Краткий обзор роста первого тайного общества показывает прежде всего органическое развитие в форме слияния нескольких офицерских артелей, вернее их духовных руководителей (отсюда отчасти и наименование — именно «Союз»). Боевые содружества периода войны, создавшиеся на основе идейной общности, являлись и жили некоторое время как бы молекулами²⁴⁾ будущего тайного общества; молекулярное развитие можно проследить и далее в течение всего развития того явления русской политической жизни, которое вошло в историю под названием декабризма.

Прежде всего молекулярный характер сказался еще очень сильно в самой организационной структуре «Союза Спасения» и вопреки уставному проекту организации. Уставная комиссия под руководством Пестеля предложила в начале 1817 года новое наименование — «Общество истинных и верных сынов отечества», как бы подчеркивая, что целью членов было — «подвизаться на пользу обществу всеми силами», а «главная цель общества вообще есть благо России»²⁵⁾. Согласно реконструкции М. В. Нечкиной (устав до нас не дошел) и показаниям таких свидетелей, как Трубецкой и Якушкин, члены общества дели-

лись на три разряда: 1) боляр, 2) мужей и 3) братьев. В соответствии с заслугами братья и мужья могли переходить в боляре. Обществом руководит «Совет боляр». Совет боляр избирает старейшину, сменяемого в течение короткого срока. Первым старейшиной был П. И. Пестель, его сменил А. Н. Муравьев. С. Трубецкой, избранный после принятия устава председателем, показывал в следственной комиссии: «Для управления, когда бы число членов размножилось, полагалось сделать округа, из коих каждый управлялся бы одной Главной думой под председательством уполномоченного на то от Верховного Совета болярина; под ведомством сих Главных дум были бы еще управы из членов второго и третьего разряда; управляющие думами боляре сносились бы с Верховным собором посредством одного из его членов, избирая его собственному произволу»²⁶).

Таков был проект. В действительности мы видим, что большинство членов Союза Спасения (всего немногим более 30) принимались прямо в «боляре». Помимо учредителей, прямо в «боляре» был принят Бурцев, Пестель, его начальник князь Лопухин и другие. И это отвечало действительности. Союз Спасения был союзом возглавителей офицерских артелей, революционным штабом и не считал на первых шагах нужным принимать всех членов артелей и сочувствующих его идеям. Так, из того же Кавалергардского полка активными членами были, собственно говоря, Лопухин и Павел Пестель (его брат Владимир активно не участвовал в деле, а Лукин уехал за границу); в то время, как мы уже указывали, в этом полку в других условиях приема оказалось более 20 членов Союза Благоденствия. Подобную же позицию занимал И. Пущин к своим лицейским друзьям Кюхельбекеру, Дельвигу, Пушкину, считая их «своими», но избегая до времени формального привлечения их в организацию. Состав лейб-гвардии Семеновского полка и известная «семеновская история» 1820 года, закончившаяся расформированием полка, еще раз подтверждает эту тенденцию — тенденцию молекулярной организационной структуры с небольшим революционным штабом, доминирующую у декабристов во всяком случае до 1818 года.

И действительно, такие произведения, как «Нозль», «Деревня», «Вольность» Пушкина вполне оправдывали точку зрения его приятеля, состоящего в Союзе Спасения. Большую работу за пределами самого союза проделал Глинка, ставший вскоре после вступления в Союз Спасения председателем Вольного Общества любителей

русской словесности, центром декабристского литературного движения.

Стремление сохранить «молекулярность» организационной структуры обнаружилось и при встрече Александра Муравьева с Михаилом Орловым. Последний в конце 1816 года занят был идеей преобразования «Общества русских рыцарей» (являвшегося, собственно, подобием офицерской артели, в которой он вел переписку с графом Матвеем Димитриевичем Мамоновым) в политическую организацию с республиканско-аристократической программой. После того, как каждый из представителей двух разных обществ «открылись друг другу, — показывал Никита Муравьев, — переговоры сии кончились тем, что они обещались не препятствовать один другому, идя к одной цели, и оказывать себе взаимные пособия»²⁷).

Подобный характер организации, где большинство фактических участников стоят за пределами организационной структуры, выдвигал на первое место вопрос глубокого внутреннего взаимопонимания между «членами», не входившими формально в общество. Решение этого вопроса декабристы нашли в форме братства, вынесенного, как мы сказали, из боевой жизни военных лет. Если внутри самого «Общества» братство несло характер ордена с иерархическими ступенями (многие исследователи видят в этом влияние масонства, хотя, по нашему мнению, ступени «Общества истинных и верных сынов отечества» весьма предметны и оправданы с точки зрения конспирации и опасений провокации), то вне общества оно выражалось в глубокой человеческой дружбе, образцы которой декабристы наглядно показали. Едва ли у лидеров российских политических организаций существовало такое глубокое понимание братства, как у С. И. Муравьева — Апостола, писавшего в одном из писем: «между друзьями не существует жертв, и эта мысль, недоступная уму ординарному, доказывает мне, что вы понимаете всю истину чувства дружбы»²⁸). Дружба в этом понимании, наряду с общностью политических взглядов, рассматривалась многими декабристами как метод привлечения единомышленников. «Начало моего знакомства с Кондратием Федоровичем Рылевым было началом искренней, глубокой к нему дружбы»²⁹) — вспоминает князь Е. П. Оболенский, принявший Рылеву в Северное Общество. — «Трудно было устоять против обаяния Союза» — заключает он же свои воспоминания о Союзе Спасения.³⁰)

Важной чертой «Общества истинных и верных сынов отечества» была идея служения России. Выросшая из горячего пат-

жалась во многих сторонах жизни общества. Прежде всего она выразилась в целом ряде попыток членов общества легально воздействовать на правительство с целью проведения реформ, в первую очередь в различных проектах отмены крепостного права. Безрезультатность этих попыток совпала с остро поднятым во время Московского совещания осенью 1817 г. польским вопросом. Трубецкой сообщил своим пришедшим с гвардией в Москву сочленам, что император Александр I конфиденциально рассказал члену общества кн. П. Лопухину, что он намерен восстановить Польшу в границах 1772 г., то есть отдать обратно правобережную Украину и Белоруссию. Сообщение вызвало горячий протест. Не допуская мысли возвращения обратно искони российских, по его мнению, земель, Якушкин вызвался на цареубийство, и его друзьям стоило больших усилий отговорить его от этого плана. Декабристы вообще разделяли вопрос о режиме и службе России. Так, например, П. И. Пестель, посланный в 1812 году на границу Молдавии от Штаба 2 армии с секретным поручением выяснить задачи и способ действия тайной греческой организации, готовившей восстание в тогдашней Турции, блестяще справляется с заданием, вызывая личную похвалу императора Александра I. Здесь он не проявил никакой склонности к международной солидарности между тайными обществами и вызвал даже замечание Пушкина в предательстве Этерии (тайная греческая организация). Ведя в 1825 году переговоры с тайным польским обществом, Пестель подчеркивал, что «о губерниях Литовских, Белостокской, Подольской, Вольнской не было даже и единым словом упомянуто».

Еще более существенным нам представляется то, что в «Обществе истинных и верных сынов отечества» идея служения «благу России» соединяла различные взгляды на государственное устройство. Конституционные монархисты Ф. Глинка, С. Трубецкой и другие и республиканцы — Новиков, Пестель работали вместе. Несмотря на все усилия советских историков найти противоречия между «князьями» и «пролетаризированными дворянами»³¹⁾ внутри декабристских организаций, события 1825 года показали, что идея служения России, а не тщательно раздутые «социальные противоречия» была подавляющей движущей силой. И именно в силу сомнений в пользе восстания для России, боязнь потрясений вовне, которое оно может вызвать, некоторые декабристы, в том чи-

сле и князь С. Трубецкой, не сочли возможным в нем участвовать.

Подведем некоторые итоги. Первая декабристская организация сложилась первоначально из слияния нескольких офицерских деятелей, боевых содружеств. События 1812 года наполнили их стремлением найти выход из тяжелого социального положения, в котором находилась крепостная Россия. Союз этих артелей, желавших вывести Россию на новые пути развития, спасти свое отечество, возникший в начале 1816 года, положил основание первой тайной организации — «Союзу Спасения».

Основной организационной чертой «Союза Спасения» был дух братства, основанный на глубоком понимании дружбы. «Союз Спасения» представлял революционный штаб многочисленных ячеек, спаянных не организационными формами, а общностью политических идей, духом братства и идеей служения родине. «Союз Спасения» не имел элементов партийности, он являлся головой, мозгом первой в России молекулярной организации.

Не пытаясь в сжатой статье заниматься историей других декабристских организаций, что и выходит за пределы нашей темы, остановимся лишь кратко на эволюции основных идей «Союза Спасения». Сознание неуверенности в успехе развития подобного рода организации давило на членов Союза. Некоторые из них проявляют большую активность, как Пестель, создавший «отрасль» Союза в Митаве, куда он был переведен по службе к своему старому начальнику генералу Витгенштейну. Якушкин сам перевелся из лейб-гвардии Семеновского полка в 37 Егерский, где привлек в члены командира полка фон-Визина, но после московских совещаний «скудость средств к достижению цели»³²⁾ по выражению Сергея Муравьева — Апостола, по отношению к стоящим задачам стала для всех очевидной. Иерархичность структуры, клятвы, заимствованные из масонской практики, казались таким членам, как Якушкин, Михаил Муравьев, фон-Визин излишними. Они ссылались на то, что в практике клятвы приносилась лишь одна — на кресте и Евангелии. Временно победила идея широкой политической организации. Не останавливаясь на военном обществе, созданном, как переходный этап, обратимся к «Союзу Благоденствия», заменившему в 1818 году «Общество истинных и верных сынов отечества». Эта организация пыталась привлечь в члены всех казавшихся подходящими кандидатов. Коренной совет общества управлял Управой, раскинутыми по всей России. В Моск-

ве их было даже две. Во главе одной стоял Александр Муравьев, во главе другой князь Шаховской. Некоторые управы вели массовую агитацию среди солдат, как например, майор Владимир Раевский в ланкастерских школах Кишинева и его начальник, командир 16 дивизии генерал М. Ф. Орлов, отдававший в приказах по дивизии указания офицерам, как вести себя с солдатами, называя последних «товарищами». В Союзе Благочестия уже через год его существования было около 300 членов.

Массовая по тем временам, хотя и тайная организация скоро обнаружила свою слабость — правительство довольно точно установило ее состав и имело в среде самой организации провокатора — Грибовского. Массовая работа на юге потерпела провал — майор Раевский был арестован, и его следствие тянулось до самого восстания 1825 года. Среди набранных наскоро членов было много противников радикальных решений и революционного способа действия. На московском съезде 1821 года произошло под давлением известий о раскрытии общества его официальное закрытие и одновременно организация «заговора в заговоре», по выражению Комарова, т. е. фактически возвращение к организационному принципу «Союза Спасения». Старые его члены Пестель и Муравьев - Апостол на юге и Никита Муравьев, С. Трубецкой и Е. Оболенский — на севере начали строить новые организации, получившие условное название Северного и Южного обществ. И то и другое общество начали выработать свои программы — конституцию Н. Муравьева и «Русскую Правду» Пестеля.

И хотя организационные принципы этих обществ не отличались стройностью «Союза Спасения», но в их жизни проявляется как важный фактор идея союза отдельных независимых и даже отличающихся в своих политических идеалах обществ, групп, порой одиночек. Так, член южного общества полковник Повало - Швейковский вступает в связь с обществом «Военных друзей» в Литовском отдельном корпусе, Васильковская Управа Южного общества протягивает многочисленные нити на Кавказ, к «ермоловцам», настолько осторожно, что следственная комиссия при-

бавляет к делу «О существовании тайного общества в Отдельном Кавказском Корпусе» слово «мнимое», и, наконец, пример долгого молекулярного существования двух неизвестных друг другу групп переживает один из возглавителей Сергей Муравьев - Апостол.

В августе 1825 года в Лещинском лагере уже начавший полнеть и ставший подполковником Черниговского полка Сергей Муравьев - Апостол встретил сослуживца по лейб-гвардии Семеновскому полку, капитана Тютчева. Конечно, никому в голову не приходило принимать в общество этого полуграмотного, полуинтеллигентного офицера. Но все же это был бывший член семеновской артели, и переведенный в армию в 1816 году Тютчев превратился в своеобразную «молекулу» революционной организации. Ее дух, заложенный в нем, помог ему сойтись с независимо возникшей на юге другой декабристской организацией — «Обществом соединенных славян». «Надежность», доверие среди бывших членов семеновской артели оправдало себя и здесь — Тютчев рассказал Муравьеву - Апостолу и его помощнику по Васильевской Управе, тоже семеновцу, Вестужеву-Рюмину, о новом обществе, и вскоре, на встречах 2 - 3 сентября 1825 года произошло слияние, вернее установление норм подчинения Общества объединенных славян — южному Обществу, хотя первое осталось самостоятельным, целым и сохранило свои программные особенности. Но каково было удивление подполковника Муравьева - Апостола, когда в результате этих совещаний он узнал, что в его Черниговском полку, среди его подчиненных оказалось четыре члена неизвестного ему общества. И хотя ему трудно было, вероятно, пережить столкновение, возникшее на первых порах с подчиненными, когда командир роты, поручик Кузмин (член общества Славян) заявил: «Не думайте, господин подполковник, что я и мои товарищи пришли просить у вас позволения быть патриотами»³⁹, — Муравьев не мог не вспомнить, как 9 лет назад, участвуя в создании «Союза Спасения», он сам заложил в основу организации принципы, подтвержденные в жизни в Лещинском лагере 1825 года.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹⁾ Если не считать книги М. Н. Нечкиной, вышедшей в 1927 году и стремящейся отыскать «пролетаризированных дворян», согласно «хорошему тону» господствовавшей тогда школы М. Н. Покровского.

²⁾ Смотри платформу «Союза борьбы за свободу России», опубликованную в «Российском Демократе» № 2, 1949 год.

³⁾ Фон-Визин — Обзорение проявлений политической жизни в России, — в сбор-

нике «Общественные движения в России» 1905 год, страница 182.

⁴⁾ Pélet. Bataille de Moscova. стр. 47

⁵⁾ Смотри рапорты полковника Удота генерал - лейтенанту Лаврову в книге «История Лейб-гвардии Московского полка».

⁶⁾ Пестель. Автобиография. В сборнике «Декабристы». Отрывки из источников. Централхив, 1926.

⁷⁾ Там же т. 5, стр. 144.

⁷⁾ Ф. Глинка. Письма русского офицера. Москва 1815, т. 4. стр. 254.

⁸⁾ Там же. Т. 5 стр. 144.

⁹⁾ Там же т. 4, стр. 197.

¹⁰⁾ Там же т. 4, стр. 154.

¹¹⁾ Там же т. 4, стр. 243.

¹²⁾ История XIX века под редакцией Лависса и Рамбо. 1906, том III, стр. 5.

¹³⁾ Глинка — указанное сочинение, том 4, стр. 245 - 249.

¹⁴⁾ Там же т. 6, стр. 243.

¹⁵⁾ Там же т. 7, стр. 110.

¹⁶⁾ В. Якушкин — М. И. Муравьев - Апостол. «Русская Старина» № 7, 1886 год, стр. 156.

¹⁷⁾ С. Трубецкой — Записки. 1906 год, стр. 12.

¹⁸⁾ Глинка — указанное сочинение, т. 4, стр. 250.

¹⁹⁾ Поэты - декабристы. Л. 1949 год, стр. 333 — «Стихи о бывшем Семеновском полку».

²⁰⁾ Якушкин, Записки, стр. 15.

²¹⁾ Гершензон. «П. Чаадаев», стр. 128.

²²⁾ «Восстание декабристов». Централхив, том IV, стр. 105.

²¹⁾ И. И. Пущин — «Записки о Пушкине», стр. 64 - 65.

²²⁾ И. Д. Якушкин. Записки, стр. 13-15.

²³⁾ И. И. Пущин. Указ. соч., стр. 65.

⁴⁾ Эта мысль заимствована нами у В. Д. Поремского — смотри его «Молекулярную теорию», «Посев», 1929 год.

²⁵⁾ Смотри статью М. Н. Нечкиной — «Союз Спасения» в «Исторических Записках» № 23.

²⁶⁾ Там же.

²⁷⁾ Восстание декабристов, Централхив, том I, стр. 305 - 307.

²⁸⁾ «Памяти декабристов». — Сборник материалов Академии наук. 1926 год, том I, стр. 430.

²⁹⁾ Воспоминания князя Е. П. Оболенского — «Общественные движения в России», стр. 233.

³⁰⁾ Там же, стр. 234.

³¹⁾ Смотри указанную работу Нечкиной.

³²⁾ «Восстание декабристов». Централхив, том IV, стр. 277.

³³⁾ «Декабристы». — Отрывки из источников. Централхив. 1926 год, стр. 212.

ПОЕДИНОК ГЕНЕРАЛИССИМУСОВ

Душа человеческая — арена, на которой происходит вечный поединок Бога с Дьяволом.

А перед нами — книга, в которой не одна человеческая душа, падшая, прошедшая все земные искушения, а 600 неискушенных душ русских мальчиков в возрасте от 9 до 17 лет. И все эти души, каждая из них — арена, на которой происходит поединок двух генералиссимусов: Суворова и Сталина.

Мы говорим о повести Бориса Изюмского, вышедшей в 1950 году под названием «Алые погоны», о программной книге, в которой указывается партией и ее мудрым вождем, как надо воспитывать новое кадровое советское офицерство и как им оно должно быть.

Сначала из жизни: мы спросили наших друзей из «прифронтовой полосы»: «Встречали ли вы суворовцев? Ну, как? Какие они?» Ответ был следующим: «Прекрасные ребята! Интеллигентные, образованные, благородные, воспитанные на старых русских военных традициях... Подлинные суворовцы и многие из них — антибольшевики!»

— Вот как! — удивились мы, и обратились с тем же вопросом к вчерашнему рядовому гвардии, прошедшему все фронты, Ивану Степняку:

— Ты встречал суворовцев? Говорят, хорошие ребята...

Иван Степняк сурово сплонул в сторону и лаконично сказал:

— Сволочь в белых перчатках. Сталинские воспитанники! В войну по мраморным хорам отсиживались, а теперь приехали на готовенькое командовать!

И вот теперь перед нами книга, своеобразный документ, проливающий свет на воспитание нового советского офицерства.

Перед текстом книги — рисунок в крас-

ках: коротко стриженный стройный юноша, склонившись на одно колено, благоговейно целует край тяжелого алого знамени с плавающими в массивных складках золотыми буквами «СУВОРОВ»...

О чем же говорит коленопреклоненный юноша? «Спасибо великой большевистской партии, родному советскому правительству, отцу нашему, Иосифу Виссарионовичу, за ту заботу, которую мы чувствуем каждый день, каждую минуту...»

Поединок генералиссимусов начат... Грозная тень маленького Суворова встала в позицию. Берегитесь, генералиссимус Сталин!

Но... лирику в сторону! Несколько слов об училищах и о самой книге.

Суворовские училища — это закрытые учебные заведения, созданные по образцу старых, долго презируемых и, наконец, получивших признание, кадетских корпусов.

«Разве мы не используем все лучшее из прошлого? — заявляет один из офицеров-воспитателей. — Корпуса существовали 200 лет и дали миру Кутузова, Макарова, Кондратенко».

Училище, описываемое в повести «Алые погоны», возникло в 1941 году, в начале войны. Принимались туда, судя по книге, дети привилегированных родителей. Из упоминаемых в книге нескольких мальчиков — родители четверых оказались замученными в застенках Гестапо, у пятого отец — герой Советского Союза, погибший в воздушном бою, и у шестого — генерал, на груди которого «почти не оставалось места, свободного от орденов и медалей».

В 1944 году училище насчитывает уже 600 человек. В 1945 году — первый выпуск. По окончании суворовского училища воспитанники имеют право поступить непосредственно на второй курс офицерского училища.

Теперь о самой книге, о ее литературных достоинствах. На наш взгляд, книга и не претендует на них, являясь ярко выраженным и строго партийным заказом, поэтому и останавливаться на этом особенно долго не приходится.

Всё-таки скажем: с литературной точки зрения книга нам кажется несамостоятельной. Сильно ощущается влияние Макаренко, Льва Кассиля, Микитенко и больше всего... Лидии Чарской: тот же истерически-сентиментальный патриотизм, только уже на этот раз не по отношению к «государыне императрице», а к «величайшему гению и отцу всех народов».

Герои в подавляющем большинстве — носители только положительных или же только отрицательных черт, на подобие героев классических французских комедий восемнадцатого века. К концу повести все «злодеи» исправляются или же изгоняются вон (пример: изгнание воспитателя-«солдафона» Стрепуха). Порок наказан, добродетель торжествует. Но все эти черты не являются ни в какой мере оригинальными, а наоборот, весьма характерными вообще для советской литературы.

В повести автор подробно на 416 страницах описывает жизнь мальчиков-суворовцев в течение одного — 1944-1945 — учебного года.

Перед нами большое белое здание с колоннами, «похожее на помещичий дом середины прошлого столетия». Тополевая аллея, сад, стадион... «В вестибюле Боканов на секунду задержался у портрета Суворова, изображенного во весь рост. В зеркалах на стене портрет множился, — на Боканова отовсюду смотрело улыбающееся, с хитрецей лицо великого русского полководца...»

Широкая мраморная лестница ведет вверх. Куда ни бросишь взор — везде ковры, пальмы, камин, зеркала... — Роскошь, в которой с малых лет растут будущие отважные боевые сталинские орлята. В этом — сила генералиссимуса Сталина. Это он создает всеми средствами то привилегированное положение, в которое вдруг попадают ребята нищих колхозников, беспправных рабочих, обездоленной советской интеллигенции.

Но «не в силе Бог», — недаром с хитрецей улыбается генералиссимус Суворов. Он знает: — не в силе Бог...

Как же живут сталинские суворовцы (хорошо звучит сочетание этих слов)?

О, они живут прекрасно! За помещичьим домом не только сад и стадион, — там целый городок со складами, мастерскими, конюшнями, гаражами, квартирами воспита-

телей и преподавателей-офицеров. У воспитанников свои верховые лошади, манеж, велосипеды... А если суворовцы отправляются, чего доброго, в экскурсию, — им подается особый состав (совсем как государю-императору), и воспитанники без лишних остановок прибывают на место.

Едят ребята хорошо. Они должны вырасти не золотушными, хилыми и слабосильными, а здоровыми, крепкими, мускулистыми. Первый, второй завтрак... На второй, обычно, какао с пончиками; мясной обед... именинникам — торты с надписью из крема. Война? Лишения? Их это не касается! Бедный маленький Капка! В тот же самый трудный, полный горя, лишений, забот и смертельной опасности 1944 год он, ученик советского ремесленного училища, комсомолец и стахановец, радуется несколькими картофелинам «в мундире» и обглоданному селедочному хвосту... (да простит нам Лев Кассиль упоминание о его герое из прекрасной повести для юношества «Дорогие мои мальчишки»).

Но до будущих рабочих генералиссимусу нет дела... Не в них будущая сила, оплот и защита обесчещенного древнего Кремля!

А теперь загадочная картинка: отгадайте, дорогие читатели, кем, когда и о ком написано:

«Опять заиграл оркестр. Когда он стал исполнять полонез, в первой паре, молодежато приосанясь, пошел генерал с женой — худенькой темноволосой женщиной. При поворотах генерал старался сделать незаметным свое прихрамывание и еще больше выпрямлялся. Пара за парой поплыли вокруг ёлки танцующие. Шарканье подошв походило на негромкий морской прибой...» «Ребята впервые надели сегодня белые перчатки и чувствовали себя неловко. Вдоль стен зала сидели матери, пришедшие с дочерьми на ёлку...»

«Война и мир»? Сейчас Наташа Ростова легко заскользит в танце с изящным князем Андреем... Или, может быть, это из «Счастливого» Чарской?

— Нет, нет, дорогие друзья, — это всё то же... Те же «Алые погоны», те же сталинские суворовцы, приучаемые с малолетства к балам, полонезам и белым перчаткам, — это будущее новое советское офицерство.

Всё воспитание молодежи в суворовских училищах происходит в двух планах, постепенно сменяющих друг друга. Маленькие оторванные от своих семей мальчики попадают в руки преподавателей и воспитателей. С ними возятся, носятся, стараются самыми гуманными методами воспитать в... старом российском духе, духе старинных русских военных традиций. На сцену выплывают сильные, благородные образы ста-

рых полководцев. Основа всего, «святая святых» — генералиссимус Суворов. Его изучают вдоль и поперек. Биографию Суворова воспитанники знают наизусть, цитаты из Суворова съплотятся, как из мешка:

«Будь отважен, но без запальчивости, подчинен без унижения, тверд без упрямства, скромнен без притворства.»

Или:

«Будь умерен в своих нуждах и бескорыстен в поступках... Будь терпелив в военных трудах, в несчастии не унывай и не отчаивайся!»

За маленьким сухощавым Суворовым появляется полная, чуть обрюзгшая фигура фельдмаршала Кутузова:

«Железная грудь наша не страшится ни суровости погод, ни злости врага: она есть надежная стена Отечества, о которую всё сокрушается».

Именами Радищева, Верещагина, Драгомирова пестрят страницы повести. О чести мундира, о святости строя и знамени читаются доклады, лекции, проводятся беседы... Лозунг: «Люби свое училище, береги его честь, уважай традиции» висит на самом видном месте. Слово чести — свято... В ротах заведен «дневник чести». Генерал, директор училища — отец суворовцев. Мальчики воспитываются в духе «великодержавного шовинизма». «Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский. О народ, к величю и славе рожденный!» (Радищев).

Это ничего, что несколько лет тому назад за такую мысль, написанную или высказанную вслух, подвергнув неслыханным по жестокости пыткам в застенках НКВД, в лучшем случае приговаривали к 10 годам со строгой изоляцией. Мальчики этого уже не помнят, а большевистская партия гибка в своей политике, говоря же проще: своя рука — владыка...

Не забыто и искусство. Маленьких суворовцев с первых же дней поступления в училище приучают ценить, понимать и беречь произведения искусства и памятники старины. Характерен эпизод, случившийся во время одного из уроков:

«Я сегодня столкнулся с юным варваром, — возмущенно рассказывает своим коллегам педагог. — Показываю картины с помощью проекционного фонаря. На экране Кельнский собор. И вдруг слышу из темноты голос: «Вот бы из «Катюши» по нем разик ударить!» Это Дронов из третьего отделения размечтался. Пришлось подробно говорить о нашем отношении к памятникам искусства и старины».

Мы же от себя спросим, ради уточнения: о чем именно? О том, как уничтожать па-

мятники искусства и старины — православные соборы XI-XII вв., как это происходило в 37-38 годах во многих крупных и старинных городах России: Киеве, Москве, Новгороде, Пскове, или же о том, как ценить и оберегать их?

О красоте. Мальчики должны учиться понимать и чувствовать ее. Воспитатель, уводя их на далекую прогулку в лес, читает отрывки из Тургенева. Влюбленный пятнадцатилетний юноша ночью потихоньку отправляется в зал и в лунном свете самозабвенно играет «Баркароллу» и «Осеннюю песню» Чайковского.

И, наконец, вершина всего — новое понятие о товариществе. На стр. 85 читаем:

«Никогда не занимайтесь доносами на товарищей, — осуждающе огчеканивает офицер. — Имейте смелость при всех, в глаза виновнику сказать правду. Только так поступают мужественные люди. Идите! — сухо приказывает он.»

Нужны ли комментарии? Думаем, что нет... Только вот как быть с Павликом Морозовым?... Впрочем, беспокоиться рано. И ему найдется место на «нашей необъятной родине». Ведь это еще только 85 страница...

Тень генералиссимуса Суворова победно улыбается: памятники старины, красота Тургенева, музыка Чайковского и, наконец, даже «Никогда не занимайтесь доносами» — всё это обдуманно, взвешено, все это — залог его победы...

С ранних лет мальчиков, как было уже упомянуто, вводят в атмосферу романтики военной жизни, любви к великому народу и славному его прошлому, учат жить по примеру лучших и благороднейших представителей российской нации. Человек формируется с детства. На душу, не искушенную и еще не загрязненную повседневностью, как на мягкую податливую глину, ложатся отпечатки первых впечатлений. Ну, а впоследствии... Но не будем забегать вперед. Жизнь на всех ее этажах — жестокая, отчаянная борьба за спасение погибающей человеческой души. Поединок генералиссимусов продолжается:

Суворовцы растут. Из мальчиков-подростков превращаются в юношей. Многое волнует их, вопросы толпятся перед их умственным взором, требуя немедленных ответов. И они даются, эти ответы, даются в готовой, штампованной форме.

«А что это значит логика?» — взял он в руки тоненькую книгу в серебристом переплете.

— Логика учит убедительно доказывать, побеждать в споре. Скажем, защищая нашу родину, ты окажешься далеко за пределами ее, и вот остано-

вишься в доме крестьянина, который не знает еще правды о нашем советском строе. У вас зайдет разговор, где лучше жить — в социалистической стране или капиталистической...

— Так ясно же, что у нас! — воскликнул Дадико.

— Нам-то ясно, — одобрительно улыбнулся Владимир, — а им надо доказать, убедить примерами.

Хитро вплетает генералиссимус Сталин свои незаметные нитки в ковер жизни, сотканный Радищевым, Суворовым, Кутузовым и представленный взору юных воспитанников.

«Тот, кто носит военный мундир, не может быть нечестным. Ложь — самое отвратительное, что есть на свете! Правдивый человек смотрит людям в глаза, а в борьбе с неправдой имеет силу десятирх. Именно борясь за правду, твои родители не пожалели жизни. И наша правда побеждает фашистскую ложь...»

Мальчишам, оторванным от подлинной жизни, остается только одно — верить на слово. А слово здесь, за крепкой оградой бывшей помещичьей усадьбы, не так разительно расходится с делом, как в обнаженной советской действительности. Суворовцы растут такими, какими их желает вырастить «мудрый садовод».

Лишь на двухсотой странице впервые упоминается о советской литературе. Всплывают имена известных советских писателей: Островский «Как закалялась сталь» (вот с кого вам надо брать пример!), Павленко — «Счастье», Фадеев — «Молодая гвардия»...

В старших отделениях создают комсомольскую организацию. Идет она заметно в разрез с тем духом, в котором растут мальчишки с малых лет? Вряд ли. Вплетаемая паутина окрашена в те же тона, нити ее липкие и цепкие, незаметно опутывают души суворовцев. Благородные черты, воспитываемые с детства, — честность, самоотверженность, моральная чистота, любовь к родине и к народу и т. д. — всё это тонко и неощутимо направляется на служение коммунизму, Сталину и его бредовым планам порабощения человечества.

«Мы строим коммунизм. Думаешь, это легко? Впервые в истории... Сколько врагов! Сколько трудностей! Только люди большой воли, самой большой, способны преодолеть их! Мне отец, когда был жив, говорил: «Сильные переплывают море, а слабые только купаются». Мы, открыватели нового мира, выплыли навстречу бурям...»

— Ну, скажи на милость, — вдруг воскликнул гневно Володя, — что надо этим мракобесам? Читал сегодня в газете оче-

редное выступление бесноватого американского сенатора? Что им надо? Кровь, грабеж, разрушения? — Я не жажду битв ради личных подвигов, но если эти шакалы полезут на нас, мы будем драться не хуже отцов...»

Но — «с нами Бог!» — говорил Суворов в тяжелые минуты неравных боев.

«С нами Бог!» — говорит и сейчас тень генералиссимуса, осеняя себя крестным знаменем.

Кто победит? Он ли, правдивый, честный, смелый и глубоко верующий, или же дьявольски хитрый, неизмеримый в своей нечеловеческой подлости и жестокости, генералиссимус Сталин?..

Зло не действует в мире от своего имени, оно прикрывается маской добра. И зло, прикидываясь добром, соблазняет человеческую душу. На этом принципе и построено воспитание «сталинских орлят»: оказав мальчикам добро и направив их по этому пути, постепенно в течение лет заменяют, фальсифицируя, светлые идеалы — темными:

«Коммунизм — оплота и надежда всего человечества».

«Спасение угнетенных народов — цель жизни подлинного Человека».

«Борьба с капитализмом, величайшим злом в мире, — наш долг».

И, наконец, «светлое будущее народов — в построении коммунизма» — «царствия божиего» на земле.

Где та грань, которая пропастью отделяет идеалы верующего в Бога, бесконечно любившего Родину Суворова от идеалов слуги Сатаны, ненавидящего и жестоко истребляющего и свою страну, и весь российский народ?

Грани этой, как ни странно, ни невероятно это звучит, — нет! И никакой пропасти нет! Зло паразитирует на теле добра. И перед нами случай, когда сталинское, большевистское зло паразитирует на теле величественного и светлого прошлого нашей родины — России...

Задача суворовских училищ — воспитать коммунистов-идеалистов.

— «Мы из них знаешь, каких коммунистов воспитаем? — негромко произнес Зорин... — Ленин о таких в двадцатом году говорил...»

Мысль знаменательная и интересная: идея коммунизма в большой опасности, в чем откровенно, случайно или с целью, признается начальник политотдела училища. Идеалисты-коммунисты перевелись в СССР уже давно... Наивно и смешно, по меньшей мере, — на 33 году октябрьской революции, в стране «построенного уже

социализма», мечтать о коммунистах, о которых «Ленин говорил еще в двадцатом году»!

Но — на одном НКВД-МГБ далеко не уедешь; это понимает и Сталин. Опыт 1941 года оказался горьким. Нужны те, кто в случае новой войны стали бы беззаветно и искренне защищать деспота, проливать кровь за палача своего народа, на чьи молодые плечи легла бы непосильная тяжесть «социалистического» труда...

Таких вот и предположено выращивать в «парниках» суворовских школ.

Как на опытных полях или в научно-исследовательских лабораториях — яблоне, доросшей до определенного возраста, прививают черенки ананаса, тритону отрезанную ногу пересаживают на голову — экспериментируют по строго обдуманному плану и с подопытными суворовцами. Давая им вначале свободно развиваться на плодородной духовной почве («черноземе» национального богатства исторической России), после пышного расцвета душ начинают пересадки; прививки, подмены и прежде всего — ограничения:

«Советской педагогике тридцать лет, — говорит начальник политотдела Зорин. — Это возраст зрелости. Прошло время, когда можно было уповать на «божью искру» и этим довольствоваться. Теперь мы, работники советской школы, должны знать и управлять законами науки коммунистического воспитания, с выверенной точностью идти к цели и достигать ее. Но в этом движении первейшее условие: последовательность и нетерпимость к малейшим отклонениям от коммунистических норм поведения.»

Какими же должны выйти из опытных лабораторий-«парников» маленькие и беззащитные суворовцы?

Конечно, из них положено воспитать «энергичных организаторов, не только будущих строевых командиров, но и политработников». «Нам надо изо дня в день создавать и укреплять традиции коммунистического поведения, воспитывать человека, претворяющего свои убеждения в коммунистические дела...» «Опираясь на глубокую внутреннюю сознательность, надо требовать беспрекословного выполнения приказа, и с к л ю ч а ю щ е г о разглагольствование и в р е д н ы е р а с с у ж д е н и я».

Тиски зажаты, и зажаты накрепко. Яркий образ героического генералиссимуса Суворова бледнеет, тускнеет и приобретает некий чуть смешной оттенок старомодности на фоне восходящего могучего светила — гениального и всемогущего вождя всего поработанного человечества — генералиссимуса Сталина...

Куда ему — простому смертному, чудаковатому Суворову!

Юноши ослеплены величием и божественным благородством своего благодетеля. До последних дней своей жизни они будут ощущать ничем неизмеримое чувство благодарности за всё то, чем милостиво одарил их гениальный вождь. Звонко раздаются в стенах училища песни-гимны:

«Мы Сталина дети —
Орлиное племя.
И песню мы гордо
И звонко поем...»

На вечерах читаются поэмы о Сталине, на выпускном экзамене суворовцы получают тему для письменной работы: «Нас вырастил Сталин на верность народу...» Во всех проявлениях жизни, в пульсе страны, во всех уголках «счастливой и прекрасной родины» слышится: Слава великому Сталину!»

Это он несет счастье всему миру! Это он — защитник обездоленных и угнетенных! Это он — могучий вождь и кормчий всего прогрессивного человечества! Как же не любить, не быть преданным такому человеку?

А страна живет своей жизнью... Война, благодаря мудрому руководству и стратегическому гению генералиссимуса, окончилась блестящей победой. Родина, обескровленная и растерзанная жестоким врагом, постепенно заживает свои раны. — «Учите детей видеть нашу жизнь! — говорит всё тот же начальник политотдела. — Кадета отгораживали монастырской стеной, чтобы при столкновении с действительностью не рушились те фальшивые идеалы, которые навевались ему в корпусе. Мы же заинтересованы в слиянии с жизнью родины...»

«Дыхание страны ясно ощущалось детьми за высокими стенами училища...» «В училище появились стенды с цифрами пятилетки, комсомольцы переписывались с шахтерами, собирали посадочные семена, делали радиоприемники для жителей Яблоневки...»

И «сливаясь с жизнью» своей «прекрасной и счастливой родины», суворовцы упорно поют:

Сталин — наша слава боевая,
Сталин — нашей юности полет... .

Итак — поединок окончен... Используя как ступеньку генералиссимуса Суворова, великолепный вождь поднялся еще выше. Выражаясь языком советской педагогики, «гений Сталина, умело управляя законами коммунистического воспитания, с выверенной точностью шел к цели и достиг ее».

Мечта воплотилась в жизнь: перед ним новое поколение чистых, смелых и самоотверженных идеалистов, готовых по мановению его руки ринуться в бой за великую идею мирового коммунизма, «воины-граждане, военачальники, для которых высшая цель — служение родине оружием», — оплот и защита красного Кремля... Народ и армия ждут появления этих «передовых людей страны социализма» с распростертыми объятиями...

Но всё ли обстоит так уж благополучно? Все ли так любят будущих генералов, работников генштабов и маршалов? При всем желании автора устать розами жизненный путь суворовцев, их то и дело покалывают шипы. Но пока они находятся за стенами училища, шипы эти маленькие и не очень острые. Откуда, например, такая удивительная недоброжелательность у летчика-лейтенанта по отношению к тринадцатилетнему благовоспитанному суворовцу?

Оба лежат в госпитале и соседи по койкам. У летчика переломлена ключица. Его одолевают сильные боли. Он скрипит зубами и жадно курит...

«Когда же тот (летчик) скверно выпругался, Авилякин повернул в его сторону бронзовую голову и возмущенно сказал:

— Хороший вы пример показываете!

— Подумаешь, кисейная барышня, — хриплым, срывающимся голосом бросил летчик. — Из института благородных девиц! Привыкай!

— Вы так об училище не должны! — задыхаясь, выкрикнул Павлик. — Наше училище вам смена!»

Невольно в словах летчика нам слышатся слова живого, а не выдуманного Борисом Изюмским, рядового гвардии Ивана Степняка:

«Сволочь в белых перчатках! Сталинские воспитаннички!..»

И такой случай — не один... Каждый выход «на волю» сопровождается у суворовцев неприятными и неожиданными столкновениями с «счастливым и благодарным населением».

Конфликт с действительностью начинается еще в суворовских «парниках». Каково же им будет в офицерском училище? И каково в жизни?

Прошли годы... Суворовское училище давно позади. Позади и офицерское... Перед нами — выросшие мальчики, юноши, и даже не юноши, а взрослые, духовно созревшие мужчины.

«Прекрасные ребята! Интеллигентные, образованные, благородные, воспитанные на старых русских традициях»...

«Подлинные суворовцы и многие из них — антибольшевики!»

Почему? В чем дело? Как это могло произойти? Измена? Головоустройство воспитателей и педагогов? А-а-а... Вредительство!!

Как могли преданные идеи коммунизма и «отцу народов» мальчики превратиться в изменников и врагов?

— Ни вредительства, — ответим мы, — ни измены тут нет. А совершены две ошибки, и совершены самим «гением человечества».

Во-первых, «не в силе Бог, а в правде!». А поэтому не в том ли первая ошибка, что «кадета отгораживали монастырской стеной, чтобы при столкновении с действительностью не рушились те фальшивые идеалы, которые...» и т. д., а суворовца «учат видеть нашу жизнь» по... стендам с цифрами пятилеток?

Вторая ошибка: Добро для Зла — скверная и опасная игрушка... Вроде бомбы замедленного действия: играешь год — ничего, играешь два, три, четыре, — всё ничего, и вдруг — взрыв, да такой, что и кусков не соберешь... Риск... Большой риск поступать таким образом.

Вначале всё шло хорошо, по гениально продуманному плану:

1. — Воспитать идеалистов-коммунистов, без которых катастрофически гниет и безнадежно рушится царство коммунизма.

2. — Создать новое кастовое офицерство, духовно оторванное от народа, — крепкую и верную защиту Кремля.

3. — Привилегированностью положения восстановить солдатскую массу против офицерства, разрушая этим заранее возможность враждебного единства Советской армии.

4. — Пронизать армию новьем, идейными политработниками, заменив старых, навсез «разложившихся».

План хорош, выполнение неважное...

Не лучше ли было идти протоптанной дорожкой? Идеалисты — люди ненадежные и беспокойные при построении социализма в одной стране...хлопот с ними всегда было много. И сейчас не оберешься...

Не лучше ли было, как прежде, воспитывать опричников Кремля? Оно куда верней и безопасней!

Однако ничего бессмысленного, бесцельного или непродуманного у «великого вождя» нет. Следовательно надо искать разгадку в другом.

Робкая мысль просится на бумагу... А вдруг...? А, как, если...? Нет! Не может быть!

А что, если «божественному гению» холодно стало в его аду?... А как, если страшно ему стало, окруженному беспринципными подлецами, продажными душами и палачами?... Ведь если для них нет в мире ничего

святого, почему бы и генералиссимусу всегда пребывать в святых!

Придет такая минутка, когда вдруг полусумасшедший взгляд садиста из МГБ обернется и на него... Кому верить?! На кого положиться?! Кто из предателей не предаст?! Кто из придворных льстецов и лжецов не солжет?!

Холодно и страшно одинокому человеку, продавшему свою душу Дьяволу... Одиноко и жутко...

Не его ли безумная мечта — взрастить чистые, преданные и любящие его души, честные и благородные? Такие не предадут, не изменят. «Я для них сделал всё! Я

им дал всё! Я их отец и благодетель!» «Суворовские традиции — залог верности мне!»

Не хочется ли величайшему грешнику погреться возле костра чистой и горячей юношеской любви?

Ведь несмотря на всё свое величие и божественность, Иосиф Виссарионович Джугашвили — просто-напросто обыкновенный смертный человек, и человек старый, перешагнувший седьмой десяток жизни.

Трудно генералиссимусу Сталину, бессмертному при жизни, победить в поединке бессмертного после смерти генералиссимуса Суворова...

Не в силе Бог, а в правде!..

Стахановский миф

Роман «Донбасс» вносит много нового в теорию выполнения советского литературного заказа. Это законченный образец того, как следует заказ выполнять. Написан роман на тему: «фальсификация истории зарождения стахановского движения». Задумано тонко, и не вина автора, что ему не удается доказать читателю недоказуемое, т. е. — что стахановцами рождаются. — Так же, как рождаются артистами, или учеными, или воинами.

Герои романа не даются автором как уже готовые, законченные в своем развитии человеческие личности, внезапно возгоревшиеся энтузиазмом и любовью к делу Ленина-Сталина. Автор воспитывает их такими на протяжении первых глав романа.

Герои — два комсомольца: Виктор Абросимов и Андрей Воронько. Первый — брюнет «с огненными глазами», красавец, порывистый, тщеславный, быстро разгорающийся, но так же быстро и угасающий при первой же неудаче. Любит быть везде и во всем «или первым, или никаким». Второй — русоволосый, некрасивый, скромный, но знающий себе цену, упорен в достижении поставленной цели. Внешне командует, как будто бы, Виктор, но во всех серьезных случаях поступают так, как решает Андрей. Контрастность не случайная. По ходу романа, во-первых, надо показать, что люди разных различных темпераментов при определенных задатках и при определенном воспитании могут стать стахановцами. А задатки у обоих есть. Во-вторых, надо показать, что самым сильным является не тот, кто хочет быть всегда первым, а тот, кто бескорыстен и скромнен. Идея, дающая возможность ставить мировые рекорды, принадлежит Андрею, а рекорд ставит Виктор, потому что Андрей великодушно уступает ему это первенство. Но стахановские добродетели за ЦК не пропадают, и Андрей имеет свидание со Сталиным, а Виктор — нет.

Борис Горбатов. «ДОНБАСС», «Новый Мир» — 1951 г. №№ 1, 2, 3.

Для воспитания стахановцев автор создает специфические, искусственные условия, каких нет и быть не может в Советском Союзе, — этакую педагогическую и бытовую оранжерею, без которой ему совершенно невозможно было бы слепить своего героя-стахановца. Не писателя, не ученого, не исследователя, а именно стахановца. Правда, писатель достигает несколько неожиданного результата: читатель с несомненностью убеждается, что без особого инкубатора этот тип развиваться не может. Тип ненормальный. Нельзя, предъявляя к человеку антиморальные требования, ставя его в условия, при которых он делается тщеславным лгуном, очковитирателем, мирским захребетником, при которых он должен презирать окружающих, должен стать орудием для выжимания соков из этих окружающих, при которых он приобретает фиктивную славу и нефиктивные материальные блага за счет окружающих, — нельзя при таких условиях требовать от того же человека героизма и бескорыстного служения какой-то высшей ценности. При этом ведь и сама ценность подменяется опять-таки ценностью фиктивной — будущим коммунистическим раем. От человека требуют, чтобы он не только всё вышеописанное проделывал, но чтобы еще и верил в то, что это ценность высшая. Вещь невозможная, и автор это понимает. Не только понимает, но и принимает цинически.

Вообще в этом романе очень много цинизма. Страшного и холодного. Разве не цинизм, что его герои Виктор и Андрей могут наслаждаться идиллией маленького городка, когда к ним привозят «в сосновых гробах двух их товарищей», погибших при раскулачивании? Разве не цинизм писать, что для отца и матери Андрея было бы страшным несчастьем «покинуть всё это, выстраданное и насиженное, ради неверных и утомительных странствий по чужим местам и чужим людям», — т. е. покинуть свой садик и домик? (это ведь пишется о 30 годах, когда половину крестьянской

России выгнали из домов!). Разве не цинизм называть 30-ый год «годом великого разбега?» писать: «мы (комсомольцы) ходили и в счет тысячи, и в счет двадцати пяти тысяч, и во флот, и в деревню, и в лес»... Двадцатипятилетки были террористами, раскулачивавшими деревню. Во флот же шли отбывать воинскую повинность. И вот эти вещи автором передаются, как вещи для комсомола равнозначущие.

Можно было бы подумать, что автор сам не знает того, о чем пишет. Но он знает и лично пережил многое. Он даже был «корреспондентом» на Кольме и Беломорканале. В романе есть и пафос. Пафос и идиллия. Но эти пафос и идиллия становятся какими-то каннибальскими, когда вдумаешься, к чему и как они применены.

Первые главы романа посвящены безмятежному лету, которое переживают оба героя в маленьком городке Чибиряки на берегу реки Псел. Они только что кончили семилетку. Они наслаждаются мирной и покойной жизнью русской провинции. Ибо эта провинция дана именно, как русская, а не советская. Тихие улицы, уютные домики под железными или камышовыми и соломенными крышами. На крышах аисты, «приносящие счастье дому». — Палисадники с неизбежными мальвами и кручеными панычами. Ребята на тысячи ладов обсуждают дальнейшие возможности своего образования, предоставленные им советской властью, и никак не могут ничего выбрать из-за обилия выбора. Им хочется быть и летчиками, и учеными, и исследователями, и киноактерами. И они не понимают, что счастливы и там, где сидят.

...«была особенная тишина в этом зеленом мире, на этой улице и в его собственном доме (Андрея)... В этой тишине неслышно и незримо созревала и умирала и опять зарождалась жизнь: лопались почки на вербе, полз по ниткам к крыше крученый танец и раскрывал навстречу солнцу свои синие с желтыми разводами граммофонные трубы и призывно трубил в них; на земляном полу в хате сладко и беззвучно умирали душистые травы; по вечерам в палисаднике вдруг мощно расцветали скромные матиолы, и их властный запах покрывал всё в мире и смешивался с добрым запахом махорки на меду — любимым табаком отца Андрея. И это было счастье»...

Идиллия? Всё гармонично, все, «как в книжке для детей!» Но если принять во внимание, что это был год от Рождества Христова тысяча девятьсот тридцатый, год самой страшной трагедии, какую только когда-либо переживал русский народ, то как-то трудно себе представить, чтобы нормальные парнишки, хотя бы и комсомольцы, могли предаваться безмятежной идиллии на берегах Псла в то лето. И не случайно автором взята глухая русская провинция, да еще провинция сельскохозяйственная, и показана в венециановско-грёзовских тонах. Это — для тех поколений, которые коллективизации не видели.

— Вычеркнуть из памяти трагедию этих годов...

Но в эту идиллию ворвалась жизнь в виде прорыва на Донбассе. Шахты не выполняли плана добычи угля, который был необходим для «великого разгона страны в будущее». Городской комсомол немедленно произвел Виктора и Андрея в «лучшие комсомольцы» и мобилизовал их на ликвидацию прорыва в качестве шахтеров. Они попали в число 30.000 «лучших комсомольцев», мобилизованных по всей стране. Это положило конец колебаниям. Мудрый комсомол во главе с «мудрым и великим» указал им дорогу, и они нашли именно в ней свое подлинное призвание.

Но автор не позволяет своим героям стать сразу же послушными преемниками комсомольского счастья. Он проводит их через всяческого рода искушения и нравственные «прорывы». И Андрей и Виктор не хотят ехать на шахты. Первый — потому, что боится не справиться с работой, второй — потому, что разрушены его мечты о блестящем будущем.

Первый толчок к пересмотру своего отношения к карьере шахтера герои получили в доме старого забойщика-коммуниста Проккопия Максимовича. Их пригласили в гости на воскресенье, когда собиралась к нему вся его многочисленная семья. И вот за столом, на вопрос, как они попали на шахты, Виктор между прочим сказал... «у нас, признаться, другие мечты были... Я, собственно, в киноартисты хотел. Призвание такое в душе чувствую. Да, — вздохнул он. — Мечтали-то мы высоко, а угадали в шахтеры. Законурились!»

«— Что?! — тихо, свистящим шопотом спросил Проккопий Максимович. Вон! — заревел он, не помня себя. — Вон из моего дома, сукин ты сын! Вон... Значит, высоко вы мечтали, а мы низко живем? Низкие мы, выходит, в угле возимся?»

Рассвирепевшего пролетария несколько успокоили и в назидание бестактному гостю был продемонстрирован семейный спектакль:

«— Кто твой отец, Даша? — строго, словно на экзамене, спросил Проккопий Максимович?»

«— Мой отец есть потомственный шахтер-забойщик! — звонко, как молитву, пробарабанила Даша.

— А дядья твои кто?

— И дядья мои чистых кровей шахтеры...»

Итак — до прадедов. Родословная новой советской аристократии установлена. Это, в настоящий момент, тоже одно из обязательных условий всякого советского литературного произведения.

Правда, тут же аристократ-забойщик строго настрого приказывает своей дочке ни в коем случае и носа не показывать на шахту, куда она рвется в порыве мечтательной романтики. Он приказывает ей ехать учиться в Москву. С сыном у него происходит не совсем стильный разговор на

тому «не иди в легчики, а иди в инженеры». Выходит, что как будто бы для чужих детей шахта — дело почета и гордости. А своих можно делать и не аристократами-шахтерами, а выскочками — инженерами. Этой неувязки автор как-то не сумел объяснить.

Виктор и Андрей долго не могли приспособиться к новому миру. Старые шахтеры грубо издеваются над ними, обушок не дается слабым и неопытным рукам. Виктор выходит из себя и просит секретаря ячейки отпустить его с шахты. Конечно, из просьбы ничего не получается. Андрей молча и упорно продолжает работать, и, наконец, наступает день, когда он выполняет норму. Виктор не может с этим примириться. Он бежит с шахты. Но Андрей, во-время заметив побег друга, догоняет его на вокзале и уговаривает вернуться.

В те несколько часов, что Виктор провел в бегах, на шахту пришла первая партия «техники» — отбойные молотки, действующие при помощи сжатого воздуха. Чтобы несколько развеселить друга, Андрей рассказывает Виктору о них. «Техника» настолько покоряет Виктора, что он клянется больше с шахты не бегать и поступает в ученики к забойщику, работающему на этом молотке. Кстати сказать, это был тот самый Прокопий Максимович, который чуть не выгнал Виктора из дома. Учитель обучает ученика охотно и нежно, и в скорости Виктор становится одним из лучших забойщиков шахты. Андрей тоже уже работает с отбойным молотком, а не с обушком. Они начинают давать по две и по две с половиной нормы. Зарабатывают по два с половиной оклада, обрастают имуществом, проходят уже оба в партию из комсомола, покоряют девиц, но сами остаются неприступными, «гуляют» в дни получки, но в пределах комсомольского благоприличия.

За это время их шахту начинало несколько раз лихорадить. Она опять попадала в прорыв, ее заедала «текучесть кадров», было и вредительство.

Причины неполадок, которые мешали шахте нормально работать, объясняются автором весьма глухо. О текучести кадров упоминается в нескольких строках: на шахте внезапно появляются толпы крестьянского бродячего люда. Весь этот люд появлялся во всякое время года — и весной, во время посева, и осенью во время уборки. Люд становился на самую тяжелую работу за самую низкую плату. Он предпочитал ненавистную ему работу в шахте обычному своему крестьянскому труду. Почему? Дано, как аксиома. И никому в романе, и нашим героям в том числе, не приходит в голову задать вопрос: «Почему?»

Интереснее всего подается в «Донбассе» вредительство. Здесь, как и во всей советской литературе 50 и 51 г., поражает читателя этакое благообразие социально-политических воздухов. Вредительские

тигры и шакалы весьма мирно начали уживаться с коммунистическими овечками: вредитель прекратил подачу сжатого воздуха в отбойный молоток в то время, как Виктор устанавливал свой рекорд. — Так даже и не побили его своими силами, не арестовали и не сослали туда, куда и ворон не летает, и Макар телят не гоняет. Обошлись только небольшой лекцией о вреде вредительства. Повидимому, ни Виктор, ни Андрей, ни все их сверстники и не слышали даже о существовании таких учреждений, как органы государственной безопасности.

Так мирно и благополучно процветали наши герои вплоть до 1935 года. А в этом году вдруг им сделалось «тесно». Захотелось шири и простора. Но они не стали проситься в моряки или исследователи неизвестных стран. Они стали просить, чтобы им увеличили уступы. Им стало мало давать в сутки 12 - 15 тонн угля. Их романтические души захотели выдавать по 60 - 70 тонн. Романтика забоя поглотила их целиком. Вот что переживает Виктор, типичный стахановец - романтик (Андрей — тот стахановец-реалист):

... «Он приступал к работе с такой жадностью, словно изголодался по ней, словно жизнь вне забоя была ненастоящей, зряшной, пустопорожней жизнью, а настоящая жизнь только тут, в уступе: вот он, наконец, к ней дорвался, и теперь надо жадно хватать ее и пить, пить, пить досыта...

... Он лег на спину, широко разбросал руки. Хорошо! Что ни говори, хорошо! Уголь прохладный, можно вообразить, что лежишь ночью в степи на сырой траве, или на мокром песке у Псла... И тогда кровля над головой представится тебе темным - темным небом, а свет шахтерской лампочки, зацепленной за обалол, — светом далекой звезды».

Воспринимать таким образом темную, грязную, мокрую шахту может только рожденный стахановец (или кретин). Нормальный человек, с нормальными человеческими чувствами — не может. Это та, новая порода, которую пытаются вывести лысенки. Лысенки человеческих душ. И порода эта им никак не удастся.

И Виктор и Андрей — типичные строители коммунизма, как их представляет «социальный заказ». Повидимому, пока не выведут вот такую породу людей, — коммунизма не построят.

По роману, идея стахановских достижений зародилась в тот момент, когда Виктор, подогретый восторгами своего ученика, смотревшего на работу Виктора «влюбленными» глазами, воскликнул: «Я один бы мог пройти всю лаву за смену». Ученик не поверил. Но Виктор стал серьезно задумываться над «проблемой». Он советуется с Андреем, и они решили, что это все можно осуществить.

С этого момента и начинается настоящая

суть романа. Все предыдущее было только подготовкой.

В романе «Донбасс» — стахановское движение приводится, как движение массовое. Не только у Виктора и Андрея зародилась эта идея. Она носилась в воздухе. Ею жили шахтеры и «передовые» инженеры на всех рудниках. Накануне того дня, как Виктор поставил свой первый рекорд, — Стаханов уже поставил свой. Но Виктор и Андрей не опечалены и не завидуют. Ведь «утолек-то идет в одну и ту же топку», как картинно и образно выражается Прокопий Максимович.

Почти по всему Донбассу прокатилось это движение. Вспыхнуло, как степной пожар. И пока наши герои разрабатывали свои планы — другие их опередили. Но не все рекорды и не на всех шахтах были полноценными. Например, на шахте «Красный партизан» забойщик Зобара дал в одну смену 300 тонн угля. И в романе рассказывается, как он смог это сделать. И с предельным цинизмом повествуется вся правда о рекорде настоящего Стаханова. Рассказывается, как вся шахта работала на Зобару (читай — Стаханова), как другие забойщики должны были прекратить работу, потому что не было порожняка на откатку угля. Как это отразилось на их зарплате (забойщики получали оплату в зависимости от количества выданного ими на гора угля). Как секретарь райкома сам стал диспетчером вагонеток, как все крепильщики и весь лес пошли на крепление лавы Зобары (Стаханова) и т. д. Рассказано и о том, как в результате перевыполнения плана Зобарой на 1.000 % — вся шахта не выполнила своего суточного плана на 15 %! И все, кто работал на шахте, недополучили 15% заработка.

Все рассказано подробно. Как на исповеди. Но в романе это приводится, как единственный случай очковтирательства. Секретарь райкома Рудин решил сделать себе карьеру (Странно, что ему пришла мысль о возможности «постройки личной карьеры» таким образом).

В свое время была выпущена книжка самого Стаханова о его достижениях. Сквозь все фанфары можно было и тогда об очень многом догадываться. Сейчас, после «Донбасса», догадки превращаются в достоверность.

Нельзя отказать Б. Горбатову в остроумии приема: да, было и такое. Но это исключение.

Автор не останавливается на том, каким образом производственное чудо возможно на одной шахте и невозможно на другой. Почему на одной шахте все работали на

рекордиста, а на другой — работа рекордиста не мешала общей работе. Он только вскользь упоминает, что шахта «Крутая Мария», на которой наши герои ставили свои рекорды, все время постепенно механизмуется. Нужны же и какие-то реальные моменты, чтобы не смахивало на коммунистическое чудо.

На этом можно и закончить разбор «романа». Дальше всё идет по шаблону: имеются невероятные добродетельные секретари партийных ячеек, начиная от шахтпарткома и кончая райкомом. — Секретари, поставившие целью своей жизни воспитание стахановцев.

Имеется дед — страстный последователь коммунизма и враг новой техники на шахтах.

Имеется и любовная история (иначе не было бы «романа») Даши — Андрея — Виктора. Даша, повидимому, не прочь полюбить Андрея, но после того, как Виктор должен поставить рекорд (решение парткома), ее любовь немедленно переключается на Виктора.

Имеется обязательное «на данный момент» прославление домашнего уюта и бытовых мотивов. Чем хуже положение населения, тем усиленнее ему навязывается стремление к недостижимому благополучию. Это — как бывало с мылом в Москве: как только летом появляются санитарные плакаты, рекомендующие как можно чаще употреблять мыло — вся Москва знала: мыла в продаже нет и искать его нечего.

Конец романа тоже стереотипный. Андрей, к этому времени уже парторг шахткома, встречается со Сталиным. Сталин с ним «советуется» о различных шахтерских делах. Встреча подана в тошнотворно подхалимских тонах.

Борис Горбатов — писатель несомненно талантливый, но «социальный заказ» его почти начисто обглодал. Не может русский человек и русский писатель бесконечно протитупировать свой талант. С ним, вероятно, произойдет то же, что произошло с советским графом — Толстым: уж на что была эластичная этика у человека — и все-таки не выдержал и съехал на невероятную халтуру, вроде «Хлеба». И сколько их там, талантов, пожираемых молотом тоталитаризма!

Академическое изучение советской литературы немислимо. Так, рикшетом, тоталитаризм уничтожает и русское литературоведение. То, что дано в этой статье, — всё, что угодно, но только не «литературная критика». Но разве можно иначе подходить к советской литературе?!

Отдел пародий

Пингном

Краткий курс диалектического материализма

I. Мир материален

Как открыл товарищ Сталин,
Мир сутобо матерьялен,
А из практики мы знаем,
Что он также познаваем.
Млечный Путь, куски навоза,
Председатели колхоза,
Райпарткомы, горсберкассы
И трудящиеся массы —
Всё едино суть, поскольку
Всё материя — и только.
Человеческие чувства,
Все науки и искусства,
Философия и право
Суть к материи приправа.
Что касается морали,
Эстетизма и религий,
То всё это, мы б сказали,
Бесполезные вериги.
Впрочем, можем иногда мы
Признавать их с вами тоже:
Если нужно, скажем прямо,
Для момента — отчего же!
Диалектика — пружина:
И гибка и растяжима.
Посему, как молвил Сталин,
Большевик принципиален.

II. Переход количества в качество

В этом мире измененья
Лишь в одном бывают роде:
Из количества скоплений
Смены качества выходят.
Нам велел товарищ Сталин,
Чтоб стахановцы мы стали.
Мы путем больших усилий
Нормы вдвое перекрыли.
Ну, а качество к тому же
Оказалось вдвое хуже.

III. Единство противоречий

Третий важный тезис дале
Я, товарищи, отмечу:
Как сказал товарищ Сталин,
«Единство противоречий».
Если ты живешь культурно,
Значит, ты есть враг народа.
Если всех упрятать в тюрьмы,
Будет максимум свободы.
Кто не предал чести русской,
Тот предатель, без сомненья.
У кого лобишко узкий,
Тот универсальный гений.
Если ты живешь в Сибири,
Ты, конечно, житель Крыма.
Если вождь твердит о мире,
Значит дело пахнет дымом!

IV. Заключение

Коль усвоил навсегда ты
Эти пункты диамата,
То тогда с тобой, как с равным,
Поделюсь я самым главным.
Понапрасну слов не трать,
Я скажу, что в диамате
И вершина, и основа —
Биография родного,
Каковую без труда
Ты запомнишь навсегда:
Маркс был рад, что тот родился,
Энгельс им всегда гордился,
А его помощник Ленин
Даже падал на колени,
Воскликая: «Гениален
И велик товарищ Сталин!»

Игорь Чиннов

* * *

Мальчик задач не решит.
Тени текут по виску.
Лебедем жаба кричит
Кукареку иль куку.

Солнцем избравши лимон,
Вью бесконечную нить.
Буду же свой «Монотон»
Без остановки твердить:

Жизнь тра-та-та суета,
Жизнь тра-та-та нищета,
Смерть тра-та-та темнота,
Смерть тра-та-та пустота.

О. Ильинский

Дезертиры

Фронт, кажись, за нами следом чешет.
Сльпнь, как близко пулемет?
Крой в овраг, Сережка! Ниже, леший!
— По пилотке саданет.

Ползай вот на тощее-то брюхо.
Ишь — крапивы-то! пырья!
Эх, водчонки б! Не хлебнуть — понюхать.
Стой, чорт! — Спички потерял.

Ночью был язык пожаров ярок.
«Эй, мотай вперед, чего засел!»
— Взмигивали светлячки цыгарок
По канаве вдоль шоссе...

Р.

Н. Моршен

Тюлени

Там, на севере дальном,
Там, в арктической лени,
В блёске льдисто-зеркальном
Отдыхают тюлени.

Ну, не правда ли, странно:
Подле пафоса стройки
В этом крае туманном
Отдыхают — и только?

Ну, не правда ли, дико:
Размечтались за льдиной,
А уж там — погляди-ка!
— Стерегут их с дубиной.

Ах, тюлени, тюлени!
Жалко мне вас, не кроюсь!
Выбирайтесь, тюлени,
Из арктической сени
И — ко мне, через полюс!

Я вас встречу с цветами
И — пером, у причала,
Мы о родине с вами
Потоскуем сначала.

А потом — на косе мы
Поваляемся вместе,
И стихов для «Посева»
Напишу я строф двести.

В. Марков

Сергей Максимов

Из романа «Иван Распробуянов»

1.

Вечерело. Красавица-Волга разлилась во все концы своей богатырской ширью, так что не видно было другого берега. Где-то пели похабные частушки. Анфиса смотрела из окна на реку, временами сплевывая на улицу шелуху семечек. «Как это в других странах люди без Волги живут», думала она. «Наверно, потому-то все нерусские и недоноски такие». Вдруг на ее губах премелькнула счастливая, почти безумная улыбка. Она вспомнила, как Иван прошлой ночью в душном пахучем сарае целовал ее в колено. Она приподняла край расшитой петушками юбки и осмотрела заветное место — круглое с ямочками колено. И опять вспомнила: там, в предбаннике... — «У-у,

бесстыжая, проворчала мать. Одернись!» А из-за дома послышался хохот и донеслась озорная частушка:

Ой, в колхозе «Красный писарь»
Нынче добрый урожай.
Ой, когда-нибудь Анфису
Поведу и я в сарай!

Анфиса резко встала. По ее алым губам, припухшим от поцелуев, пробежал недобрый огонек. Она подошла к накрытому столу и сдернула скатерть. Ложки и тарелки, звеня и грохоча, попадали на пол. В образовавшейся луже крепкие русские щи смешались с мутноватым самогоном.

2.

Липочка сидела на травке у обрыва Волги, и ее добрые глаза выражали грусть. «Почему он так сделал?» — шептала она, и ее тоненькие косички, казалось, тоже выражали недоумение. Сегодня утром они с Иваном собирали грибы в лесу. Когда она сделала ему шутовское замечание за червивый гриб, лицо Ивана перекошилось, он вырвал у нее из рук корзинку, растоптал сыроежки, рыжики и обабки в какое-то пестрое месиво, потом сорвал с нее новую крас-

ную кофточку и втоптал ее в грибы. Но вдруг остановился, глаза его стали печальными и ласковыми; он подошел к Липочке и неловко поцеловал ее в девические пухлые губки. Оба очень смутились и не знали, что делать дальше. Потом пошли домой. «Зачем он это сделал?» — еще раз прошептала Липочка и подумала: «Он такой хороший!». И ее взгляд потерялся в бесконечных просторах Волги.

3.

Вдоль берега раскинувшейся на всю Россию Волги шагал Иван. Он был красивый и двадцатидвухлетний. В каждой руке у него было по три чемодана, на каждом плече по саквояжу и, ловко балансируя, он еще умудрялся нести на голове тяжелый, обитый кованым железом сундук. Девушки, собираясь в кучки и шушукаясь, шептали вслед ему: «Ох, красавец!», а древние седые колхозники провожали его взглядом и говорили друг другу: «Ну и парень, стало быть, с конца на конец!» Негромко, но красиво, Иван напевал:

Ой, да ты, калинушка,
Ты малинушка...

— Песня легко и удобно ложилась под молодецкий шаг.

Вдруг Иван остановился. Его голубые русские глаза насторожились; русые кудри замерли в ожидании. Навстречу ему шел человек. Взгляд человека не нравился Ивану.

— Как фамилия? — спросил Иван, взяв незнакомца за грудки.

— Иванов, — дрожа, прошептал человек.

— Врешь, сволочь, — Мюллер твоя фамилия или Розенберг. Много вас тут шляется по нашей земле. — Иван легонько дотронулся до него пальцем, Мюллер или Розенберг кубарем полетел в Волгу.

А Волга разливалась во все концы вселенной, широкая, как русская душа, и длинная, как роман с продолжением.

«Г р а н и». Журнал литературы, искусства, науки и общественной мысли.

Июль - сентябрь 1951 года.

Редакционная коллегия: Г. Андреев, Л. Ржевский, Е. Романов (главный редактор).

К печати принимаются только произведения, ранее нигде не напечатанные. Гонорар по соглашению. Рукописи присылать либо отпечатанные на машинке, либо написанные от руки чернилами на одной стороне листа. По поводу непринятых рукописей редакция в переписку не вступает. Желающие получить рукописи обратно должны указать свой адрес. Перепечатка без разрешения издательства воспрещается.

Copyright by Verlag „Possev“

Адрес редакции: Verlag „Possev“. Limburg/Lahn.

„Grani“, Edition July - September 1951, Published quarterly. Circulation 2000

Sponsor — International Refugee Organisation

Publisher: Vladimir Gorachek, Limburg/Lahn

Printer: Limburger Vereinsdruckerei in Limburg/Lahn

Editorial and Executive Office: Verlag „Possev“, Limburg/Lahn

Postschließfach 77 US-Zone Germany

Продолжается подписка на 1952 год

НАШИ ИЗДАНИЯ

«ПОСЕВ»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

«ГРАНИ»

Журнал литературы, искусства, науки и общественной мысли

ВЫХОДИТ 4 РАЗА В ГОД

КНИГИ

Большой склад. Специальный каталог

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

«ПОСЕВ»

ВО ВСЕХ СТРАНАХ РУССКОГО
РАССЕЯНИЯ

AUSTRALIEN: W. Upenik, 13, Floodstreet, Leichhardt (Sydney), NSW * B. Jatzenko, 143, Lintonstreet, Kangaroo Point Brisbane * Mrs. Z. Romanchuk, 480, Hay Str. Perth, West Australia * O. Perekrestov, 193, Beaconsfield PDE, Middle Park Melbourne, Viktoria * ARGENTINIEN: G. Knirscha, Pedernera 772 (Florea) Buenos Aires * SÜD-AFRIKA: Mr. S. M. Mishtowt, 100, Sixth Str., Linden-Johannesburg * BRASILIEN: N. Nikitin, Caixa Postal 10595, Correio Braz. Sao Paulo * G. Konstantinoff, Av. Inaja 151, Indianapolis, Sao Paulo * BELGIEN: N. Platonov, 35, Rue Darchies, Liège, Belgique * Librairie d'Ixelles, 118 Chaussée d'Ixelles, Bruxelles XL * DÄNEMARK Herr F. Ladischensky, Virum Stationsvej N 136, pr Lyngby * CANADA: P. K. Svoboda, 218 East 28th Street, Hamilton, Ont. * Lawrence Oleinikoff, 1299 W. 7th ave, Vancouver B. C. * CHILI: Sen. B. Miller, Casilla 13153, Santiago * ENGLAND: V. V. Baratshevsky, Russian Book, Shop 26, Tottenham Street, London W 1 * FRANKREICH: Le Semis, Société d'Edition, 6, Rue de Bizerte. Paris 17-e * „La Renaissance“ 73, Av. des Champs Elysée, Paris 8 * GRIECHENLAND: Mr. Georg Mazarakis und Co., Patission Street 9, Athenes * IRAN: Mr. Popoff, 273, Ave Ferdowski, Teheran * MAROC: A. Zvikevitch, Boite Postale Ain-Sebaa, Casablanca * NORWEGEN: Fedor Tarakanow, Krusesgt. 5, Oslo * ÖSTERREICH: Verlag „Lutsch“, Salzburg, Gaisbergstr. 9 * SCHWEIZ: Leo Grossen, Postfach, Bern-Transit * SCHWEDEN: Tidskriften. „Possev“, Postfach 706, Postgiero N 467085 Eskilstuna 5 * USA: MR I. P. Nefedov, „Possev“, 297 Sheffield Ave, Brooklyn 7. N. Y. * Anatol Tzvikevich, 2018 Fell St., San Francisco 17, California, USA, Tel. SK 2-2612 * VENEZUELA: St. A. Kandauroff, Sa Felipe a Pueblo, Nuevo N 26, Caracas

Год издания VI

Выходит 4 раза в год

ГРАНИ

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ**

под редакцией Е. Романова

№ 1

(РАСПРОДАН)

В номере:

Е. Романов — Вместо программной статьи; В. Каралин — Освобождение; С. Павлов — Чужой берег; С. Максимов — Танюша; Б. Башилов — Агентство «Молниеносный ответ»; М. О. Кубе — В гостях у «дикарей»; А. Угрюмов, А. Неймирок, Ф. Борисов — Стихи; Н. Витов — Гуманизм Федора Достоевского; Ж. П. Сартр — Новая французская литература; Проф. Д. С. — Суриков, как художник-историк; Р. Воробьев — По поводу статьи проф. Д. С. «Суриков, как художник-историк»; Библиография; Из мира литературы, искусства и науки.

№ 2

В номере:

Д. Новоселов — Клоун; С. Максимов — Прохожая; М. Кубе — На севере диком...; Ю. Гошин — Первый шаг; В. Гальской, Б. Тополев, А. Котлин, С. Бонгарт, В. Завалишин, Р. Воробьев, И. Елагин, А. Парфенов, А. Угрюмов, О. Анстей — Стихи; Ф. Борисов — Россия и революция; С. Левицкий — Владимир Соловьев; Пителим Сорокин — Течение социальных отношений, войн и революций; Ф. Б-в. — Древнерусская икона; Г. Стшелецкий — Автопортреты Рембрандта; Н. В. Ветлугин — Энергия атомного ядра; Библиография; Из мира литературы, искусства и науки.

Цена 3 марки

за границей — 0,75 амер. доллара

№ 3

В номере:

Н. Александров — Бамбадон; С. Максимов — Царь Иоанн; Е. Ггарин — Белые ночи; Н. Табури — Счастье; М. О. Кубе — Забытый адмирал; Проф. И. А. — Встречи с Сергеем Есениным; А. Котлин, А. Парфенов, А. Неймирок, В. Гальской, В. Марков, А. Угрюмов, Б. Тополев, В. Завалишин — Стихи; С. Левицкий — Трагедия отвлеченного добра; Р. Воробьев — Социалистическая утопия в России; Николай Саввич — Критик-художник (памяти Петра Пильского); Б. Филиппов — Чудодей песни; Е. Е. Климов — Певец крестьянской детворы; Н. В. Ветлугин — Энергия атомного ядра.

Цена 3 марки

за границей — 0,75 амер. доллара

№ 4

В номере:

С. Максимов — Денис Бушуев; Г. Андреев — Новелла о танке; А. Неймирок — Сербские народные былины; Н. Моршен, В. Зава-

лишин, Б. Тополев, Б. Филиппов — Стихи; В. Каралин — Застигнутый посреди дороги; Ф. Сиверцев — Язык и стиль Пушкина; Проф. А. Филиппов — Философия «как будто бы»; К. Сакс — Законы развития искусства; Е. Шугаев — Музыкальная жизнь Америки; В. Горич — Нефть; Библиография; В. Стремлев — Послевоенные звезды; А. Флауме — О трех учебных книгах; Из мира литературы, науки и искусства.

Цена 3 марки

заграницей — 0,75 амер. доллара

№ 5

В номере:

А. Землев — Родина ветловая; Бор. Зайцев — Сердце Авраамия; Г. Андреев — Встреча; Э. Хемингуэй — Революция; Д. Новоселов — В Коктебеле; Н. Моршен и О. Клычков — Стихи; Л. Ржевский — Живое и мертвое слово; Г. Иссако — Предвоенная эмигрантская поэзия; Н. Кошеватый — Воинствующий материализм, кризис культуры и грядущее новое сознание; Н. Осипов — Внутренняя эмиграция в СССР; В. Марков — О проблемах современной музыки; Е. Шугаев — Кризис современной архитектуры; С. Левицкий — Мировоззрение психоанализа; Н. Рутыч — Куликовская битва; В. Горич — О межпланетных путешествиях; Библиография; В. Стремлев — «Размышление о ювелирах».

Цена 3 марки

заграницей — 0,75 амер. доллара

№ 6-7

В номере:

С. Максимов — Денис Бушуев.

Цена 8 марок

заграницей — 2,50 доллара.

№ 8

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; Г. Андреев — Соловецкие острова; Дм. Кленовский и Ник. Моршен — Стихи; Мария Кригер — Отравленная туника; Всеволод Горелов — Бунтовщик и искатель; Капитан Воробьев — Советское танкостроение; Р. Редлих — Культ Сталина; В. Мерцалов — Сталин.

Цена 4 марки

заграницей — 1,25 доллара

№ 9

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; В. Мартов — Угасшие звезды; Б. Филиппов — Монастырь; Святое Паозерье; А. Шишкова — Стихи; Л. Р-ский — Закат великих традиций; Н. Рутыч — К вопросу о развитии исторической мысли в СССР; С. Левицкий — Страх свободы; Н. Гаврилов — Цена достижений; Александр Уралов — Реставрация «критики и самокритики»; Библиография; П. Тверской — О русской песне; Л. Р. — Стихи сегодняшней нашей жизни.

Цена 4 марки

заграницей — 1,25 доллара

№ 10

В номере:

Г. Андреев — Тамара; Б. Мартов — Угасшие звезды; Григорий Климов — Диалектический цикл; Александр Неймирок — Стихи; Олег Ильинский — Стихи; Борис Филиппов — Петроград-Ленинград; Н. Громов — Кто победил?; А. Седов — Искусственное превращение элементов; Л. Ржевский — Светофоры на путях советского языкознания; В. Мерцалов — Животноводческая трехлетка; Н. Аркадьев — Книга, не достойная героев.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

На складе издательства есть небольшое количество старых (2 - 5) номеров.

Комплект (№№ 2 - 5) — 8 марок (за границей 2 доллара с пересылкой).

Цена отдельного номера: 3 марки (за границей 1 доллар с пересылкой).

№ 11

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; Д. Кленовский — Стихи; С. Юрасов — Из цикла «Переводы самого себя»; Н. Аркадьев — Когда-то осенью; Г. Круговой — Непринятая жертва; В. Марков — Стихи. Переводы; Документы нашего времени — И Т К; Жак Сорель — Запад и мы; Н. Осипов и Р. Редлих — Сознание и «сознательность»; Г. Андреев — Годы рождения 1927-1930; В. Мерцалов — Закрепощение трудящихся и трудовые резервы СССР; Библиография; Отдел пародий.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 12

В номере:

С. Юрасов — «Враг народа»; О. Ильинский — Стихи; Г. Андреев, Л. Ржевский — Награда; Н. Моршен — Стихи; В. Филиппов — О многом; А. Шишкова — Стихи; Н. Верберова — Владислав Ходасевич; А. Трушнович — Берлин — окно в Россию; Э. Ройтер — Речь на собрании «Свободного Союза русско-немецкой дружбы»; Библиография.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

Находится в печати № 14

№ 14-ый журнала «Грани» (четвертый номер за 1951 год) выйдет из печати с некоторым опозданием.

Цена 4 марки
